

**Виктор
Тура**

**ВРЕМЕН
СОЕДИНЕНЬЕ**

ВИКТОР ГУРА

ВРЕМЕН СОЕДИНЕНЬЕ



**Виктор
Гура**
ВРЕМЕН
СОЕДИНЕНИЕ

ОЧЕРКИ
ПОРТРЕТЫ
ЭТЮДЫ
ОБЗОРЫ

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1985

8p
83.3P
Г95

Гура В.
Г95 Времен соединенье: Очерки, портреты, этюды, обзоры. —
Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Волог. отд-ние,
1985. — 335 с., портр.

Диапазон творческих интересов и поисков В. В. Гуры как ученого и как активного участника литературного процесса современности широк и многообразен. Ему принадлежат работы о Михаиле Шолохове и исследование «Роман и революция». Он является автором книг о В. Гиляровском и Е. Пермяке, многочисленных статей в журналах. Участвовал В. В. Гура и в создании учебных пособий по литературе для высшей школы и в подготовке ряда изданий в серии «Русский Север», выпускаемой Северо-Западным книжным издательством.

Настоящая книга выходит к шестидесятилетию автора. Она представляет собою как бы свод работ, выполненных в рамках литературного краеведения, создает картину движения художественной мысли на Севере — от памятников устного поэтического творчества и древней словесности до К. Батюшкова, В. Красова и далее вплоть до наших дней.

Г 4603010102 19—85
M157(03)—85

8P
ББК 83.3P

СКВОЗЬ ВЕКА

I

Богата и самобытна культура Русского Севера. Издавна и особенно славен он замечательными памятниками деревянного зодчества, ставшего, по словам академика И. Грабаря, «тем неиссякаемым родником, из которого черпали новую жизнь застывшие временами художества на Руси¹. Широко известна живопись древнерусских мастеров, роспись домашней утвари, резьба по дереву и кости, тончайшая шемогодская работа по бересте, искусные народные узоры вологодских кружевниц, изящная работа великоустюгских мастеров чернения по серебру и созданию «мороза по жести».

Старинные шатровые храмы, украшенные резьбой крестьянские избы, росписная утварь — во всем этом воплотился высокий художественный вкус северян, быть может, полнее всего выразившийся в узорчатом слове, в богатой поэтической культуре. Она — и в разнообразном песенном репертуаре, величественных хороводах, свадебных обрядах, и в полных творческой выдумки и искрометного юмора сказках, проникнутых чувством национального достоинства «старинах». Былины, легенды, исторические песни, отлитые в мудрый афоризм поговорок, крылатые частушки передавались из поколения в поколение, впитывая в себя историю народа, суровую кратоту Русского Севера.

Вологжане, как и их северные соседи, бережно сохраняли и вносили свой вклад в богатейшее, веками создававшееся русским народом наследие устной словесности. Поэтическое слово народа вошло в его повседневный быт, неотделимо от труда, от всей его жизни.

В жанрово многообразном, богатом по содержательной своей насыщенности и художественному мастерству творчестве вологжан воплощены общерусские национальные традиции. Устная народная поэзия Вологодского края — часть богатейшего культурного наследия русского народа, зеркало его социальных устремлений, извечной тяги к прекрасному.

Однако в народно-поэтическом слове вологжан вы-

¹ Грабарь И. История русского искусства. М.: Изд. И. Кнелль, 1909, т. 1, с. 332.

разились и свои исторические, географические, социально-бытовые особенности. Здесь, на Севере, не только живо воспринимались общенациональные традиции, но и создавались художественные ценности, ставшие частью богатейшего культурного наследия русского народа. Широко известны даже свои, северные, школы в древнерусской живописи, в архитектуре.

С памятниками древнерусской письменности дело обстоит сложнее. Много еще «темных» мест в определении времени их создания, обстоятельств возникновения и т. п. Кажется, ни о чем не говорит тот факт, что многие ранние произведения древнерусской литературы дошли до нас в поздних, преимущественно северно-русских списках, но и обходить его вниманием вряд ли целесообразно.

Величайшее произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» найдено в Ипатьевском монастыре Ярославля. А созданная в результате подражания ему рукопись «Задонщины» сохранилась в Кирилло-Белозерском монастыре. В том же сборнике, в котором находился текст «Слова», была помещена переводная повесть «Сказание об Индийском царстве», а наиболее древним и самым исправным ее списком считается рукопись того же Кирилло-Белозерского монастыря. Связи эти вряд ли могут быть только случайными.

Изучение древнерусской культуры на Севере, ее связей с устной народной поэзией едва начато. В свое время, правда, сама постановка этого вопроса вызывала сомнение. Известный исследователь древнерусской литературы Н. К. Гудзий писал автору этих строк в 1955 году:

«Вообще что-нибудь специфически вологодское трудно усмотреть в том, по существу, общерусском материале, который Вами подобран (имею в виду прежде всего литературу), и едва ли плодотворно сводить исследование по древнерусской литературе к краеведческим разысканиям».

Вполне понятна та осторожность, с какой ученый, посвятивший свои усилия исследованию общерусского характера нашей древнерусской литературы, отнесся к чисто краеведческому подходу к ее памятникам. Но теперь литературное краеведение на материале новой и новейшей русской литературы — широко распространенное явление. Правда, его принципы вряд ли механически

могут быть привнесены в изучение древнерусской литературы. Всякий раз здесь возникают особые обстоятельства, осложняющие изучение памятников древнерусской литературы. Не учитывать эти обстоятельства никак нельзя, но и начисто закрывать глаза на возможности такого изучения вряд ли правомерно.

Успехи нашей литературоведческой науки последних десятилетий открывают перспективы такого изучения памятников древней русской письменности, когда это изучение учитывает и обстоятельства, связанные с конкретно историческими, географическими, этнографическими, фольклорными и другими особенностями памятника.

Марксистско-ленинская эстетика связывает зарождение устного народного творчества с процессами труда человека, возбуждавшими мышление, смелую, зоркую, художественно богатую фантазию, воплощавшуюся в мифы и сказки, легенды и предания, основной смысл которых, по словам М. Горького, «сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов, а также силою слова, приемом «заговоров», «заклинаний» повлиять на стихийные враждебные людям явления природы». Народ глубоко верил «в силу своего слова, а вера эта объясняется явной и вполне реальной пользой речи, организующей социальные взаимоотношения и трудовые процессы людей»¹.

Устная поэзия создавалась коллективной мудростью народа, художественно шлифовалась столетиями. Складывались веками, воплощались в образную форму народные представления об истории, свое понимание и свои оценки ее драматических событий и участвовавших в них личностей, реалистическими красками расцвечивались детали труда и быта народа, его борьбы за свои идеалы в различные исторические эпохи.

Доподлинно творчество широких масс народа, по мнению В. И. Ленина, важно для понимания его истории, чаяний и ожиданий, для изучения народной психологии и обобщения всего этого «под социально-политическим углом зрения»².

¹ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М.: Гослитиздат, 1953, т. 27, с. 300.

² Ленин В. И. О литературе и искусстве. М.: Гослитиздат, 1957, с. 610.

Реалистическое по своей природе мифотворчество М. Горький связывал не с «религиозным» мышлением трудовой массы, а с «художественным обобщением успехов труда» людьми физического труда, идеализировавшими способности человека и предчувствовавшими их мощное развитие. С гордостью утверждал М. Горький, что «наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа»¹.

Несмотря на бесправное, беззащитное положение творцов устной поэзии, на мучительный рабский труд, поэтическому творчеству народа всегда чужд пессимизм, а коллективу создателей мудрых и блистательных образцов народной поэзии «как бы свойственны сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами»².

«Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народного творчества»³. К этим горьковским словам не мешало бы добавить и мысль о том, что без устного народного творчества нельзя познать быт, нравы, психологию, устремления и чаяния народа на разных этапах его исторического развития.

II

Славянские поселения на территории современной Вологодской области известны с VI—VII веков. Через Белоозеро и сухонский бассейн новгородские дружины проникали далеко на северо-восток. К середине IX века северно-русский город Белоозеро был уже одним из крупнейших экономических и культурных центров Древней Руси. А в 1147 году на реку Вологду, «на великий лес» пришел киевский монах Герасим. На берегу он увидел церковь Воскресения, на Ленивой площадке — малый торжок⁴. Так дошло до нас первое известие о Вологде. В этом же веке возникают Верховажский посад, Тотьма, Кубенское и другие поселения.

Западная часть Вологодского края издавна входила в состав Киевского государства, а с его распадом познала пору феодальной раздробленности. Белозерская окру-

¹ Горький М., т. 27, с. 305.

² Там же, с. 305.

³ Там же, с. 311.

⁴ Вологодский летописец. Вологда, 1874, с. 3.

га, древнее Заволочье, Заозерье, Важские земли становятся местом ожесточенной борьбы между новгородскими, ростово-суздальскими, а затем и московскими князьями. Феодальная раздробленность Руси, отсутствие единых действий со стороны княжеств, занятых междоусобными раздорами, — все это мешало объединению сил русского народа для отпора монгольским полчищам. Эти завоеватели вплотную подошли к границам Русского Севера, в некоторых поселениях посадили даже своих сборщиков дани. Тяжелое татарское иго, под которым в течение долгих столетий находился русский народ, по словам К. Маркса, не только давило, но и оскорбляло и иссушало душу народа.

В борьбе за объединение русских земель вокруг Москвы вологжане принимали активное участие. Храбро сражались на Куликовом поле белозерские и устюженские полки. Из воинской повести «Сказание о Мамаевом побоище» известно, что белозерские храбрые дружины, откликнувшись на призыв Дмитрия Донского, выступили из Москвы навстречу врагу во главе войска и в день битвы на Куликовом поле оказались в центре боевых порядков русских, приняли на себя главный удар татарской конницы.

Вскоре после этой битвы Белозерье присоединилось к Москве. «Господин великий Новгород» потерял обширные пространства от Вологды до Великого Устюга, а владения Московского государства продвинулись далеко на Север. Ликвидация феодальной раздробленности, возвышение Москвы как политического, экономического и культурного центра Руси вели к расцвету культурной жизни Русского государства.

Бурные для своего времени события, разворачивавшиеся на древней вологодской земле, неотделимы от жизни всего русского народа, от его трудной борьбы за национальную независимость. Устная народная поэзия навсегда запечатлела и высокое патриотическое сознание вологжан в борьбе за единство Русского государства и будничную жизнь народа с ее повседневными радостями и горестями.

Наряду с древними сказками о животных и волшебными сказочными повествованиями, величественными песенными хороводами и свадебными обрядами, тесно связанными с особенностями быта народа, широкое распространение на Севере получает русский былевой эпос,

особенно былины новгородского цикла (о Ставре Годиновиче, Садке Богатом госте, Василии Буслаеве). Их возникновение исследователи относят еще к XII веку.

Богатые традиции устной народной поэзии оказывают сильнейшее влияние на памятники древнерусской литературы, получавшие широкое распространение на Севере. Многие из них своим возникновением связаны с северными землями Древней Руси. Прежде всего следует назвать одно из оригинальных произведений первой четверти XIII века — «Моление Даниила Заточника», на которое заметное стилизовое воздействие оказало «Слово о полку Игореве».

Существуют различные точки зрения по поводу автора «Моления». Одни считают, что это — гонимый холоп с диких берегов озера Лача (проф. А. П. Щапов), другие видят в нем образ «скомороха, уже имевшийся в скоморошьем творчестве» (акад. Д. С. Лихачев). Кто бы ни был, по словам Белинского, Даниила Заточник, можно заключить не без основания, что «это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность»¹.

Автор «Моления» не только хорошо знал письменную литературу своего времени, оригинальную и переводную. Он еще и активный носитель уже прочно сложившихся традиций устной народной поэзии. Обращаясь к перемыславскому князю Ярославу Всеволодовичу, он говорит:

«Кому Переславль, а мне Гореславль, кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Белоозеро, а мне чернее смолы; кому Лаче озеро, а мне много плача исполнено, ване часть моя не прорастает в нем». Здесь ощутима и яркая творческая личность автора «Моления», выражающая и самосознание народа, и безусловное знание им традиции народной поэзии.

Наряду с летописной повестью «Сказание о Мамаевом побоище» и «Сказанием о побоище великого князя Дмитрия Ивановича» широкое распространение на Севере получают и другие произведения, связанные с именем Дмитрия Донского, Куликовской битвой, с идеей единения русских земель. Среди них — повесть «Задон-

¹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т. М.: Худож. литература, 1979, т. 4, с. 183.

щина», древнейший Кирилло-Белозерский список которой относится к 1470 году. Связаны с этой повестью и богатые традиции народной поэзии Древней Руси.

Письменная литература периода объединения Северо-Восточной Руси и образования Русского централизованного государства пронизана идеей укрепления единства этого государства. Житийная литература конца XIV—XV веков подчинена этим же задачам. Авторы житий прославляли и тех вологодских церковных деятелей, которые немало содействовали объединению северных земель вокруг Москвы. Агиограф Пахомий Лагофет издает «Житие Кирилла Белозерского». В середине XV века составляется «Житие Дмитрия Прилуцкого». Из «Жития Стефана Пермского»¹, созданного Елифанием Премудрым, узнаем, что Стефан был «родом руски, от языка словеньска, от страны полунощная, глаголенные Двиньския, от града, нарицаемого Устьяга» и что он «научижеся в граде Устюге всем грамотнем хитрости и книжнен силе», знал несколько языков и изобрел зырянскую азбуку.

Хотя бы только одни эти сведения дают основание считать, что Великий Устюг наряду с Белоозером, Вологдой, Спасо-Каменным, Кирилло-Белозерским и Спасо-Прилуцким монастырями был важным культурным центром Руси Северной, средоточием книжной литературы, позволявшей получить основательное по тому времени образование.

Из русских публицистов конца XV века следует назвать в первую очередь Нила Сорского. Это чрезвычайно яркая личность, принимавшая активное участие в идеологической борьбе Древней Руси. Нил Сорский особенно остро ставил социально-нравственные проблемы своего времени. Непосредственно с Вологодским краем связаны письма Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Из них особенно значительно «Послание игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козьме с братией» (1573).

Широкое развитие получает на Севере летописное дело. Автономное летописание объединяется вокруг Москвы, выявляется культурно-историческая преемственность русской государственности.

¹ Рукопись этого «Жития» хранилась в Спасо-Прилуцком монастыре под Вологдой. См.: Степановский И. К. Вологодская старина. Вологда, 1890, с. 456—500.

В начале XVI века в Вологде на основе общерусского свода нескольких русских летописных списков создается Вологодско-Пермская летопись, включающая в себя одну из редакций выдающегося древнерусского памятника «Сказание о Мамаевом побоище» и чрезвычайно ценные записи о важнейших событиях на Севере Руси. Широко известна Великопермская летопись второй половины XVI века, включающая в себя и вологодские известия. Сходна с нею Кирилло-Белозерская летопись с обширными статьями и сказаниями¹. Чрезвычайно интересен Устюжский летописный свод и другие летописи в списках, возникавших в нашем крае. Пять летописных текстов вошли в академическое издание Полного собрания русских летописей — «Устюжские и вологодские летописи XVI—XVIII веков». Все они, по мнению ученых, представляют большой научный интерес и ценность не только для изучения местного края, но и для истории русского летописания.

Спасо-Прилуцкий монастырь давно уже известен как книгохранилище. При нем существовала и книгописная палата со многими переписчиками. Книгохранитель этого монастыря Арсений Высокий в 1584 году составил «Указец» по имевшимся в монастырской библиотеке книгам, а известный исследователь и собиратель древнерусских текстов проф. И. Шляпкин опубликовал его. В последние годы стало известно, что в Прилуках создавались и летописные повествования. Особенно интересна летопись, большую часть которой занимает текст летописного свода 1497 года, названного Летописец русский и открывающегося «Повестью временных лет». Есть в летописи и записи, относящиеся к Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю середины XVI века. Обнаружены и еще две летописи, созданные в Спасо-Прилуцком монастыре: первая из них датируется XVII веком (из собрания Уварова), вторая — началом XVIII века (из собрания Забелина); обе летописи содержат немало местных сведений.

Почти все летописи, возникавшие в период бурного развития Вологодского края, опираются и на сказания, бытовавшие в устном виде. И в летописях и в народных песнях этого времени широко отражается борьба рус-

¹ См.: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение, М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947, с. 471—472.

ского народа с польско-литовским нашествием. Вологжане, как известно, принимали участие в изгнании интервентов разорявших древние города и села Вологодского края.

Часть вологодских земель становится в XVII веке воочиной крупных помещиков. А расширение торговых связей края ведет к росту купечества, процветанию торговых городов. Эксплуатация крестьян крупными помещиками, а городской бедноты — богатым купечеством, злоупотребления властью воеводами привели к ряду восстаний. Городские восстания вспыхнули в Великом Устюге и Сольвычегодске. Восстание бедноты в Тотъеме было поддержано крестьянами. В вологодских краях появились «прелестные письма» Степана Разина, один из соратников которого пробился с большим отрядом в Тотьму. В условиях борьбы за землю и свободу подтачивались устоявшиеся традиции старины. Книжная литература испытывала все большее влияние устной поэзии, особенно тех ее произведений, в которых отражалась оппозиция крестьянства господствующим классам.

Талантливые народные певцы-скоморохи, гонимые за острый язык светскими властями и церковью, бежали на Север, оседали и в вологодских краях. «В северных деревнях гудели дудки и самодельные, похожие на грушу, трехструнные «гудки», по которым водили луковидным смычком. Плясали и кобенились скоморохи. Они глумились над боярами кособрюхими и высмеивали их лихонство и слесь, разыгрывали потешные представления, показывая, как челобитчики несут боярам в лукошках «посулы», потешные сцены вроде «Шемякина суда»¹.

Как известно, в XVII веке церковь все больше подчинялась государству, а в литературе все прочнее утверждались светские мотивы, начинали преобладать жанры бытовой, исторической и сатирической повести. В создании письменных литературных памятников второй половины века уже достаточно широко принимают участие демократические слои населения. Возникает стихотворство, появляются первые драматические произведения.

С нашим краем связано немало произведений этого времени. Среди них — знаменитая «Повесть о Савве

¹ Морозов А. А. Ломоносов и культура Русского Севера. — Север, Архангельск, 1949, № 11, с. 219.

Грудцыне», озаглавленная в одном из списков «Повесть зело правдивна быть в древние времена и лета, града Великого Устюга купца Фомы Грудцына, о сыне его Савве...»

Известны Русскому Северу выдающиеся сатирические произведения, связанные с традициями устной поэзии, — «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ершовиче». В них отражены и некоторые местные мотивы и особенности. Широко известна на Севере и едкая пародия на церковное богослужение, сатира на «царев кабак», известная под названием «Праздник кабацких ярыжек» или «Служба кабаку» и возникшая в Прилуцком монастыре, что под Великим Устюгом. Автор этого памфлета хорошо знаком как с современной ему письменной литературой («Повесть о Горе-Злочастии», «Комедия-притча о блудном сыне» Симеона Полоцкого и др.), так и с устной народной поэзией. Здесь обильно используются традиционные элементы устной поэзии, репертуар певцов-скоморохов. Текст этого памятника пересыпан народными шутками, прибаутками, небылицами, пословицами и поговорками («Слава отцу Иванцу и сыну Селиванцу», «Под лесом видят, а под носом не слышат», «Жити весело, а ести нечего», «Дом потешен, голодом изнавешен, ребята пишат, ести хоят, а мы, право, божимся, что и сами не етчи ложимся») ¹.

Блестящий сатирический талант проявился в это время в «Житии протопопа Аввакума». Многочисленные произведения этого автора были созданы в пустозерской тюрьме, но Аввакум был связан не только с Крайним Севером (Пустозерск, Мезень, Соловецкий монастырь), где распространялись во многих списках его сочинения, но и с Вологодским краем. В «Житии» он неоднократно упоминает Вологду, рассказывает о встречах в Великом Устюге со своими единомышленниками.

Из произведений силлабического стихотворства особенно широкое распространение в наших краях получили «Рифмованная псалтирь» Симеона Полоцкого и «Большой букварь» Кариона Истомина. Из представителей досиллабического стихотворства, связанных с Вологодским краем, надо назвать наиболее плодовитого

¹ См.: Адрианова-Перетц В. П. У истоков русской сатиры. — В кн.: Русская демократическая сатира XVII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 137—187.

виришеписца Ивана Хворостинина, сосланного за свободомыслие в Кирилло-Белозерский монастырь.

Уже в наше время обнаружен в Вологде, в рукописном отделе областной библиотеки, текст первой пьесы русского театра «Артаксерксово действо», впервые поставленной в «комедийной хоромине» подмосковного села Преображенского осенью 1672 года. Текст этой пьесы долгое время оставался неизвестным, его считали утраченным, и только через три столетия после создания и постановки «Артаксерксова действа» обнаружили в Лионской библиотеке (Франция) несовершенный список пьесы, а в Вологде наиболее исправный вариант, который известен теперь как «вологодский список». Специалисты считают, что он был сделан первым постановщиком этой пьесы писателем А. С. Матвеевым и завезен им в Вологду по пути в пустозерскую ссылку в 1676 году или по возвращении из нее...

Древнерусская литература в своем развитии опиралась на вековые устно-поэтические традиции народа. Вологжане не только активно осваивали выдающиеся памятники древней русской письменности, но и оказывали на них значительное воздействие.

В глубь веков уходит своими корнями устная народная словесность. Обозначить хотя бы основные вехи ее развития трудно, потому что изустно создаваемые образцы народного искусства дошли до нас в форме, трансформированной позднейшими наслоениями.

Особую ценность представляют рукописные сборники XVII—XVIII веков, сохранившие самые ранние записи образцов народной поэзии. В Кадникове обнаружен большой рукописный сборник пословиц и поговорок XVII века¹. П. Дилакторский «из рук простонародья» добыл тетрадь со списком народных драм «Шапошник и мужик», «Могильник и кобыляк», относящихся ко второй половине XVIII века². Им же была опубликована «Ведомость о масленичном поведении 1762 года»³.

¹ Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. СПб., 1899, с. 163—216. (Сборник ОРЯС АН, т. LXVI, № 7). Рукопись из г. Кадникова от Н. Г. Ордина получена в 1879 г. и хранится в библиотеке АН СССР.

² Миллер Вс. Новый интерлюдий XVIII века. — Известия ОРЯС АН. СПб., 1900, т. V, кн. 3, с. 747—767.

³ Этнографическое обозрение, 1895, кн. 24, № 1, с. 118—122.

Академик В. И. Срезневский приобрел в Великом Устюге нотный песенник конца XVIII века, в который вошли лирические, масленичные, свадебные, хороводные, подблюдные и другие народные песни. В другом сборнике песен и романсов конца XVIII века, приобретенном в Кадниковском уезде, — известные по поздним записям и широко распространенные в крае лирические и свадебные песни «Ах, как я молода», «Ах, по мосту, мосту», «Весел я, весел сегодняшний день», «Во лужях», «Ты крапива, крапива жигучая». Вошли в эти сборники и песни «Во Кистрине было городе», «Ныне времечко военно»¹.

Положительные результаты дали и другие экспедиции, предпринятые с целью разыскания древних рукописей, включающих в себя и образцы народной поэзии. Даже эти скудные сведения дают представление о широком бытовании устной поэзии на территории Вологодского края в XVII—XVIII веках.

III

Превращение отсталой Московской Руси в мощное государство, способное отстоять свою независимость, вело в свою очередь к развитию национальной культуры, росту новой русской литературы. Бурная преобразовательская деятельность Петра Первого сказалась и на подьеме жизни в Вологодском крае. Наряду с экономическими преобразованиями происходили существенные перемены в быту народном. Широко насаждалось в это время просвещение, развивалось книгопечатание, появилась вышедшая из народных глубин интеллигенция.

В числе первых учебных заведений на вологодской земле была цифирная школа в Вологде (1714), вскоре открылась духовная семинария (1730). Стали настольными такие учебные печатные книги, как «Арифметика сиречь наука числительная» (1703), «Грамматика» (1721), рукописная «Повесть о зачатии и рождении Пет-

¹ Срезневский В. И. Отчет отделению русского языка и словесности АН о поездке в Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии (июнь 1902 года). СПб., 1904, с. 206—207, 225—230, 260 и др.

ра Великого»¹. Большой популярностью пользовались светские повести о Василии Карнотском, об Александре, о купце Иоанне, распространявшиеся в рукописных списках. Как защитник просвещения и преобразования выступает видный поэт и публицист этих лет Феофан Прокопович. Однако письменная литература в петровские времена переживает застойное время, а читающее общество продолжает удовлетворяться рукописными повестями, сатирами и виршами, лубочными изданиями произведений древнерусской литературы. Народные низы остаются, как и раньше, оторванными от письменности, в кругу своей устно-поэтической традиции.

Новая русская литература начинается, в сущности с Ломоносова. Гениальный ученый и поэт, «рожденный под хладным небом северной России», явился живым воплощением национальной талантливости, огромной духовной мощи всего русского народа. Но своеобразная культура Севера, мастерство его умельцев и тяга к поэтическому слову не могли не сказаться на формировании Ломоносова как творческой личности.

Его родина — Холмогоры — издавна была тесно связана не только с Архангельском, но и с Вологдой, Великим Устюгом, Сольвычегодском и другими северными городами. С устюжанами холмогорцы общались особенно часто. Единство устно-поэтических традиций, постоянный обмен художествами и ремеслом скрепляли их давнюю и прочную дружбу.

Став знаменитым, Ломоносов неоднократно обращался к родным истокам. В своих поэтических произведениях он воспевал природу родного края, северных умельцев, прославленных русских землепроходцев, открывателей новых земель Семена Дежнева и Владимира Атласова, Федота Алексеева...

С гордостью Ломоносов писал:

Колумбы Россские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь откроют на Восток.

Искренний патриот, он горячо верил в неисчерпаемые силы своего народа, в его будущее. Ломоносов радовался,

¹ См. перечень таких книг, собранных в вологодском Доме-музее Петра: Степановский И. К. Вологодская старина. Вологда, 1890, с. 337—341.

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...

В середине XVIII века Вологодский край перестает играть ту важную роль в экономической жизни страны, какую играл раньше. Упразднение значительной части обширных монастырских владений не освобождало крестьян от поборов. Раздача земель дворянам-помещикам увеличивала число крепостных. Принудительный труд на барина, кабальная зависимость от него вызвали среди крестьян стихийные вспышки протеста.

Неимоверно большие налоги душили и так называемых государственных крестьян. Вологодский черносошный крестьянин Иван Чупров, выступая в комиссии для составления нового «Уложения», заявлял, что труд государственных крестьян, поскольку они «в вольности жительство имеют», гораздо продуктивнее труда «помещиковых крестьян», которые «в унынии и бедности жительство имеют». Он не только требовал ограничить власть помещиков, «безмерно мучащих» своих крестьян, но и резко протестовал против желания купечества «помещичьи выгоды иметь». Ссылаясь на свой опыт, Иван Чупров утверждал, что во власти купцов крестьянам, обремененным поборами, жилось невыносимо тяжело: «Не точию у них у иных в доме другого чего, но и сверху сквозь худые оконницы за скудостью, а на плечах ладной одежды нет, хлеба иногда отобедать с нуждой»¹.

Такие острые публицистические выступления явились голосом самого народа и были поддержаны передовыми общественными деятелями своего времени, писателями, просветителями. «Крестьянский вопрос» стал предметом внимания русской литературы.

Горячо поддерживал крестьянских депутатов знаменитый деятель русского просвещения Николай Новиков. Его передовые позиции нашли широкое выражение в публицистической, книгоиздательской, во всей просветительской деятельности писателя. «Благородная натура этого человека, — писал Белинский о Новикове, — постоянно одушевлялась высокой гражданской страстию — разливать свет образования в своем отечестве»².

¹ Русская проза XVIII века. М.; Л.: Гослитиздат, 1950, т. 1, с. 240.

² Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 8, с. 157.

Первая книжная лавка в Вологде была открыта Н. И. Новиковым в 1779 году, ему обязаны вологжане приобщением к чтению, распространением знаний среди широких слоев народа. Через его книжную лавку проникали в Вологду периодические издания («Древняя Российская вивлиофика»), книги по самым различным отраслям знаний, сочинения многих русских писателей — Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, переводы из Шекспира, Вольтера и Руссо, «Песенник» Чулкова, включавший в себя образцы народной лирики. Горячее участие принял Н. И. Новиков в издании первого библиографического справочника «Опыт исторического словаря о русских писателях» (1772) и книги вологжанина А. А. Засецкого «Исторические и топографические известия по древности о России и особенно о городе Вологде и его уезде...» (1782).

Демократическая идеология в царской России складывалась, как известно, в напряженной борьбе с официальной феодально-крепостнической идеологией. Впервые остро и гневно протест против самодержавия и крепостничества выразил первый русский революционер-просветитель Александр Радищев в знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Екатерина II запретила эту крамольную антикрепостническую книгу, весь ее тираж был изъят и уничтожен. Чудом сохранилось всего лишь экземпляров двадцать этого издания и два из них оказались в наших краях. Один экземпляр запретного издания этой книги долгое время находился в Тотьме, в библиотеке В. Т. Попова¹, второй, очевидно, из барской усадьбы попал в Вологодскую публичную библиотеку при ее образовании.

«Путешествие из Петербурга в Москву» завез в наши края скорее всего Петр Челищев, товарищ Радищева по Лейпцигскому университету. Он был настолько близок к Радищеву, что у Екатерины II поначалу возникло подозрение о его соучастии в создании «Путешествия из Петербурга в Москву». «По городу слух, — писала царица графу А. А. Безбородко 26 июня 1790 года, — будто Радищев и Шелищев (Челищев) писали и печата-

¹ Ильинский Н. В. Т. Попов и его тотемская библиотека. — Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вологда, 1917, вып. IV, с. 62—73.

тали в домово́й типографии ту книгу, исследовав, лутче узнаем»¹.

Петр Челищев, безусловно, входил в круг наиболее близких Радищеву людей, которые не только знали о работе писателя над «Путешествием», но и разделяли его взгляды. Совершив в 1791 году большое путешествие по северу России, Челищев не преминул встретиться в Архангельске с советником местной таможни М. Н. Радищевым, который после ареста брата-революционера взял на себя воспитание его детей. Из Архангельска Челищев приплыл по Северной Двине в Великий Устюг, пересек всю Вологодскую губернию, оставившись в Тотьме, Вологде, Кириллове, Белозерске. Отмечая тяжелое положение трудолюбивого северного крестьянства, скованного «узами рабства», он с горьким сожалением писал о пренебрежении правительства к интересам и нуждам народа. Челищев осуждал пассивность и суеверие народа, выраженные и в его устном творчестве и с гордостью заявлял, что «русский язык, как верное выражение ума и души народа, обладает всеми условиями для того, чтобы служить достаточным орудием для просветительных целей»².

IV

Осознание необходимости собирания и изучения устной народной поэзии стало фактом уже в XVIII веке. «Меняется отношение к народной поэзии, — пишет историограф русской фольклористики М. К. Азадовский. — Просветительское отношение к фольклору как к остаткам невежественной старины или проявлению народного бескультурья уступает место признанию его эстетического и этического значения и совершенства»³.

На смену стихийному отношению к устной народной поэзии приходит стремление осмыслить ее социально-художественные ценности, общественное и литературное значение. Обсуждение проблем народного и национального в литературе XIX века неизменно связывается с традициями народной поэзии.

¹ Цит. по кн.: Евгенийев В. А. Н. Радищев. М.: Молодая гвардия, 1949, с. 187.

² Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году. СПб., 1886, с. 213.

³ Азадовский М. К. История русской фольклористики. М.: Учпедгиз, 1958, т. 1, с. 113.

Оценка поэзии народа становится предметом острых споров и напряженной идейной борьбы. Столкновение демократических и реакционных позиций сказалось и на первых этапах собирания и изучения народной поэзии Вологодского края. В начале XIX века демократические взгляды на устное творчество народа были характерны для «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». В него входила значительная группа вологжан (К. Н. Батюшков, Н. Ф. Остолопов, Н. П. Брусилов). Однако собирательской деятельностью они не занимались и сколько-нибудь значительных образцов народной поэзии родного края в научный обиход не ввели.

Народные предания собирал тогдашний вологодский епископ Евгений Болховитинов, человек консервативный по своим убеждениям. Он поддерживал собирательские интересы И. М. Снегирева, не раз приезжавшего в Вологду, посылал фольклорные и исторические материалы Н. М. Карамзину, но сам изучением народной поэзии не занимался.

Усиление политической реакции после разгрома декабристского движения способствовало формированию теории так называемой официальной народности. Охранительные тенденции, позиции «квасного» патриотизма и шовинизма не давали возможности по достоинству оценить редактору «Русского вестника» Сергею Глинке те образцы народного творчества, с которыми он столкнулся во время путешествия по Вологодской губернии. То же самое произошло и с издателем «Отечественных записок» П. П. Свиньиным, изучавшим жизнь и быт жителей Вологодского края в духе официальной народности («Картины России и быт разноплеменных ее народов. Из путешествий П. П. Свиньиной», 1839). В русле официальной народности шла собирательская деятельность и И. М. Снегирева и И. П. Сахарова.

Низок был еще и уровень развития науки о народной поэзии. Составители первых сборников, куда входили и образцы народной поэзии Вологодского края, не считали нужным указывать адреса публикуемых произведений. Вологодские тексты, как и другие записи, в первых сборниках И. М. Снегирева («Русские в своих пословицах», 1831—1834; «Русские народные пословицы и притчи», 1848) не были обозначены. И только в «Новом сборнике русских пословиц и притчей» И. М. Сне-

гирев указал на 18 вологодских пословиц¹, не обозначив, однако, тексты, записанные С. П. Шевыревым по пути в Белозерск.

Важность изучения местных особенностей произведений народной поэзии была отмечена И. П. Сахаровым². Ему же принадлежат и первые публикации вологодских записей. В «Сказаниях русского народа» (1837) он дает одно из самых ранних описаний свадебного обряда Вологодской губернии, а в «Песнях русского народа» (1838) публикует местные присловья, колядскую песню, сообщает о народных праздниках и преданиях в Вологде и Устюге, подблюдных играх в святки. Описание вологодской свадьбы дает и А. В. Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848), замечая, что «по недостатку окончателных обрядов», он должен был «ограничиться общими чертами о свадьбе вологодской». Многие из этих публикаций обесценены подделкой текстов в угоду цензуре и взглядам официальной народности, тесными рамками казенного мировоззрения собирателей и исследователей³.

Среди публикаций этого времени несколько особняком стоит сборник крестьянского поэта-самоучки М. Суханова «Древние русские стихотворения, служащие в дополнение к Кирше Данилову» (СПб., 1840), в который вошла былина «О Святогоре богатыре», записанная в Устюге, и составленное И. Пушкаревым «Описание Вологодской губернии» (СПб., 1846), включившее ранние образцы народных поверий, песен и заметки о хороводах и свадебных обрядах.

О богатстве устной народной поэзии в Вологодском крае впервые заговорил известный русский критик, издатель журнала «Телескоп» Н. И. Надеждин (1804—1856). Он был поражен обширнейшими, малозаселенными пространствами губернии, покрытыми «дремучими, непроходимыми лесами. В этих отдаленных уездах Вологодской губернии Н. И. Надеждин и нашел больше всего «остатков русской самобытной народности». «Здесь,— писал он,— сохраняются до сих пор во всей чистоте древние

¹ Новый сборник русских пословиц и притчей, служащий дополнением к собранию русских народных пословиц и притчей, изданных в 1848 году И. Снегиревым. М., 1857, с. 14—17, 27, 33, 38—40, 49, 51, 53.

² Сахаров И. П. Сказания русского народа. СПб., 1837, ч. II, с. 184.

³ Азадовский М. К. Указ. соч., т. 1, с. 364—365.

предания, поверья, обычаи, забавы, игрища; особенно в Устюге, кажется, живешь еще в блаженные времена русских сказок»¹.

Приняв на себя сотрудничество в «Энциклопедическом лексиконе» и переключившись на занятия отечественной историей и этнографией, Н. И. Надеждин встретил в Вологде, особенно среди преподавателей гимназии, истинных энтузиастов краеведения, собирателей и исследователей бытующих в народе произведений устно-поэтического творчества. Большой этнографический материал был предоставлен Н. И. Надеждину тогдашним инспектором Вологодской гимназии Ф. Н. Фортунатовым, вскоре принявшим на себя от ссыльного поэта В. И. Соколовского редактирование неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей»².

В конце тридцатых и начале сороковых годов Вологодская гимназия объединила всю работу по изучению родного края. Учителям и смотрителям школ губернии совет гимназии разослал циркуляры по собиранию местных материалов, в том числе этнографических сведений и текстов народных поэтических произведений³. Особенно большой вклад в собирание и изучение устной народной поэзии внесли воспитанники гимназии, а затем и ее преподаватели Н. И. Иваницкий и Ф. Д. Студитский.

С учреждением в 1838 году неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей» появилась возможность публикации результатов собирательской деятельности местных краеведов. На страницах этой газеты печатались тексты народных преданий, заговоров, поверий, старинных свадебных обычаев, образцы местных слов и выражений⁴, народное предание об Анике-воине, позже перепечатанное П. В. Киреевским⁵. Учите-

¹ Вологодская губерния. — Энциклопедический лексикон. СПб.; 1938, т. XII, с. 416.

² Фортунатов Ф. Заметки и дополнения вологжанина к статье об А. П. Мельгунове (из запаса семейных бумаг и памяти). Русский архив, 1865, с. 947.

³ Погодин М. Вологда. — Москвитянин, 1842, ч. IV, № 8, с. 280.

⁴ См.: Степановский И. К. Вологодские губернские ведомости в период 50-летнего их существования. 1838—1888 гг. Указатель статей и заметок, относящихся к Вологодской губернии, помещенных в неофициальной части. Вологда, 1888.

⁵ Вологодские губернские ведомости, 1841, № 35, 30 авг., с. 253—257; Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1862, вып. 4 (доп.), с. 125—129, СХІ—СХІІІ.

лем из Кадникова Е. В. Кичиным были представлены образцы местных поверий («Окаменелая баба под Лисьей горой», «Травка-невидимка», «Медведь-проказник» и др.).

Идеологи официальной народности в сороковые годы проявляли особенно пристальное внимание к народной поэзии Вологодского края. М. П. Погодин и С. П. Шевырев один за другим совершили поездки по губернии. Желая иметь «мнение о самих себе, как о нации», интересуясь вологодскими древностями, они стремились привлечь на свою сторону и «почтенных ученых Вологды». Явно преувеличивая, С. Шевырев писал, что он нашел «здесь полное сочувствие к тому направлению... в науке и литературе», которому следовал сам¹.

На страницах «Москвитянина» активно выступал вологодский историк, известный археолог П. И. Савваитов (1815—1895). Еще в 1841 году он опубликовал «Песню про френцузю»², а затем несколько лирических, свадебных и исторических песен³. Это была всего лишь незначительная часть богатейшего собрания, которую он намеревался положить в основу «Вологодского сборника». Ознакомившись в августе 1841 года с материалами П. Савваитова, М. Погодин утверждал, что у него «столько же собрано для Вологды, сколько у Мельникова для Нижнего, и было бы жаль, если бы они не исполнили своих обещаний»⁴. Сообщая о народных песнях, обрядах, поверьях, собранных П. Савваитовым, М. Погодин публикует некоторые песни («Что на славной реке Вологде», «От поехал князь Михайло»), заговоры, легенду об Анике-воине⁵.

П. Савваитова интересовали преимущественно «былины старого времени». По свидетельству собирателя, наиболее оригинальные образцы этого жанра сохранились

¹ Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни проф. С. Шевырева в 1847 году. М., 1850, ч. 1, с. 106. Здесь же он дает текст двух вологодских песен. По дороге в Кириллов записывает еще пять песен (Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М., 1850, ч. II).

² Москвитянин, 1841, ч. II, № 3, с. 270—272.

³ Там же, ч. III, № 5, с. 3—9; так же: Савваитов П. Дорожные заметки. От Вологды до Устюга. — Москвитянин, 1842, ч. VI, № 12, с. 310—336.

⁴ Погодин М. Вологда. — Москвитянин, 1842, ч. IV, № 8, с. 258.

⁵ Там же, с. 251—252, 274—279; 1843, ч. VI, № 11, с. 244—246.

в Вельском уезде: «Здесь все они, без исключения, называются былинами и рассказываются нараспев». Крестьяне охотно исполняют, но неохотно соглашаются, чтобы записывали: «ведь *песня-быль*, — говорят они обыкновенно, — а мало ли чего бывает? За иное и в суд ведут»¹. В архиве собирателя сохранилась одна из самых ранних записей былины о Василии Буслаеве².

Опубликованные П. Савваитовым записи выполнены филологически тщательно, с сохранением особенностей местного произношения. Он считает, что «в притчах и поговорках, равно как в пословицах, песнях, сказках и былинах, ярко обрисовывается характер и образ мыслей народа, его история, нравы, обыкновения, страсти, словом — весь народ в умственном, религиозном и политическом быту»³. Однако собиратель останавливается преимущественно на этнографических деталях, уходит от расстановки идейных акцентов.

Редактор «Москвитянина» в полемике с П. В. Киреевским, медлительность которого в издании русских народных песен он считал «гражданским преступлением», стремился использовать не только П. Савваитова. В 1842 году были опубликованы «Причитания невесты в Вологодской губернии», собранные учителем словесности Вологодской гимназии Н. И. Иваницким⁴. В письме к М. П. Погодину автор публикации сообщал, что, кроме свадебных причитаний, им собрано «сотен до трех» песен и «штук до десяти сказок»⁵. Встретившись с Н. И. Иваницким в Вологде, М. Погодин обнаружил в его собрании «несколько народных песен и, между прочим, одну *бывальщину* из времен Иоанна Грозного (так называют здесь исторические песни)»⁶.

Обратившись к собиранию и изучению различных жанров народной поэзии родного края, Н. И. Иваницкий

¹ Савваитов П. Вологодские песни. — Москвитянин, 1841, ч. II, № 3, с. 270—271.

² См.: Русский фольклор. М.: Изд-во АН СССР, 1957, т. 2, с. 282—285.

³ Москвитянин, 1841, ч. II, № 3, с. 270.

⁴ Там же, 1842, ч. VI, № 12, с. 474—489.

⁵ Новиков Н. В. Н. А. Иваницкий и его фольклорное собрание. — В кн.: Песни, сказки, пословицы, поговорки, и загадки, собранные Н. А. Иваницким в Вологодской губернии. Вологда: Кн. изд-во, 1960, с. IV.

⁶ Москвитянин, 1842, ч. IV, № 8, с. 283.

в отличие от своего товарища по гимназии Ф. Студитского вскоре отошел от этой деятельности. Исключительно образованный человек, испытавший влияние идей Белинского и Герцена, жаждавший обновления России и веривший во взрыв народного долготерпения, Н. И. Иваницкий безусловно внес бы значительный вклад в историю русской фольклористики.

Наиболее заметные результаты в собирании и изучении устной народной поэзии Вологодского края достигнуты были в это время Ф. Д. Студитским (1814—1893). Деятельность его как верного последователя В. Г. Белинского во взглядах на народное творчество еще не оценена по достоинству. Студитскому принадлежат не только ценные публикации народных песен Вологодской губернии, но и обоснование методов их собирания.

Еще до выхода в свет книги «Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний» Белинский опубликовал присланные Студитским вологодские песни («Собирался князь Михайло», «Как во городе было во Астрахани», «Ерема жил на горке» и другие) и упомянул, что пример И. Сахарова «благотворно действует на охотников до русских песен»¹.

Народная песня рассматривается Ф. Студитским, как «выражение русской души, ума, страстей, народной философии», как «выражение чувства отдельного человека», как «выражение заветной мысли об общественных событиях». Собиратель указывает на свое стремление сохранить народные песни «в таком виде, как их поют». «Особенно драгоценными» он считает исторические песни и отбирает те из них, в которых выражен народный протест против насилия («Как во городе было во Астрахани»), отстаивает принцип историзма в изучении народных песен, выделяет «рассказ старинного происшествия» («Собирался князь Михайло»), представляющий «мрачную картину из семейной жизни наших предков».

Ф. Студитский отмечал не только общественно-историческое значение народной поэзии, но и ее художественную самобытность, считал, что современная поэзия может искать новые формы в общении с устным творчеством народа, что с его помощью поэты «изучат на-

¹ Отечественные записки, 1841, т. XVI, № 5—6, с. 55.

родный дух, ближе ознакомятся с характером народа и его творений».

Вслед за Белинским Ф. Студитский осуждает пассивность слянянофилов в издании образцов русской народной поэзии. По его мнению, «каждый русский, как истинный сын отечества, не должен скрывать того, что обстоятельства позволили ему собрать», а должен «отдать свои труды отечеству, как его достояние»¹.

Предостерегая от преждевременных обобщений в связи с неполными данными по народному творчеству, Студитский приводит исключительно ценные сведения о бытовании устной поэзии в народе:

«В Вологде летом на многих дворах собираются девушки и молодцы, играют в хороводы и поют хороводные песни, целые ночи проводят в этих увеселениях; я с восторгом слушал очаровательные звуки их песен».

В Псковской губернии собиратель уже не заметил «ни той живости в играх, ни той безотчетной веселости, ни той милой простоты, ни того разнообразия в играх и песнях»² — всего того, что он наблюдал в поэзии вологжан.

Собрание песен Ф. Студитского — чрезвычайно ценное издание как по своему художественному уровню, так и по научной тщательности подготовки текстов. Все песни записаны «с голоса и со слов жителей». Собиратель высоко ценит оригинальность создаваемых народом поэтических произведений, природную талантливость исполнителей. В сборник «Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, собранные Ф. Студитским» (1841) вошло 123 песни, записанные в Вологодской губернии. Обращая особое внимание на хороводные песни, выделяя из них сборные, парные, протяжные, Студитский сопровождает публикации обстоятельной статьей о хороводных песнях Вологодской губернии.

«Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний» — первый опыт собирания песен по областному принципу. Ф. Студитский и в дальнейшем полизировал с И. Сахаровым, считая необходимым указывать место и время записи народных текстов. Правда, и сам он еще не был до конца последовательным. В книге «Народные песни, собранные в Новгородской губернии

¹ Отечественные записки, 1841, т. XVI, № 5—6, с. 55—57.

² Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, собранные Ф. Студитским. СПб., 1841, с. II, III, IV.

Ф. Студитским» (СПб., 1874) место записи каждого отдельного текста, как и в первом сборнике, не уточнено.

Собирательские и исследовательские позиции Ф. Студитского были активно поддержаны Белинским, видевшим в собирателе большого знатока своего дела и отмечавшего научную тщательность издания вологодских и олонечких народных песен¹.

Сборник Ф. Студитского, в котором впервые так широко представлена народная песня Вологодского края, стоит у самых истоков собирания и изучения устной поэзии русского народа, является значительным вкладом в науку, сделанным в первой половине XIX века.

Устная поэзия становилась в это время просторным полем для деятельности молодых ученых-вологжан. Их усилиями были собраны на территории губернии ранние образцы свадебных песен и причетов, народных преданий и легенд, былин и «бывальщин». Отмечая богатство русской народной поэзии, ее широкое бытование в народе, эстетическую ценность, вологодские фольклористы стремились не только обобщить первые итоги собирательской деятельности, но и высказывали ценные для изучения устной народной поэзии наблюдения в то время, когда «все этим занимались еще очень мало и немного и когда понятия обо всем этом были очень туманны»².

V

Широкий разворот приобретает собирательская деятельность во второй половине XIX века. Этнографический отдел Русского Географического общества, основанного в Петербурге в 1846 году, объединяет усилия и вологодских исследователей жизни и быта народа, собирателей устно-поэтических текстов. Интерес к быту народа и его поэзии становится массовым, расширяется социальный круг собирателей, среди которых теперь преобладают разночинцы (П. С. Воронов, Е. В. и В. Е. Кичины, В. Т. Попов, Н. Четверухин, М. Бартев, Н. Ордин и др.). Среди новой плеяды собирателей и исследователей особым интересом к изучению былинных традиций исторического эпоса выделяется вологод-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1954, т. V, с. 477—478.

² Срезневский И. И. Труды П. И. Саввантова. — Сборник ОРЯС АН, 1873, т. X, с. XIV.

ский учитель, впоследствии известный русский педагог Н. Ф. Бунаков (1837—1904)¹. «Деревня давала мне, — вспоминает он об этом времени, — много интересных наблюдений над народной жизнью, бытом и нравами крестьянства, над народной речью, которую я легко усвоил. Я записывал песни, сказки, бывальщины, слова и выражения народного языка»².

Произведения устной народной поэзии печатаются в местных краеведческих изданиях, особенно на страницах неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей», и благодаря усилиям собирателей-вологжан становятся достоянием исследователей. Немало рукописей от вологодских краеведов получало Русское Географическое общество, объединившее деятельность этнографов всей страны. Из Кадникова поступали материалы от Е. Кичина, из Череповецкого уезда — от Н. Чернышева. В Белозерском уезде записывал тексты произведений устной народной поэзии Н. Богословский³. Значительную часть своих вологодских записей передал обществу П. Савваитов, а заговоры, записанные им в различных уездах Вологодской губернии, вошли в «Беликорусские заклания» (1869) Л. Майкова. Образцы вытегорского говора изучал И. И. Лабардин, публикуя песни, загадки, пословицы и поговорки⁴. Своих корреспондентов в Вологодской губернии имел В. И. Даль и использовал их материалы в «Пословицах русского народа».

Тысячи текстов народных произведений, накопленные П. В. Киреевским, все еще не появлялись в печати⁵. В этих условиях особенно актуальным становилось

¹ Бунаков Н. О русских исторических песнях ига монгольского. — Вологодские губ. ведомости, 1854, № 38—39, с. 405—409, 415—419: Два образчика изустного старорусского эпоса. — Русское слово, 1856, № 1, с. 87—94.

² Бунаков Н. Ф. Моя жизнь. СПб., 1909, с. 35.

³ Богословский Н. Материалы для истории, статистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волостей. Белозерский уезд. — Новгородский сборник, 1865, вып. 1, с. 283—298.

⁴ Лабардин И. И. Образцы вытегорского говора. — Известия ОРЯС, СПб., 1853, т. II, с. 226—234.

⁵ В сборники «Песни, собранные П. В. Киреевским» вошли наиболее ранние записи вологодских песен: «Аника-воин» (вып. 4, 1862), «Князь Михайло» (вып. 5, 1863), «По питерской дорожке ехали обозы», «Собиралася купавушка», «Что на славной реке Вологде» (вып. 6, 1864) и др.

использование собраний архива Русского Географического общества для создания первых сводов народной поэзии различных жанров. Начиная с 1855 года, выходят первые выпуски свода А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (1855—1863), в котором впервые так широко представлены и вологодские тексты сказок о животных («Лиса-повитуха», «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Свинья и волк», «Журавль и цапля», «Байка о щуке зубастой»), волшебных сказок («Морозко», «Перышко Финиста ясна Сокола», «Чудесная дудка»), новеллистических («Сказка о злой жене»), докучных сказок и анекдотов. «Народные русские сказки» Афанасьева утверждали демократическую линию в собирании и издании устной народной поэзии.

Собранные «низовой» интеллигенцией тексты народных произведений входят и в другие общерусские своды. В книге «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» печатаются тексты былин «Добрыня и сила неверная», «Добрыня и смерть», записанных в Вытегорском уезде (ч. II, 1862), вытегорские песни и свадебные причеты (ч. III, 1864; ч. IV, 1867). Первую сотню тотемских и вытегорских загадок обнаруживает Д. Садовников («Загадки русского народа», 1876). Исторические песни из Кирилловского уезда, сообщенные Л. Н. Майковым, входят в сборник «Русские народные песни, собранные П. В. Шейном» (1877). Уроженец Череповца Е. В. Барсов издает «Причитания Северного края», включая в них похоронные (ч. I, 1872) и рекрутские (ч. II, 1882) плачи, записанные в родном ему уезде. Публикует Е. Барсов и предание о Петре I и вытегорах «камзольниках»¹.

Появление в печати нового фактического материала, громадная масса местных описаний, где народный быт рисуется в целой картине его внешней обстановки, с его историческим прошлым, нравами и обычаями, преданиями и народной поэзией — все это стало основой «для новых исследований, о которых едва помышляла прежняя этнография»².

Этнографическое изучение преобладало в эти годы над интересом к живому творчеству народа. Описывались и изучались преимущественно явления быта, осо-

¹ Барсов Е. Петр Великий в народных преданиях Северного края. — Беседа, 1872, № 5, с. 295—309.

² Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891, ч. II, с. 53.

бенно народные обычаи и обряды¹. В тексты этих описаний вводились и оригинальные народные произведения, но они никак не охватывали всего идейно-художественного и жанрового многообразия устной народной поэзии края. Так, в этнографическом и историческом описании Кокшеньги, составленном В. Т. Поповым, содержится лишь упоминание о легендах и преданиях. Сохранившееся среди тотемских крестьян предание о Тимофее Ермаке и его сыне как жителях починка Тимошкино дается в авторском изложении, утрачивающем народные характеристики².

Находясь в шестидесятих годах в вологодской ссылке, Н. В. Шелгунов осуждал «любителей» народа, которые ходили по деревням, собирали песни, сказки, но не интересовались тем, как живет население. «Сегодня еду на деревенский девичник, — писал Н. В. Шелгунов из Тотьмы 16 января 1865 года, — хотя это и не нужно для статьи, но может и пригодиться. Бытовой стороны я вообще не касаюсь — тоска, а исключительно экономической и социальной».

Вологодская губерния, растянувшаяся почти на тысячу верст, в его характеристике — «бедна, дика и пустынна», крестьяне на ее землях выращивают жалкие урожаи и вынуждены использовать лес «для получения хлеба». Исколесив в качестве поднадзорного почти всю губернию (Тотьма, Устюг, Никольск, Кадников), Н. В. Шелгунов был поражен горькой нищетой населения, видел, что беднота питается плохо, спит вповалку, укрываясь ватником или тулупом. Не раз писал он и о большой одаренности простого народа; его душевной красоте, брал под защиту активных исполнителей народной поэзии — вологодских кружевниц³.

¹ Кичин Е. Старинный свадебный обычай. — Вологодские губ. ведомости, 1853, № 34, с. 294—295; Свадьба на Вохме (Из записок землемера Паули). — Там же, 1854, № 2, 3, с. 12—16, 27—29; Попов В. Описание Кокшеньги. — Там же, 1857, № 20—24, с. 119—121, 127—130, 135—138, 143—146, 151—153; Кичин В. Свадебные обряды в Васьяновской волости Кадниковского уезда. — Там же, 1860, № 53, с. 373—375, № 8, с. 56—58 и др.

² Попов В. Т. Предания в Тотемском уезде о Ермаке, завоевателе Сибири. — Вологодские губ. ведомости, 1898, № 47, с. 4—5.

³ Шелгунов Н. Домашняя летопись. — Русское слово, 1865, № 2, с. 29—74; Провинция. — Русское слово, 1865, № 1, с. 125—165; № 2, с. 29—74; Вологодские кружевницы. — Дело, 1867, № 11, с. 201—220.

Революционно-демократические взгляды на устную народную поэзию, развитые Н. А. Добролюбовым, реализуются в деятельности собирателей и исследователей шестидесятых годов, рассматривающих творчество народа в связи с его жизнью, историей, социальными и эстетическими идеалами. Передовые демократические взгляды этих лет в собирании и изучении народной поэзии Вологодского края нашли выражение в работах В. Александрова и Н. С. Преображенского, опубликованных на страницах «Современника». Еще в очерке «Вологодская свадьба» В. Александров, публикуя записанные в Вологодском уезде в 1861 году свадебные песни и причеты, приводит чрезвычайно ценные сведения о своеобразии свадебного обряда, его экономической основе и эстетической цельности, об отличии свадьбы крепостных и так называемых «вольных» крестьян.

«Случалось так, — рассказывает В. Александров, — что господа призывали к себе жениха, а чаще всего его отца и приказывали ему женить сына и сами назначали ему невесту. Такую же власть имели приказчики и управляющие. И потому свадьбу тогда играли кое-как, с горем пополам, без соблюдения всех свадебных обрядов, так сказать на скорую руку... Нечего и говорить, сколько было тогда слез у невесты и ее родных, сколько причетов, выражающих горе, сколько жалоб на житье на чужой стороне, у грозного мужа и лютой свекрови». Но не только в этих случаях причеты преобладали над свадебными песнями. В Вологодском уезде, по словам исследователя, «невесты и подружки ее больше причитают или, лучше сказать, *воют причеты*».

Призывая спешить собирать «старинные народные создания», В. Александров отмечает перемены в поэтическом репертуаре народа, исчезновение многих произведений и замену их «произведениями нового времени»: «Я вывожу это заключение из того, что большая часть народных песен Вологодской губернии, изданных в 1841 году и собранных Ф. Студитским в той же местности, где я собирал, в 20 лет забыты крестьянами и заменены другими, отчасти даже стихотворениями известных наших поэтов».

В. Александров не только тщательно записывал народные тексты, но и связывал их с жизнью и бытом народа, делая вывод, что сравнение записей разного вре-

мени дает возможность «судить о характере и духе народа и его нравственном направлении»¹.

Описывая уже на страницах «Современника» деревенские посиделки и сообщая тексты сопровождающих игры песен, В. Александров опять обращает внимание на те процессы, которые происходят в бытовании народной поэзии и свидетельствуют о переменах в «поэтических или песенных вкусах народа». Сопровождающие хоровод песни забываются (только в глуши «еще кое-что уцелело из описанного Студитским в его сборнике»), начинают преобладать игры, в которых ощущается влияние городских обычаев («Городское влияние выводит прежние песни и прежнюю живость хоровода»), деревенская молодежь усваивает «сочиненные песни», романсы «из молчановских песенников и даже из стихотворений Пушкина, Лермонтова и Кольцова». Чрезвычайно интересны наблюдения об исполнении на посиделках коротких песен любовного содержания. Автор как бы присутствует при зарождении того жанра, который позже получил название «частушки»².

Сотрудники «Современника», изучая жизнь и быт народа, не проходили мимо классовой природы той среды, в которой бытует народная поэзия, отмечали социальную неоднородность ее носителей.

Взаимосвязи поэтического творчества народа и его быта, нравов и обычаев интересовали и другого корреспондента «Современника» Н. С. Преображенского. Тщательно описывая святочные игрища, «кудеса» дальнего захолустья» (с. Никольское, Кадниковского уезда), он видит в народных обычаях «много прекрасного, гуманного, радушного», но не скрывает и темных сторон народной жизни, поразившего его сочетания честности, трудолюбивости народа с его «странностью и дикостью». В «кудесах» и игрищах наблюдается размах «природной веселости, склонности к шуткам, к комическому», принимающий слишком «откровенные» формы: «если эти шутки выходят порою очень грубы и довольно грязны, то это зависит от неразвитости. Коснется развитие

¹ Александров В. Вологодская свадьба. — Библиотека для чтения, 1863, № 5, с. 3, 4.

² Александров В. Деревенское веселье в Вологодском уезде. — Современник, 1864, с. СIII, № 7—8, с. 169—200,

этих людей и они будут выводить *куда*, но только не такие, какие выводят теперь»¹.

Н. С. Преображенский, выдающий себя за коренного бурсака, племянника пономаря села Никольского, был активным сотрудником «Современника», сторонником передовых демократических идеалов. И в стремлении «передать факты в том виде, в каком они представляются наблюдению», и в их осмыслении он выявляет себя как последователь революционных демократов².

Немалый вклад в собирание и изучение народной поэзии Вологодского края внесли в шестидесятые—восемидесятые годы политические ссыльные. Особенно следует отметить собирательскую и этнографическую деятельность Г. Н. Потанина в Никольском уезде (1872—1874). Как и Н. В. Шелгунов, он с горечью пишет о нищенском быте, бедности крестьян Никольского и Тотемского уездов, тяжелом положении женщины. Публикуя образцы народной речи, пословицы, поговорки, прозвища, приметы, произведения детского творчества³, Г. Н. Потанин особенно выделял сатирические песни и прибаутки. В деревне Аксеньевой под Никольском им записаны чрезвычайно интересные варианты сказки о Ерше и народной драмы «Мнимый барин»⁴.

Местных краеведов по-прежнему привлекают свадебные обряды, песни и причеты, отличающиеся своеобразием в различных уездах⁵. Пожалуй, ни один край не имеет таких обстоятельных описаний традиционной кре-

¹ Преображенский Н. Бая, игрище, слушанье... Этнографический очерк Кадниковского уезда. — Современник, 1864, т. CIV, окт. с. 501; Ему же принадлежит и статья: Ив. Пр-ский. Сельский праздник (Этнографический очерк Кадниковского уезда). — Современник, 1865, № 2, с. 409—445.

² Минц С. И., Савушкина Н. И. Народное устное поэтическое творчество Вологодской области. — В кн.: Сказки и песни Вологодской области. Вологда: Кн. редакция, 1955, с. 12.

³ Потанин Г. Н. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы. — Живая старина, 1899, вып. 1, 2, с. 23—60, 167—235.

⁴ Потанин Г. Н. Песни и прибаутки. — Живая старина, 1899, вып. 4, с. 519—525; Потанин Г. Н. Никольский уезд и его жители. — Древняя и новая Россия, 1876, № 10, с. 136—156.

⁵ Попов К. А. Заметки о свадебных песнях и обрядах в Вологодской губернии. — Труды этнографического отдела. М., 1874. кн. 3, вып. 1, с. 64—68; Некрасов А. П. Свадебные причитания (В Черной слободе Вытегорского уезда). — Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1875—1876, вып. 1, с. 145—168 и др.

стьянской свадьбы с ее плачами и песнями, как Вологодский. Отмечая исключительную сохранность и художественную яркость этих обрядов, К. А. Попов на заседании Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1874 году призывал к изучению еще не освоенного богатства «замечательных произведений поэзии», указывал «на целые гнезда свадебных песен, причетов и припевов, до сих пор раздающихся в многочисленных захолустьях Вологодской губернии».

Во второй половине семидесятых годов выходит сборник череповецкого учителя Ф. Н. Лаговского, включающий в себя посиделочные, хороводные и плясовые песни, записанные в Вологодском и Череповецком уездах. Еще Ф. Студитский писал, что в собранных им песнях «так много чувства, так много игры толосом — звуками, что талантливый композитор мог бы создать несколько оригинальных музыкальных пьес, которые встретили бы более сочувствия у русских, нежели иностранные»¹. Ф. Лаговский не только тщательно записал тексты народных песен, но и «положил их на ноты», стараясь «по возможности точно передать местный выговор и напев»².

В начале восьмидесятых годов усиливается приток фольклорно-этнографического материала на страницы «Вологодских губернских ведомостей», неофициальная часть которых была возглавлена в 1879—1886 годах Н. А. Полиевктовым. Стремясь усилить «местно-описательный» характер корреспонденций, Н. А. Полиевктов считал, что газета должна иметь своей целью «возможно полное всестороннее ознакомление как с природою губернии, так и с типическими чертами ее населения». Для этого он составил программу «Несколько слов о характере и значении местной корреспонденции для неофициальной части губернских ведомостей», а затем выступил со статьей «Указания на характер корреспонденций, желательных для неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей», в которую вошла и прог-

¹ Народные песни, собранные в Новгородской губернии Ф. Студитским. СПб., 1874, с. 6.

² Народные песни Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губерний, собранные и положенные на ноты учителем пения при Череповецком техническом училище Ф. Лаговским. Череповец, 1877, вып. 1, с. 1.

рамма Русского Географического общества по собиранию этнографических сведений¹.

Большая группа этнографов, собирателей и исследователей устной народной поэзии края (Ф. А. Арсеньев, М. М. Куклин, П. А. Обнорский, А. А. Шустиков) активно выступали в эти годы на страницах «Ведомостей», с ценными публикациями и этнографическими очерками, которые перепечатывались затем «Вологодским статистическим сборником»².

Наиболее значительный научный вклад в собирание и изучение устной народной поэзии края был сделан Н. А. Иваницким (1847—1899), известным ботаником, поэтом, этнографом, человеком передовых убеждений и разностороннего образования. Его связи с революционно-демократическими кругами столицы не прошли незамеченными. Он был арестован, а летом 1868 года сослан в родную губернию «под строгий надзор местных властей» и «бдительный надзор со стороны корпуса жандармов». Часто меняя местожительство, кочуя по губернии, Иваницкий усиленно занимается ботаникой, а с начала восьмидесятых годов начинает собирать этнографический материал и особенно русские народные песни.

Получив из села Кубенского несколько народных песен, Иваницкий был поражен их «оригинальной прелестью». Много новых песен узнал он и от своего друга, вологодского учителя и детского писателя М. М. Куклина, а в конце 1882 года познакомился с известными вологодскими кружевницами А. Ф. и С. П. Брянцевыми, которые сохранили, по его словам, в своей «поистине изумительной памяти неистощимый запас народных пе-

¹ Вологодские губ. ведомости, 1879, № 19; 1880, № 57—59, 61, 65, 67—78. Отд. изд.: Руководство к собиранию корреспондентских сообщений в редакцию неофициальной части «Вологодских губ. ведомостей». Вологда, 1880.

² Арсеньев Ф. Крестьянские игры и свадьбы в Янгосоре Вологодского уезда. Бытовой этюд. — Вологодские губ. ведомости, 1879, № 40—42, 62, 64, 65; Народные песни, собранные в Вологодском и Грязовецком уездах П. Обнорским. — Там же, 1883, № 16—18; Шустиков А. Троицина Кадниковского уезда. Этнографический очерк. — Там же, 1883, № 11—13; Обнорский П. А. Пословицы и поговорки Вологодского и Грязовецкого уездов. — Там же, 1888, № 9, 11—15, 20; 1889, № 4—7 и др.

сен и пословиц»¹. А. Ф. Брянцева провела молодость в селе Несвойском Вологодского уезда, была замечательной исполнительницей народных песен. Не уступала ей и ее дочь С. П. Брянцева. Осенними и зимними вечерами Н. И. Иваницкий систематически вел от них записи. К концу 1882 года был собран обширный материал и в Русское Географическое общество направлен большой сборник сказок (13), перегудок (19), загадок (110), заклинаний (18), пословиц и поговорок (1139), песен (441). Значительная часть этих текстов была записана от Брянцевых. Кроме того, и немало устно-поэтических произведений Н. А. Иваницкий собрал по деревням во время своих ботанических экскурсий. Несколько песен ему сообщили В. П. Черняев, Д. М. Кичанов. Но эта рукопись Иваницкого не была опубликована и лишь частями печаталась в «Вологодских губернских ведомостях»².

В основу рукописного сборника песен, переданного в 1887 году Я. К. Гроту, также положены тексты, записанные от Брянцевых. Вскоре Н. А. Иваницкий становится вкладчиком обширного собрания П. В. Шейна и направляет ему в 1891 году новый сборник народных произведений, записанных в Вологодской губернии. Часть записей Н. А. Иваницкого была издана отдельной книгой³. Его «Материалы по этнографии Вологодской губернии» как «один из важнейших сборников в русской науке»⁴ стали в ряд с классическими собраниями устно-

¹ Новиков Н. В. Н. А. Иваницкий и его фольклорное собрание. — В кн.: Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н. А. Иваницким в Вологодской губернии. Вологда: Кн. изд-во, 1960, с. XXI.

² Пословицы Вологодского уезда. — Вологодские губ. ведомости, 1883, № 6, 7; Загадки, собранные по Вологодской губернии. — Там же, 1883, № 18, 19; Повествовательные песни. — Там же, 1883, № 19, 27; Бытовые песни, собранные по Вологодской губернии. — Там же, 1883, № 39—43, 46, 48, 49, 51; Свадебные песни. — Там же, 1884, № 4—8; Игровые песни Вологодской губернии. — Там же, 1884, № 26—31; Шуточные песни Вологодской губернии. — Там же, 1884, № 32—33; Любовные песни Вологодской губернии. — Там же, 1884, № 34—38; Вологодский статистический сборник, 1883, т. III; 1885, т. IV.

³ Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1890, Вып. II, с. 234+12 с. (Известия общ-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. LXIX. Труды этнографического отдела, т. XI, вып. 1).

⁴ Азадовский М. К. Указ. соч., т. II, с. 219.

поэтического творчества русского народа. Сделанные им записи народных песен были обильно использованы П. В. Шейном и А. И. Соболевским и обогатили сокровищницу песенного репертуара устной поэзии русского народа¹.

В этнографической и собирательской деятельности Н. А. Иваницкого, сложившейся под воздействием революционной идеологии шестидесятых годов, выражаются передовые взгляды на народ и его устное творчество. В своих «Материалах» он отмечает крайнее разорение вологодских уездов, познавших долговременное крепостное право и эксплуатацию кулаков. Растущее обнищание северных деревень связывается с наступлением капитала, поборами промышленников и ростовщиков, купцов и кулаков. Резко высмеивает Н. А. Иваницкий дворянство и духовенство, собирает народные произведения, в которых они выглядят «с весьма непривлекательной стороны», показывает «враждебное отношение крестьян к бывшим помещикам и богатому духовенству». Обладая, по свидетельству современника, «редкой способностью сближаться с простыми людьми, с крестьянами», Н. А. Иваницкий был полон большой любви и уважения к своему трудолюбивому, талантливому народу, тяжело переживал его обездоленность.

«Материалы» Н. А. Иваницкого открываются обширным этнографическим очерком, в котором в тесной связи с бытом и трудом народа предстают приметы, прозвища, пословицы и поговорки, фрагменты песен, местные обиходные речения, названия бытовых предметов и явлений, описания нравов и обычаев, календарных, свадебных и похоронных обрядов, посиделок и игрищ, суеверий. Весь этот устно-поэтический материал тщательно отбирается, подчиняется раскрытию социальной, нравственной обстановки народной жизни.

Во втором разделе «Материалов» публикуются тексты народных произведений: заговоры (33), приметы, детские игры, драма «Лодка», сказки и легенды (55), записанные в основном от двух сказочников — Николая Васильянова и Василия Коренкова, перегудки, песни

¹ Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898; т. 1, вып. 1, СПб., 1900, вып. 2; Соболевский А. И. Великорусские народные песни. СПб., 1895—1902, с. I—VII.

(52), в приложении к которым опубликованы напевы, записанные М. М. Куклиным.

Этнографическая и собирательская деятельность Н. А. Иваницкого продолжалась и в девяностых годах. Как этнограф он активно выступал на страницах «Этнографического обозрения» и «Живой старины», составил сборник пословиц и поговорок, сборник загадок. Оба эти сборника, к сожалению, остались в рукописи. Сводное издание материалов, собранных Н. А. Иваницким, увидело свет только в советское время. Исследователь богатейшего собрания Н. А. Иваницкого Н. В. Новиков отмечает особое внимание собирателя к народной песне и отражению в ней духовной жизни народа, его эстетических вкусов. Н. А. Иваницкий фиксировал те перемены, которые происходили в песенном репертуаре вологодского крестьянина. Одним из первых отметил он появление в народе частушки, определив ее как песню, которая «поется не на голос, не протяжно, а часто почти речитативом», как короткое произведение, состоящее из отдельных, не связанных между собою стихов одинакового размера¹.

Подвижническая собирательская и исследовательская деятельность Н. А. Иваницкого пронизана неподдельной любовью к народу и родному северному краю. Он внес значительный вклад не только в изучение жизни и быта народа, устной поэзии Вологодской губернии, но и в историю русской фольклористики, обогатил ее обширным и ценным собранием народно-поэтических произведений всех жанров, глубоко, с передовых демократических позиций осмыслил их бытование в народе.

VI

На рубеже двух веков русская наука о народном творчестве вступает в период наиболее интенсивной деятельности, опираясь на уже собранный большой фонд устных произведений, ставший источником исследования народной словесности в связи с социально-экономическими условиями жизни и быта народа. Если идейное изучение устной поэзии выражается на этом этапе в весьма «противоречивых очертаниях», нередко уклоняясь

¹ Анализ собрания Н. А. Иваницкого см.: Новиков Н. В. Указ. соч., с. XXIV—XXVII.

от передовых взглядов, то «фактические результаты, внесение в научный оборот огромнейшего количества материала, собранного на основе применения подлинно научных методов, разработка отдельных конкретных тем, постановка больших исторических и генетических проблем — все это является положительным итогом, без учета которого было бы невозможно дальнейшее исследование»¹.

Устная народная поэзия Вологодского края входит в эти годы в круг интересов таких крупнейших собирателей и исследователей народного творчества, как А. И. Соболевский, П. В. Шейн, В. Ф. Миллер, Л. Н. Майков, А. В. Марков, Д. К. Зеленин, Е. Э. Линева, Е. Н. Елеонская, Б. М. и Ю. М. Соколовы и др. В Вологодском крае работает большая группа собирателей устно-поэтических произведений и этнографов, сложившаяся под влиянием Н. А. Иваницкого. Многие из них сотрудничали вместе с ним и испытали заметное воздействие его личности и научных интересов². Активно выступали как этнографы С. А. Дилакторский (1858—1920), П. А. Дилакторский (1862—1910)³, М. М. Куклин (1845—1896)⁴ и особенно А. А. Шустиков (1859—19?) .

Сын крестьянина деревни Хмелевской Кадниковского уезда, А. А. Шустиков уже в восьмидесятые годы выступил как талантливый этнограф, труды которого удостоивались высоких оценок Русского Географического общества, членом которого он состоял. Великолепно зная народный быт родного уезда, он изучал обряды, обычаи, заговоры, народные игры, старинные предания,

¹ Азадовский М. К. Указ. соч., т. II, с. 242, 316, 322.

² Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Источники словаря. Вологда, 1923, с. 17, 28.

³ Дилакторские П. А. и С. А. Свадебный день в Кадниковском уезде. — Вологодские губ. ведомости, 1890, № 42, 44—46, 48, 50; Канун свадебного дня в Троицкие Кадниковского уезда. — Там же, 1891, № 1, 2; Свадебные обычаи и песни в Тотемском уезде. — Этнографическое обозрение, 1899, № 3, с. 160—165; Из преданий и легенд Кадниковского уезда. — Там же, 1899, № 3, с. 172—174; Свадебные обряды Вологодской губернии. — Там же, 1903, № 1, с. 25—51; Святочные гадания в Вологодской губернии. — Живописное обозрение, 1904, № 52 и др.

⁴ Куклин М. Свадьба у великоруссов (Вологодской губернии). — Этнографическое обозрение, 1900, № 2, с. 79—114.

песни и особенно сказки¹. Значительная часть записанных А. А. Шустиковым сказок, песен, загадок, свадебных причетов еще не опубликована и хранится в архиве Вологодского общества изучения Северного края.

Интересные публикации по Череповецкому уезду принадлежат В. Антипову и М. Герасимову, по Кадниковскому — А. Балову и А. Неуступову, по Устюженскому — М. Синозерскому, по Вытегорскому — Т. Репникову и А. Мельникову. Многочисленные издания предпринимает А. Е. Бурцев («Деревенские сказки крестьян Вологодской губернии», 1895; «Сказки, рассказы и легенды крестьян Северного края», 1897; «Народный быт великого Севера», т. I—III, 1898 и др.). Однако все они носят дилетантский характер и лишены сколько-нибудь значительного научного интереса.

Этнографические материалы и записи устно-поэтических народных произведений из Вологодской губернии часто появляются на страницах журналов «Этнографическое обозрение» и «Живая старина». С 1909 года собирательская и этнографическая деятельность в крае объединяется Вологодским обществом изучения Северного края.

Предпринимается не одна экспедиция в поисках былин. А. В. Марков, совершив поездку по Тотемскому уезду в 1888 году, услышал былинку о Ермаке². Л. Н. Майков публикует новые записи заонежских былин, оделанные в Вытегорском уезде («Былина про Добрыню и Илью Муромца», «Отчего богатыри перевелись на святой Руси?» и др.), и три былины, записанные в Вологодской губернии и сохранившиеся в рукописи 1803 года («Илья Муромец с Добрыней на Соколе-корабле», «Добрыня и Марина», «Князь Михайло Скопин»³). Увидела свет и былина «Илья Муромец,

¹ Шустиков А. Троица Кадниковского уезда. — Живая старина, 1892, вып. 2, с. 71—91; вып. 3, с. 106—138; Народные игры в Кадниковском уезде. — Там же, 1895, вып. 1, с. 86—100; Сказания и сказки. — Там же, 1895, вып. 2, с. 203—211, вып. 3 и 4, с. 419—427; Виноградие. — Известия Вологод. общ-ва изучения Северного края. Вологда, 1917, вып. IV, с. 105—106; и др.

² Этнографическое обозрение, 1889, № 3, с. 187.

³ Майков Л. Еще былины в записи из Заонежья. — Русский филологический вестник, 1885, т. XIII, № 1, с. 50—55, 58—60; Майков Л. Три былины из старинного русского сборника. — Живая старина, 1890, вып. 1, отд. II, с. 1—4.

Добрыня Никитич и Кузьма Семерчанинович», записанная в вытегорской деревне Сойда¹. А в конце девяностых годов организатор первых марксистских кружков в России Н. Федосеев, следуя по этапам вологодской ссылки, записывает еще одну былинку и несколько исторических песен, отмечая, что они «в высшей степени интересны»².

Былина однако становится редким явлением на обширной территории Вологодского края. Записи этого жанра идут преимущественно из Вытегорского уезда. Даже в Вельском уезде, где былинные традиции были сильны в начале века, собиратели уже не находят ярких образцов этого жанра. Былина об Илье Муромце, слышанная здесь А. Шустиковым, «мало-помалу стала терять свою первичную форму и превращаться в сказку»³. Лишь угасающие остатки былин застали в Белозерском крае Борис и Юрий Соколовы.

По-прежнему исключительно богаты публикации вологодских народных песен в ранних и позднейших записях⁴. Причем вологодская песня начинает изучаться с музыкальной стороны, записываются напевы песен. Летом 1893 года Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунов по поручению Русского Географического общества записывали преимущественно в восточных районах губернии русские народные песни с напевами. Собиратели, однако, не стремились сблизиться с народом, их экспедиция носила официальный характер, что во многом обесценивает ее результаты.

«Старые песни», по мнению Ф. М. Истомина, исчезли из обихода, «их можно услышать лишь по заказу». «Позднейшие варианты старинных песен, — утверждал С. М. Ляпунов, — представляются в мелодическом и

¹ Живая старина, 1906, вып. 2, с. 81—84; Так же: Русские былины старой и новой записи. Под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера. М., 1894, отд. II, с. 56—59, 63—65.

² Федосеев Н. Статьи и письма. М.: Госполитиздат, 1958, с. 257.

³ Шустиков А. Из письма к редактору. — Живая старина, 1896, вып. 2, с. 144.

⁴ Белоруссов Н. Об особенностях в языке жителей Вологодской губернии. — Русский филологический вестник, Варшава, 1887, т. XVIII, № 4, с. 193—201, 253—289; Попов Н. Народные предания жителей Вологодской губернии, Кадниковского уезда. — Живая старина, 1903, вып. 1 и 2, с. 188—224; вып. 3, с. 361—384 и др.

ритмическом отношении менее развитыми и страдают примесью посторонних элементов»¹. Твердя об упадке народной песни, собиратели противоречили самим себе, так как опубликовали в «Песнях русского народа» свыше сотни свадебных, рекрутских, похоронных причетов, свадебных, хороводных, обрядовых, любовных и семейных песен, причем отметили их хорошую, в сравнении с соседними губерниями, сохранность².

Особенно большую роль в собирании и изучении вологодских песен суждено было сыграть талантливой собирательнице Е. Э. Линевой. Публикуя белозерские песни еще в первом выпуске книги «Великорусские песни в народной гармонизации», Е. Линева писала: «Для народного певца текст немислим без напева, а напев без текста. Это правило должно быть священо и для собирателя»³. Правилу этому Е. Э. Линева следовала и сама во время своей экспедиции весной и летом 1901 года в Череповецкий, Кирилловский и Белозерский уезды для собирания и изучения особенностей северной русской народной песни⁴.

Е. Линевой удалось собрать в Вологодском крае оригинальные образцы протяжных, свадебных, исторических, солдатских, семейно-бытовых и юмористических песен (всего 24 песни с нотами), записанных от хоров, ансамблей и отдельных талантливых исполнителей, обстоятельная характеристика которых дается собирательницей. При этом Е. Линева отмечает сохранившееся в народе исключительное уважение к старой песне, ее художественную ценность. Рассматривая народную песню как «излияние души в поэтически музыкальной форме», Е. Линева восхищается исполнительским мастерством

¹ Отчет об экспедиции для собирания русских народных песен с напевами в 1883 году Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунова. — Известия Русского Географического общества, 1894, т. XXX, вып. 3, с. 339, 350.

² Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 году. Записали Ф. М. Истомин (слова), С. М. Ляпунов (напев). СПб., Изд. Русского Географического общества, 1899, 279 с.

³ Линева Е. Великорусские песни в народной гармонизации. СПб., Изд. АН, 1904, вып. 1, с. V.

⁴ Линева Е. Э. Деревенские песни и певцы. Из поездки по Новгородской губернии: по уездам Череповецкому, Белозерскому и Кирилловскому. — Этнографическое обозрение, 1903, № 1, с. 78—97.

народных певцов («легкость голоса у Степана Китова казалась мне удивительной, иной оперный певец мог бы ему позавидовать, до того чисто, мягко и связно выделявал он все украшения»), отмечает большой музыкальный вкус народа, природное чувство прекрасного. Она страстно утверждает: «Неверно, что народная песня погибла», «еще встречаются песни, поражающие красотой и оригинальностью своих напевов».

На основе исследования череповецких, белозерских и кирилловских песенных образцов Е. Линева делает теоретические выводы о музыкальном строении народной песни, выступает с оригинальными наблюдениями о своеобразии музыки и пения народа, о выражении в песне национальных черт, быта народа, его духовной жизни и душевного богатства. Высоко оценивая еще первый выпуск песен Линева, В. В. Стасов считал, что «начинается заря какого-то сильного музыкального переворота», особенно для хоров, что очевидно благотворное влияние народной музыки на творчество композиторов.

Собирая народные песни Вологодского края, Е. Линева жила жизнью народа и убеждала других, что «только окунувшись в гущу жизни», идя к крестьянам как равный, без пренебрежения к их обычаям, их привычкам, собиратель может вполне вникнуть в их жизнь, их интересы, понять их горе и радости, что только при уверенности в хорошем отношении крестьянин открывает свою душу в песне, поет с увлечением, и «песня родит песню».

Собирательница не проходит мимо нищеты, бедности, неприглядности жизни деревни («Земли мало, жить не на что», «У нас песни с голоду издохли», — саркастически замечают крестьяне) и особенно любовно рисует образы исполнителей песен: «Живой вереницей встают в памяти моей певцы-импровизаторы, которыми имеет право гордиться наша родина. В рваных кафтанах, в домотканых шароварах, на грязной работе потерявших всякий цвет, часто с нечесаной бородой и немытыми руками, полусмущенные и полугордые, стоят они, когда молва доводит до них собирателя, и, полные какой-то своеобразной, привлекательной грубости, точно оправдываясь, говорят: «Да что — ведь мы только свои деревенские песни и знаем»... «Спеть-то, споем, да не будет ли нам чего за это?»

Народная песня притеснялась тупыми невежественными представителями власти. Рассказывая о поисках певцов в Великом Устюге, Е. Линева вспоминает о встрече с городовым, который «с самодовольством верного исполнителя приказаний начальства отрапортовал: «Их нигде не найти-с! Как только где покажется слепец, мы его тотчас увольняем-с! Смута от них. Народ скопляется!»¹

Еще В. Александров и Н. Иваницкий отмечали зарождение в Вологодском крае нового песенного жанра — частушки. И по словам Е. Линевой, механическая «вертушка» часто с нелепым набором слов стала вытеснять к концу века старинную поэтическую песню. Но наиболее обстоятельно заговорил о частушке Глеб Успенский, посетивший летом 1889 года Череповецкий уезд и собравший здесь образцы этого нового жанра². Некоторые частушки были записаны самими крестьянами и доставлены писателю.

Рассматривая частушку как самостоятельный жанр народной поэзии, ставя ее в ряд с другими явлениями устно-поэтического творчества, писатель отмечает неистребимость творческой народной мысли: «Не из чего собрать и сложить народу песню, былину, но создать «стишок», откликнуться на разнообразнейшие явления обыденной жизни, — от этого даже и утерпеть нельзя народу. И вот он создал так называемую «частушку»... и этими «частушками» откликается на каждую малость жизни, недреманно следя за всеми этими малостями... Собрал эти частушки с такою же тщательностью, как собираются статистические сведения обо всяких мелких подробностях хозяйства в крестьянском дворе, можно было бы иметь поучительный материал о широте духовной народной жизни. «Частушки», собранные тысячами, сотнями тысяч, но разработанные соответственно тем сторонам народной жизни, которых они касаются, дали бы поистине прелестнейшую картину нравственной жизни народа».

Цитируя образцы череповецких частушек, Гл. Успенский подмечает свежесть и силу народной души, выра-

¹ Линева Е. Великорусские песни в народной гармонизации. СПб., Изд. АН, 1909, вып. 2, с. LXXIII, XLVII, XXXII, XIV, XLVII.

² Успенский Глеб. Новые народные песни (Из деревенских заметок). — Русские ведомости, 1889, № 110, с. 2—3.

женные в них. Писатель не только указал на «несметное количество» частушек, создающихся каждый день в каждой деревне, но и поставил задачу изучения отраженной в них духовной жизни народа¹.

Как разновидность современной песни, быстро откликающейся на все перемены народной жизни, объектом собирания и изучения становится и вологодская частушка. Собиратели нередко сетуют на «разложение» народной поэзии², но тем не менее охотно используют частушку, изучая современный быт вологодского крестьянства и происходящие в нем перемены³. Большой сборник череповецких и устюженских частушек публикует Д. Зеленин. Вологодские частушки входят в общерусские своды В. И. Симакова и Е. Н. Елеонской⁴.

Народная поэзия Вологодского края широким потоком вливается в творчество всего русского народа. Богатый песенный репертуар вологжан широко представлен в сводах А. И. Соболевского «Великорусские народные песни» (т. I—VII, 1895—1902), П. В. Шейна «Великорусс» (1898—1900), Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунова «Песни русского народа» (1899), М. Ф. Миллера «Исторические песни русского народа XVI—XVII вв.» (1915). В труд И. И. Иллюстрова «Сборник российских пословиц и поговорок» (1904) вошли и вологодские записи этого жанра. Русское Географическое общество из-

¹ См.: Племянникова В. Статья Гл. Успенского о частушке. — Художественный фольклор, 1929, т. IV—V, с. 160—166.

² Львов И. Новое время — новые песни. (О повороте в народной поэзии). В. Устюг, 1891, с. 39.

³ Тарутин А. Черты современного быта и поэтического творчества вологодского крестьянства. — В кн.: Помочь, 1892, с. 130—148; Гарднер К. М. Песни-сбирушки в Череповецком уезде. — Этнографическое обозрение, 1897, № 2, с. 104—113; Дилакторский П. А. Частушки или тарантушки, записанные в Двиницкой волости. — Этнографическое обозрение, 1898, № 1—2, с. 339—343; Судаков И. Несколько замечаний об особенностях говора в Устюженском уезде. Частушки. — Живая старина, 1903, вып. 4, с. 441—460; И<льинск>ий Н. И. Отражение войны в вологодских частушках. — Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вологда, 1915, вып. 2, с. 132—138; 1916, вып. 3, с. 86—101; Полуянов А. Частушка как живой отзвук народной жизни. — Там же. Вологда, 1915, вып. 2, с. 120—128 и др.

⁴ Зеленин Д. Сборник частушек Новгородской губернии (по материалам из бумаг В. А. Вокресенского). — Этнографическое обозрение, 1905, № 2—3, с. 164—230; Симаков В. И. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913, с. 671; Сборник великорусских частушек. Под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914.

дает большой «Сборник великорусских сказок», включающий в себя 48 вологодских сказок¹.

Самым значительным явлением на этом этапе собирания и изучения народного творчества Вологодского края стала книга Б. М. и Ю. М. Соколовых «Сказки и песни Белозерского края», вобравшая в себя громадный материал, собранный в 1908 и 1909 годах в Кирилловском и Белозерском уездах². Сборник братьев Соколовых свидетельствует о широком бытовании в западной части Вологодского края народной сказки (в книгу вошло 163 сказки, записанные от разных сказителей), эпической, обрядовой и лирической поэзии. Собиратели также дают обстоятельное описание свадебного обряда с текстами сопровождающих его песен и причетов, публикуют рекрутские и похоронные причитания, детские, юмористические песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки, заговоры.

«Жизнь движется вперед, — писали Соколовы, — важно наблюдать ее изменяющийся ход. Поэтому, записывая вековые старинки, традиционные сказки, древние песни, мы одинаково обращали внимание и на новые обряды, новые сказочные формулы, новые песни. В собранном нами материале можно найти выражение новых вкусов, стремлений и надежд современного крестьянства».

Собиратели обстоятельно описывают жизнь и быт белозерской деревни, отмечают перемены в устно-поэтическом репертуаре народа, рисуют типы сказочников и характеризуют их сказки. Книга снабжена обстоятельным научным аппаратом и до сих пор остается образцом научного издания произведений народной поэзии.

Наука еще не знала такого обстоятельного изучения одного края. Б. и Ю. Соколовы ввели в научный обиход ценнейший материал, раскрыв глубокие социальные противоречия в предреволюционной деревне, отношение народа к актуальным общественным событиям и явлениям. Продолжая самые передовые традиции в собирании и изучении поэзии народа, Соколовы связывают ее образ-

¹ Смирнов А. М. Сборник великорусских сказок Архива Русского Географического общества. Пг., 1917, вып. 1, с. 135—232, 290—334. (Записки Русского Географического общества по отд. этнографии, т. XLIV).

² Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. М., ОРЯС АН, 1915.

цы с жизнью и бытом народа, его чаяниями и эстетическими вкусами. Интерес к жизни и психологии народа, глубокая заинтересованность в его судьбах делают книгу «Сказки и песни Белозерского края» не только значительным научным, но и общественным документом эпохи, реалистически воссоздающим жизнь предреволюционной деревни. Не случайно сборник Соколовых с большим трудом увидел свет и был разрешен только для закрытого обращения.

Среди собирателей и исследователей народной поэзии Вологодского края начала XX века выделяется и М. Б. Едемский (1870—1933). Сын крестьянина села Кокшеньги Тотемского уезда, он трудно пробивал дорогу в науку, став уже в советские годы профессором геологии. Будучи народным учителем, М. Едемский много сил и энергии отдавал собирательской деятельности и особенно этнографическому изучению родной Кокшеньги. Круг его интересов был обширен и разнообразен. М. Едемский изучал говор местных жителей, крестьянские постройки на Севере, старинные кокшенские предания и поверья, народные обряды. Его «Свадьба в Кокшеньге» — уникальное по научной тщательности и полноте описание свадебного обряда со всеми сопровождающими его песнями и причетами. М. Едемский оставил также ценные записи народных игр и хороводов, лирических песен, припевок, загадок, высказал свои наблюдения об особенностях бытования различных жанров устной поэзии на Севере¹.

Особенно целеустремленно М. Едемский собирал и изучал классическую народную сказку. Он принял активное участие в работе Сказочной комиссии, организованной в 1912 году при Русском Географическом обществе и возглавленной академиком С. Ф. Ольденбургом. В архиве этого общества и хранится значительная часть записей сказок, сделанных М. Едемским. Он почти одновременно с Н. Е. Ончуковым и Д. К. Зелениным применил к сказкам те научные методы записи и изу-

¹ Едемский М. Из кокшенских преданий. Вечерованье и городки (хороводы) в Кокшеньге Тотемского уезда. Загадки в Кокшеньге Тотемского уезда. Прозвища в Кокшеньге. Из кокшенских преданий. Припевки в Кокшеньге Тотемского уезда. Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда. Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии в 1905—1908 годы. — Живая старина, 1905—1912.

чения, которые впервые были установлены Рыбниковым и Гильфердингом по отношению к былинам: собиратель тщательно изучал личность сказочника, давал обстоятельные сведения о нем, характеризовал его манеру рассказывать, изучал условия бытования сказки, ее связи с бытом народа.

Раскрывая методы записывания сказки, М. Едемский указывал на перемены «в укладе жизни народной», приводившие к утрате того, что «сохранилось от старины». Отдавая преимущество старинной русской сказке, он, к сожалению, сознательно обходил те сказки, которые, по его мнению, «были недостаточно старыми» как по содержанию, так и по манере повествования¹. Особенно не устраивали его «сказочники-балагуры», охотно вводившие в сказку события окружающей жизни.

Не прекращая собирательской деятельности и в советское время, М. И. Едемский передал эстафету преемственности в изучении народной поэзии края новым поколениям советских краеведов и исследователей творчества народа.

Собирание и изучение устно-поэтических произведений на территории Вологодского края имеет богатую историю, свои сложившиеся традиции. До нас донесены те драгоценные образцы эпической народной поэзии, которая еще в начале XIX века широко бытовала в Вологодском крае. Бережно сохранены остатки календарной обрядовости, хороводов и игр. Описания семейных обрядов вологжан с их плачами и песнями стали классическими в науке о русской народной поэзии.

Богата по содержанию, жанрово многообразна, великолепа по поэтическому и музыкальному уровню вологодская песня — балладная, лирическая, хороводная, шуточная, сатирическая, колыбельная. Значительное место в репертуаре вологжан занимает сказка. Неисчерпаемы запасы частушек, мудрых пословиц, поговорок, загадок.

Все эти многообразные жанры русской народной поэзии свидетельствуют о природной чуткости народа к образному слову, его тонкой музыкальной культуре. Собиратели и исследователи не только бережно сохранили лучшие образцы устного народно-поэтического творчества Вологодского края, но и проследили бытова-

¹ Милиц С. И., Савушкина Н. И. Указ. соч., с. 21.

ние и развитие основных жанров народной поэзии в тесной связи с жизнью ее создателей и исполнителей.

Давние устно-поэтические традиции, высокая песенная культура, которыми всегда славился Вологодский край, его богатый сказочный репертуар не раз привлекали собирателей и в советское время. Большие материалы, накопленные за годы Советской власти в результате экспедиций вологодских краеведов, ленинградских и московских собирателей, до сих пор остаются разбросанными по труднодоступным периодическим и краеведческим изданиям. Значительная часть этих материалов не опубликована, даже не разобрана и не систематизирована. Не определен и тот вклад, который внесен вологжанами в общую сокровищницу русского народного искусства за годы Советской власти. Остается невыясненным в достаточной мере и жанровый состав этого богатого народно-поэтического наследия, что, безусловно, затрудняет его научное осмысление.

Нас еще ждут новые открытия в общении с устной народной поэзией.

ОТ ЛОМОНОСОВА К КАРАМЗИНУ

Отец двух декабристов — Никиты и Александра Муравьевых — Михаил Никитич Муравьев был известным писателем и общественным деятелем своего времени, одним из ранних представителей русского сентиментализма.

Многие из литераторов того времени видели в нем наставника в жизни и литературе, прислушивались к его голосу. Державин, Жуковский, Батюшков и другие поэты конца XVIII — начала XIX века высоко ценили младшего современника Радищева и старшего современника Карамзина.

Карамзин в предисловии к изданной им книге Муравьева «Опыты истории, словесности и нравоучения» (1810) щедро награждает своего предшественника хвалебными отзывами. Восторженно отзывался о М. Н. Муравьеве его воспитанник К. Н. Батюшков, написавший специальное «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева»¹. В. Г. Белинский, давая оценку этому письму, справедливо отметил, что Батюшков восхваляет своего родственника и воспитателя «риторически» и превозносит его «выше леса стоячего». «Дело идет, — пишет Белинский, — о сочинениях Михаила Никитича Муравьева, бывшего товарища министра народного просвещения, попечителя Московского университета; он... оставил после себя память благородного человека и страстного любителя словесности. Как писатель М. Н. Муравьев принадлежал к ломоносовской школе. Слог и язык его не карамзинский, хотя и казался для своего времени образцовым. В сочинениях его действительно видно много любви к просвещению; душа добрая и честная, характер благородный; но особенного литературного или эстетического достоинства они не имеют»².

¹ Муравьев М. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1819—1820. т. I—III. В дальнейшем текст произведений цитируется по этому изданию: см. т. I, с. 11, 18, 20—21, 69—71, 97—98; т. III, с. 246, 247, 252. Здесь помещено и «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева». Кроме того, Муравьев печатался в «Опытах трудов Вольного российского собрания», в «Собеседнике любителей российского слова», «Сыне Отечества», «Вестнике Европы» и др. изданиях.

² Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6, с. 201.

Муравьев родился в семье провинциального чиновника, который «не мог похвалиться блестящим аристократическим происхождением, но имел право сослаться на старинное выслуженное дворянство: его далекие предки, новгородские «боярские дети», с XV века без перерыва служили московскому самодержцу. Не мог он считаться и крупным влиятельным землевладельцем: его родовые поместья в Новгородской и Рязанской губерниях были невелики и малоодоходны»¹.

До сих пор остается неизвестным с документальной точностью, где родился М. Н. Муравьев. Местом его рождения разные справочники называли Вологду. В его бумагах, на полях написанной в Вологде трагедии «Дидона умирающая» есть такая запись: «1757 октября 25 родился автор», а на обороте обложки сборника выписок из древних авторов и сделанных в Твери автобиографических записей появляется существенное уточнение: «1757. Смоленск. Октяб. 25»².

Во всяком случае, самое раннее детство писателя прошло в Вологде, и он имел все основания обращаться к ней: «Прости, спокойный город, где дни мои молодые Под сенью родины сны красили златые...» Правда, уже в 1760 году Никита Артемьевич увез сына в Оренбург, куда был назначен вице-губернатором.

Кстати, исследователи продолжают утверждать, что биография М. Н. Муравьева «в некоторые периоды совершенно неясна»³.

С 1768 года Муравьев учится в университетской гимназии в Москве, а затем слушает лекции в Московском университете. Уже в эти годы он входит в литературные круги, сближается с Херасковым и другими поэтами.

За время своей жизни в Москве Муравьев, видимо, не однажды бывал в Вологде. Об этом свидетельствует одно из первых его произведений — «Эклога (А. В. О...ву)», помеченная 1771 годом. Четырнадцатилетний Муравьев пишет:

¹ Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев, М., 1933, с. 58.

² Рукописный отдел Публичной библиотеки, ф. 499, д. 37.

³ Кулакова Л. И. М. Н. Муравьев. — Ученые записки, Серия филологических наук. Л.: Изд. ЛГУ, 1939, Вып. 4, № 47, с. 6.

Помедли, Вологда, останови на час
Поток поспешных волн, чтобы свирели глас
Раздался, по твоим носясь струям прозрачным,
И чтоб живущия по рощам Нимфы злачным,
Собравшись толпой ко берегу твоему,
Внимали с кроткостью напеву моему.

«Эклога» представляет послание вологодскому губернскому предводителю дворянства А. В. Олешеву¹. Богатое имение Олешева — Ермолово находилось в двенадцати верстах от Вологды, на берегу реки, о которой пишет юный поэт.

Не закончив обучения в университете, Муравьев уехал с отцом в Архангельск и снова побывал в Вологде. К этому времени (видимо, к зиме 1771 года) относятся «Три письма» Муравьева к одному из товарищей по университету.

«Скорое движение по полям равным и сияющим снежною белизною, — пишет он в первом письме, — приближает нас к Вологде, городу, который имеет уже столько отношений к Архангельску. Древнее его, он был некогда пребыванием Великого Государя царя Иоанна Васильевича...»

Здесь же Муравьев говорит об историческом значении Вологды и удобном ее расположении для торговли, отмечает выдающуюся роль вологжан в открытии новых земель: «Они посещали острова, отделенные безднами морскими от обеих кражей земли Азии и Америки».

«Посреди города, — продолжает Муравьев, — протекает река того же имени, которая не может заслуживать славного имени в реках Российских: *в числе Российских рек безвестна и мала*, по выражению великого стихотворца нашего. Строение довольно велико и по большей части деревянное. Несколько церквей каменных древнего строения. Есть заводы и рукоделия. Фабрики свечные и бумажные. Но особливо оживляется общество Вологодское близостью селений дворянских, окружающих город».

¹ Губернский предводитель Алексей Васильевич Олешев, человек весьма образованный по тому времени и имевший у себя хорошую библиотеку, был женат на Марье Васильевне, родной сестре великого полководца А. В. Суворова. А. В. Олешев занимался и литературной деятельностью. Некоторые биографические сведения о нем и список его трудов см.: Русская старина. СПб., 1870, т. 1, с. 463—465.

Такое подробное описание Вологды говорит о том, что писатель хорошо знал ее историю. Из отрывочных записей Муравьева можно узнать, что он целыми днями просиживал «в Вологде за Вергилием, которого разумел половиною», и особенно увлекался Ломоносовым.

«Наполнен чтением Ломоносова, я не могу без страстия и уважения взирать на родину сего блистающего разума», — восклицает поэт, для которого Ломоносов был примером, достойным подражания.

Из Вологды Муравьев выехал в Архангельск. Продвигаясь по хорошему зимнему пути «во глубокий север», он сообщает: «Важский посад остается нам по пути к городу. Мы едем излучинами реки Ваги, которая, как я слышу, приведет нас на Двину...».

Жизнь на Севере, посещение родины великого Ломоносова наложили отпечаток на духовный облик Муравьева, особенно на его раннее творчество. «Можно сказать с уверенностью, что лучшие качества Муравьева — постоянное стремление к просвещению, личному и в особенности народному, вера в прогресс человечества... были разбужены деятельностью великого русского ученого и поэта»¹.

В «Избрании стихотворца» Муравьев прямо заявлял о том, что он стремится следовать в своем творчестве Ломоносову:

Я блеском обольщен прославившихся Россом,
На лире пробуждать хвалебный глас учусь,
И за кормой твоей, отважный Ломоносов,
Как малая ладья, в свирепый Понт несусь.

На обратном пути (из Архангельска в Петербург) Муравьев вновь попадает в Вологду, проезжает через родные вологодские края. Видимо, этой поездкой навеяно стихотворение «Путешествие», в котором описывается дорога из Вологды в Петербург.

Прости, спокойный град, где дни мои младые
Под сенью родины сны красили златые.
Я твой меняю кров на пышный Петрополь.
Но память мне твою с собой унести позволь,
Ах! память жизни сей, столь сладко проведенной
С нежнейшим из отцов, с сестрою несравненной.

¹ История русской литературы в 10-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947, т. IV, с. 454.

Уже церковей твоих сокрылися главы,
О Вологда! поля, лишённые травы,
Являют сентября дыхание сурово:
Но нас повсюду ждёт друзей свиданье ново.

И дальше поэт описывает трудный и долгий в то время путь до столицы.

Пространство новое пред нами разверзлось,
Где Угла быстрая приносит дар Шексне.
День целый по ей неслись мы быстрине;
Тяжелы неводы влекут нам рыболовы
И дым являет их в тесах таящихся кровы.
Преходом, от валов теченье удаля,
Железом Устюжским усеяны поля.

Вскоре по приезде в Петербург Муравьев поступает на службу в гвардию, но по-прежнему большое внимание уделяет самообразованию и литературе. Устанавливаются дружеские отношения с В. Майковым, И. Тургеневым, Н. Львовым. Муравьев встречается с В. Петровым, М. Поповым, с особым уважением относится к Хераскову, сближается с Н. Новиковым. Своему приятелю он сообщает в 1777 году: «Я имею здесь счастье обрщаться со многими из тех, которые наиболее делают чести письмам нашего отечества».

Наиболее активная литературная деятельность Муравьева относится к семидесятым годам. Начинается сотрудничество в журналах, в печати появляется наиболее значительная часть его произведений: «Переводные стихотворения» (1773), «Басни в стихах» (1773), «Военная песнь» (1774), «Слово похвальное Ломоносову» (1774), «Оды разные» (1775) и др.

Муравьев восхищается эмоциональностью поэзии Ломоносова, «громкостью» и «пышностью» его оды и тем самым разделяет то, что не принимал Сумароков и его последователи, защитники канонов классицизма. Осуждая рационалистичность поэзии Сумарокова, Муравьев с первых шагов в литературе стремится подражать поэтической манере Ломоносова, его стилю.

В поэзии и прозе молодого литератора все более значительное место занимает лирический герой. Поэт раскрывает его настроения, чувства, размышления, вызванные окружающей действительностью, передает особенности, индивидуальное своеобразие ее восприятия.

Субъективно-эмоциональные оценки, возвышенные ощущения, чувственная условность накладывают отпечаток на весь строй поэтической речи Муравьева. Особенно характерно в этом отношении стихотворение «Ночь», образы которого («приятная тишина», «сладкий покой», «кудрявая роща», «прохлада» и «туман», освежающие кровь, «солнце, утомясь, пред западом блистает») окрашены эмоцией автора, призваны выразить его настроение. Изысканная поэтичность образов, эмоциональная музыкальность сказываются и в известном стихотворении «Богине Невы», часть которого повторил Батюшков в стихотворении «Ложный страх», а затем вспоминал Пушкин в «Евгении Онегине».

Муравьева привлекают преимущественно «сельские картины», ночные пейзажи («Роща», «Богине Невы», «Приглашение»), темы поэтического вдохновения («К Музе», «Видение»). Эмоции, уводящие от подлинной жизни, сладостное переживание добра, культ чувства, как основы истины и морали, поэтического вкуса и искусства — вот что лежит в основе эстетики Муравьева. Его интересует прежде всего субъективно-лирический пафос произведения, а не живое изображение реального мира.

В 1782 году по определению Екатерины II Муравьев должен был обучать наукам цесаревича Александра и его брата. Но молодой воспитатель вовсе не восхищался своей жизнью при дворе и даже тяготился положением «школьного учителя». Поэт все больше замыкается в среде близких литературных друзей, уходит в мечты, отказывается от публикации своих произведений, удовлетворяясь чтением их в домашнем кругу. Но и в это время Муравьев как писатель не забывал о дорогих ему северных краях. В его произведениях нередко встречаются зарисовки вологодских пейзажей, автобиографические сообщения, упоминания о родных и друзьях. Особенно часто прибегает поэт к новому в то время жанру — дружескому посланию.

В 1783 году Муравьев написал «Послание о легком стихотворении». Оно обращено к вологодскому помещику конца XVIII века А. М. Брянчанинову, женатому на двоюродной сестре Муравьева. В другом послании к Афанасию Брянчанинову — «Сельская жизнь» поэт описывает Фомино, усадьбу этого помещика, находившуюся в тридцати верстах от Вологды, на реке Лухте:

Не слава, о мой друг, не шум оружий бранных,
Жизнь сельская зовет согласия мои,
В долинах муравой цветущею усталых,
Где Лухта льет тебе прозрачные струи.
Где ты из терема, куда ни кинешь взоры,
Повсюду мирное свое владенье зришь,
Тебе окружные желтеют жатвой горы,
Поля, где шествуешь, присутствием живишь.
Теснятся в круг тебя прилежные селяне
И нимфы вьют тебе венки из васильков.
С зарею встают восхода солнца ране,
Железом вооружась блистающих серпов...

Поэт здесь, разумеется, не собирается создавать сколько-нибудь реальную картину жизни Фомина, нужды крестьян. Он лишь рисует «образцового» помещика, радостно созерцающего свое «мирное» владение, благодушно вззирающего на то, как «теснятся» вокруг него «прилежные селяне».

В литературно-историческом плане послание к А. М. Брянчанинову интересно тем, что в нем ясно можно видеть отход от эстетических норм классицизма, стремление передать чувствования, настроения человека, его впечатления, мечтания.

Как видно из послания, Муравьева влечет «жизнь сельская», его идеал — тишина, спокойствие, уединение. Для Муравьева характерно чисто сентиментальное, созерцательное воспевание природы, любованье ее красотой.

К стихам Муравьева по своей стилистической манере близка и его проза, проникнутая сентиментальным умилением («Обитатель предместия», «Эмилиевы письма»).

«Первое из писем Муравьева, озаглавленных им «Обитатель предместия», от 2 августа 1790 года, — сообщает вологжанин Ф. Фортунатов, — начинается изображением местности, живо напоминающим подгородную усадьбу Брянчанинова Осаново».

Эта местность так описывается Муравьевым:

«Не выезжая из города, пользуюсь всеми удовольствиями деревни, за тем что живу в предместии. Я вижу жатву из окошка. С восхождения солнца земледелец жнет неумоимо полосу свою и связывает снопы. Косцы, поставленные строем один за другим, вместе взносят и опускают косы свои. Какой приятный запах от сена, разбросанного по лугу!..

Мой домик очень мал и невиден, но я не променяю его на великолепные здания, восходящие к облакам и поддерживаемые столпами.

Хотите видеть описание моего дома? Он стоит на конце широкой уединенной улицы, которая выходит в поле. Перед ним, со стороны города, строение обывательское прерывается. В приятной ложине извиляется ручей, по берегам которого разбросано несколько кустов орешника... Напротив дома приходская церковь весьма древнего строения... Основание ее вросло в землю. Оградою служат ей старые дубы, которые далеко кругом себя кидают тень свою».

Муравьев сообщает, что он живет в дружбе с соседями, среди которых у него есть хорошие приятели. «Как можно жить одному! — восклицает он. — Любить только самого себя! Никому не быть полезным! Нет, чувствую живо в сердце моем, что человек сотворен для общества...»

В письме от 27 сентября 1790 года Муравьев рассказывает о поездке в поместье Межакова Никольское. Писатель восторгается «идеальным, добродетельным» помещиком, который, якобы очень обходителен со своими крестьянами; Муравьев готов не видеть социального зла крепостнических порядков. Но в одной волости он все-таки заметил огромную разницу между положением крестьян и помещика: «хижины земледельческие развалившиеся, вросшие в землю, соломою крытые, а на холму, под которым деревня, огромное здание помещика, в самом живописном местоположении».

Кибитка, в которой ехал Муравьев, сломалась, застряв в грязной улице нищего селения. В это время раздались звуки рогов, возвещавшие о возвращении с охоты хозяина роскошной усадьбы, которого не трогало несчастье крестьян. «Он думал, — пишет Муравьев, — что они рождены для его призрения. Но вместо того собаки были предметом его внимания и разговоров».

Муравьев требует гуманного отношения к крестьянину, осуждает этого «знатного, недостойного своей породы» помещика, но ограничивается лишь моралью и не осуждает социальное зло как типическое явление. Писатель обходит проблемы социального неравенства, примиряется со злом, отказывается от решения политических проблем, подменяя их морально-эстетическими суждениями и мечтами.

Если Фонвизин, например, уже поднимается до сатирического обличения крепостнических порядков, то Муравьев, трогательно умиляясь добродетелью, лишь мечтал об идеальном помещике, наслаждался возможностью его существования в реальной действительности. Муравьев отказывался от мысли воздействовать на действительность, изменить ее, улучшить.

В этой связи уместно привести мнение Белинского, который, касаясь статей «нравственного содержания», написанных Муравьевым и объединенных общим названием «Обитатель предместия», говорил:

«Язык этих статей довольно чист и ближе подходит к карамзинскому, чем к ломоносовскому; содержание много говорит в пользу автора, как человека с самыми добрыми расположениями души и сердца; но и все тут: ни идей, ни воззрений, ни картин, ни слога».

Говоря о доброй и честной душе Муравьева Белинский видит заслугу этого «страстного любителя словесности» в создании характера благородного человека, любящего просвещение. Но тут же великий критик полемизирует с Батюшковым, преувеличивавшим значение своего воспитателя. Белинский убежден, что стихотворения Муравьева «могли считаться образцами легкой поэзии и образцами стихотворного языка» лишь до появления Жуковского и Батюшкова. Слог и язык Муравьева был образцовым, по словам Белинского, лишь для своего времени. Белинский относит Муравьева к писателям ломоносовской школы, но тут же касаясь его прозы, он склонен утверждать, что язык его «ближе подходит к карамзинскому, чем ломоносовскому».

Испытав влияние Ломоносова, Муравьев не стал его продолжателем: в годы своей поэтической зрелости он утвердился как поэт сентиментального направления, как непосредственный предшественник Карамзина. Вместе с тем он готовил почву для поэтической деятельности одного из предшественников Пушкина — Батюшкова.

ТРИ ЭТЮДА

1. ОБЩЕСТВА, КРУЖКИ, УСАДЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Холодной дождливой осенью, сидя в своем имени у камина, Батюшков очень уж заскучал. Правда, можно бы поехать в Вологду, но что там делать в этом болоте — никакой духовной жизни. Одиночество и скука пугают поэта, но здесь в Хантонове он со своими книгами, за чтением несравненного Державина, ожидает писем от друзей, с жадностью вычитывая из них последние литературные новости. Он не только «перемарывает старые грехи», но и пишет шуточные послания, дружеские посвящения, эпиграммы, грустные элегические стихи...

В эту осень 1809 года Батюшкову пришла на ум игривая мысль искупать в Лете истории своих современников-литераторов. Так родилась на берегах Шексны одна из лучших сатир своего времени «Видение на берегах Леты». Она начиналась с того, что ее герою, утомленный чтением современных поэтов, засыпает и видит во сне, как прогневанный Аполлон «поэтам нашим смерть изрек». И теперь тени умерших писателей под бременем своих трудов направляются к Лете — «реке забвения стихов», где многим известным в то время литераторам Батюшков устраивает «встречу не по платьям, но по заслугам и уму». Автор «Видения» решительно окунает всех их в Лету, и они один за другим тонут — «болтун несчастный» Мерзляков, присяжный поэт-вздыхатель, «князь вралей» Шаликов, автор трех поэм и сотни од Бобров, сочинитель слезных драм Сергей Глинка... «Явились тут и лица новы из белокаменной Москвы», нырнули в глубь туманных вод и исчезли там бездарные поэтессы, уныло-сентиментальные поэты, многочисленные подражатели Карамзина... «Но вдруг на адский берег дикий призрак чудесный и великий в огромном дедовском возке тихонько тянется к реке». В хомуты «вложены» и гужом тянут возок литературные староверы из Российской академии, а в возке покашливает сам адмирал Шишков...

Стихи эти были посланы Николаю Гнедичу в Петербург. Батюшков очень просил задушевного приятеля никому не показывать едкую сатиру, но тот, радуясь успехам друга смело вступившего в литературную борьбу между шишковистами и карамзинистами, не вы-

держал и прочитал «Видение» на ближайшем же собрании оленинского кружка. Стихотворение пошло по рукам, стало известно и в первопрестольной Москве, вызвало шумные толки и... обиды.

Обиделся даже Г. Р. Державин, в доме которого собирались будущие члены «Беседы любителей русского слова», не говоря уже о самом адмирале Шишкове. Сатира Батюшкова оказалась не по вкусу и членам «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», куда входил сам автор, и московским собратьям из «Дружеского литературного общества», объединившего дворянскую литературную молодежь.

Если Батюшков уже в это время находился под заметным влиянием прогрессивных идей в литературе, то его товарищ по «Вольному обществу» и земляк-вологоджанин Николай Остолопов примыкал к наиболее умеренному направлению. Его журнал «Любитель словесности» почти не печатал передовых писателей своего времени. Зато постоянный приют на его страницах находили писания вологодского архиепископа Евгения Болховитина.

Основным печатным органом «Вольного общества», который охотно поддерживал пафос гражданской поэзии, являлся тогда «Журнал Российской словесности», издаваемый Н. П. Брусиловым. Впоследствии, став вологодским губернатором, Николай Брусилов отошел от передовых идей и восхвалял «безмерно даруемые» «чадолюбивые меры» царизма, зажавшего Россию в тиски самого реакционного аракчеевского режима. Брусилов писал и других убеждал в том, что Вологодская губерния «может по всей справедливости считаться богатою губерниею», а населяющие ее «крестьяне не могут называться бедными». Оскудение крестьян в это время происходило, по его словам, «по недостатку работников в доме или по недостатку хозяйственной попечительности», а скорее всего даже — «по закоснелости» мужика: «Когда крестьянин будет понимать пользу трудов, тогда и быт его улучшится»¹.

А между тем еще в канун Отечественной войны социальные контрасты особенно в дворянских уездах губернии были уже крайне резкими. В вологодских дерев-

¹ Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. СПб., Императорская Академия наук, 1833, с. 63.

нях графа Бестужева-Рюмина, как и в ряде других помещичьих вотчин, крестьяне переводились на барщину. Помещики открывали канатные, прядильные, бумажные фабрики, полотняные, сахарные, винокуренные заводы, на которых заставляли трудиться тех же крестьян. Многие из них были вынуждены уходить на заработки. В ярком документе этих лет сообщается, что крестьяне помещика Поздеева, кстати, содержавшего под Вологодой стекольный завод, «пришли в крайнюю бедность, не имеющие у себя дневного пропитания, равно же одеяния и обуви, скитающиеся в мире, лишаящиеся своих крестьянских работ, дома и поля у них пришли в запустение»¹.

Добиваться повинной от «взбунтовавшихся крестьян» приходилось вооруженной силой. Так был подавлен «бунт» крестьян помещика Собакина, державшего металлургический завод в Череповецком уезде. В мае 1809 года крестьянам Кадниковского уезда удалось избавиться от самого жестокого и надменного помещика Александра Межакова. Он был убит во время объезда своих владений. Отмечались волнения и среди государственных и дворовых крестьян Вологодского края.

В это время отстраивали свои имения, основательно оседали вокруг Вологды и процветали крупные, связанные со столичным «высшим светом» дворянские семьи — Межаковы, Брянчаниновы, Зубовы, Засецкие, Левашовы, Горчаковы, Волконские...

Особой роскошью отличалась усадьба богатейших помещиков Межаковых, выстроенная к концу восемнадцатого века в селе Никольском на Уфтиуге. К особняку из сорока с лишним комнат, оформленных со столичным изыском, примыкала знатная по тому времени картинная галерея. Особняк окружал громадный парк с гротами, статуями, оранжереями и прудами.

Значительный художественный интерес представляла и усадьба А. С. Брянчанинова в Покровском, выходившая в небольшой, со вкусом устроенный парк с липовыми аллеями, сообщающимися прудами и гротами из диких камней. «Прелестное Покровское — одна из лучших усадеб России»². Хозяин ее, отправляясь в 1812 го-

¹ Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края. Вологда, 1951, с. 147.

² Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 307.

ду в действующую армию, с грустью расставался со своим именем: «Отрада моя, кому ты достанешься?»

В Никольском, Ермолове, Спасском-Куркине, Погорелове, Минкине, Покровском создавались свои библиотеки, выписывались книги французских авторов. Богатейшее по тому времени собрание Межаковых насчитывало более трех тысяч томов. Почетные места на книжных полках занимали сочинения Буало, Мольера, Корнеля, Расина, Ламартина, Руссо, Вольтера в роскошных переплетах. Пользовались успехом произведения итальянских писателей, особенно Данте, Боккаччо, Тассо, реже — книги английских и немецких авторов. В усадебные библиотеки проникали и сочинения русских писателей: книги Сумарокова, Хераскова, Богдановича, Карамзина, Крылова, такие периодические издания, как «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие»¹.

В длинные зимние вечера собирались в усадебных гостиных за чтением несравненного Крылова, набиравшего поэтическую силу земляка Батюшкова, а также Жуковского, Вяземского, Гнедича, Дениса Давыдова, и особенно юного любимца муз — Пушкина².

Задумав в 1816 году книгу по истории русской литературы, Батюшков осознавал, что такой труд требует многих книг, и тем не менее он берется за него и находит в Вологде многочисленные произведения русских писателей.

Работая в Вологде по поручению «Вольного общества» над трехтомным «Словарем древней и новой поэзии» (1821), Н. Ф. Остолопов также имел возможность познакомиться здесь с книгами своих соотечественников. В «Словаре» он обильно цитирует Ломоносова и Державина, приводит примеры из произведений Сумарокова, Капниста, Гнедича, Батюшкова, из басен Дмитриева, Крылова, Измайлова, Хемницера, ссылается на поэмы Жуковского «Светлана» и Пушкина «Руслан и Людмила». Очевидно, что в Вологде выписывали все лучшие современные издания, и литературные новинки быстро становились достоянием читающей публики.

В вологодских усадьбах складывалась своя театраль-

¹ Вологодская советская публичная библиотека. Год работы. Вологда, 1920, с. 17, 26, 28.

² Данилов В. В. Кадниковский уезд Вологодской губернии. — Север, 1923, № 3—4, с. 225.

ная и музыкальная жизнь. В Никольском «давались домашние спектакли, разыгрывались шарады на французском языке, оркестр играл серьезную музыку и аккомпанировал пению»¹. Зимние театры были в Ермолове, имении князей Горчаковых и Волконских² и других имениях. Но домашние спектакли уже не всегда удовлетворяли усадебное дворянство, устанавливались связи со столичной театральной жизнью. Так осенью 1809 года актер, российского придворного театра Петров извещал вологодскую «почтеннейшую публику и любителей театра», что в местном училище будет сыграна комедия Н. Эмина «Один за семерых». Причем желающие посмотреть комедию предупреждались, что «господские слуги впусканы быть не могут»³.

К зиме дворянская знать съезжалась из своих разбросанных по всей России имений в Петербург, а к весне вновь спешила в родовые гнезда. И в древней русской столице Москве литературная и театральная жизнь диктовалась этими же сезонными приливами и отливами.

Правда, Батюшкову хорошо работалось и жилось в тепле отеческого крова в разные времена года. Но в Вологде он не мог работать — не с кем, по его словам, было поделиться мыслями, поговорить о поэтических делах. С иронией сообщает Батюшков своим столичным литературным друзьям единственную новость, занимавшую губернский город зимой 1810 года: «Межаков женится на племяннице Брянчанинова!»

Павел Межаков, по характеристике «Отечественных записок», «вологодский помещик и поэт тогдашнего закала с обращениями к луне, к лазоревым очам, к утраченным наслаждениям», проживая зимой в Петербурге, «давал обеды, вечера и ужины всем тогдашним литературным корифеям столицы, которые у него ели, пили и читали свои произведения»⁴. Это были так называемые «межаковские литературные вечера». О том, как они

¹ Колюпанов Н. Из прошлого. — Русское обозрение, 1895, (январь), т. 31, с. 245.

² Андреевский Л. И. Образование и воспитание в барской усадьбе Вологодской губернии в начале XIX в. (из архива с. Куркина). — Север, 1928, № 7—8, с. 17.

³ Вологодский иллюстрированный календарь, 1894, с. 62.

⁴ Парголовский мизантроп. Мысли и впечатления, навеянные текущею литературою. — Отечественные записки, 1874, № 7, с. 102.

проходили, не без юмора рассказывает своим московским собратьям баснописец Александр Измайлов:

«Прошедшею зимою был здесь вологодский стихотворец П. А. Межаков, который каждое воскресенье делал у себя здесь вечеринки для литераторов. Граф Д. И. <Хвостов> не пропускал ни одного воскресенья и приезжал обыкновенно с двумя или тремя своими адъютантами и пучком стихов. Однажды, в самое то время, как шли уже мы ужинать, является вдруг Михайло Васильевич <Милонов> в полном своем гардеробе, в мундирном сюртуке, едва стоит на ногах, требует воды, но выпивает большую рюмку водки и садится с нами за стол. Хозяин, самый деликатный человек, посовестился удалить его; впрочем, кроме мужчин, никого тут не было, да и те все стихотворцы. За ужином вздумалось Милонову хвалить графа и грозить за него всем нам. Это было очень приятно его сиятельству; но как Милонов, выхвалив всю доброту его сердца, отозвался не слишком выгодно о его стихотворениях, то граф немного поморщился. Милонов заметил это, излил на него всю сатирическую желчь свою и притом в таких выражениях, какие не имеют места на языке богов. Едва могли мы удержаться от смеха»¹.

Вот как «ублажал» на берегах Невы столичных литераторов «поэт тогдашнего закала». А до этого он рассылал из усадьбы свои старомодные подражательные стихи в столицу, и они печатались в «Памятнике Отечественных муз», «Чтениях в Беседе любителей русского слова».

Первую книгу своих стихотворений Межаков открывает описанием осени и приготовлений к отъезду:

Восстали тучи вокруг дождливы,
И облекли весь свод небес;
Листы в дол стелются шумливы
И ветра быстрые порывы,
Поблеклый обнажают лес...
Весь вид угрюмый и опальный
Являет здесь моим очам;
И сам я, пасмурный, печальный,
Готовлюсь в путь пуститься дальний
К роскошным невским берегам².

¹ Письма А. Е. Измайлова к И. И. Дмитриеву. 1816—1830. — Русский архив, 1871, № 7—8, кол. 968—969.

² Межаков П. Уединенный певец. СПб., 1817, с. 1—2.

Ранней весной Межаков снова возвращается «в свою обитель», под сень родного крова, и еще пуще славит «земли любезный уголок». Он погружается в мир тишины, грусти, неги, уединения и любви и, подражая античным авторам, разрабатывает жанры элегии и посланий («Послание к Н. П. Д.», «К приятелю», «Г. Р. Державину», «Матери», «П. Н. К.», «Оправдание. Послание к NN»).

В 1809 году Павел Межаков вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Никольском, но связи с литературными кругами столицы не порвал. Во втором сборнике «Стихотворения Павла Межакова» поэт вдохновенно изображает праздную жизнь дворянства, шумные охоты с псовыми сворами, катания на лодках в белые ночи. Не уставая петь о своем устойчивом дворянском благополучии, в одном из стихотворений Межаков так изображает свою усадьбу:

В долине, скатом наклоненной
До самых озера валов,
Стоит мой дом уединенный,
От бурных ветров защищенный
Столетней сению дубов.

Идиллически рисует барин-поэт и жизнь крепостных крестьян¹.

В это же время в Вологде начинал свою литературную деятельность еще один писатель — Николай Федорович Остолопов (1782—1833). Фамилия Остолоповых издавна была известна в Вологодском крае, но ко времени рождения Николая Остолопова от былых фамильных заслуг ничего не оставалось, и дорогу в жизни ему приходилось пробивать самому. Получив хорошее воспитание в Петербурге, он начал службу, большая часть которой прошла в Вологде: был здесь Н. Ф. Остолопов и губернским прокурором, и вице-губернатором (1814—1819).

Первое стихотворение Остолопова «Пастушок» было прислано в столицу из Вологды в 1801 году, а 3 мая 1802 года прочитано при вступлении начинающего поэта в члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Вскоре Остолопов сблизился со сто-

¹ См. о П. Межакове: Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1886, т. III, с. 645—646; Данилов В. В. Кадниковский уезд Вологодской губернии. — Север, 1923, № 3—4, с. 223—236.

личными литературными кругами, стал близко к Г. Р. Державину и начал сотрудничать во многих центральных изданиях — «Свиток муз», «Сын отечества», «Журнал российской словесности», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Полярная звезда». А с 1806 года он уже издает свой журнал «Любитель словесности»¹.

Но в июле 1808 года Остолопов снова возвращается в Вологду, где служит в это время губернским прокурором. И именно в эти годы он много и напряженно работает над созданием «Словаря древней и новой поэзии».

Служба, разумеется, отвлекала от творчества, но не мешала пробовать свои силы в разных жанрах. Поэтическая часть наследия Н. Ф. Остолопова собрана в сборниках «Прежние досуги» (1816), «Апологические стихотворения» (1827). А своей первой прозаической пробой Остолопов считал повесть «Евгения, или Нынешнее воспитание» (1803), которую с благоговением ученика посвятил Г. Р. Державину.

Как прозаик и как теоретик стиха Остолопов следовал принципам классицизма. Он оказался слишком приверженным вкусам и традициям прошлого века. В поэзии его преобладали сентиментально-пасторальные мотивы, а такая поэзия для современников уже казалась слишком старомодной.

Случилось так, что в службе ему довелось достичь больших успехов, чем в творчестве. На исходе жизни Н. Ф. Остолопов был директором петербургских театров.

2. В ГОДИНУ ВОИНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Для тихого северного городка, каким была в то время губернская Вологда, осень 1812 года оказалась необычайно оживленной. По большой Московской дороге тянулись обозы, за ними плелись пленные французы, навстречу двигались нестройные ряды вологодских ополченцев. В Спасо-Прилуцкий монастырь спешно перевозились из Москвы церковные ценности. По ступицы

¹ Соч. Н. Остолопова и биограф. справку о нем см.: Поэты-радищевцы. Л.: Сов. писатель, 1979, с. 293—342; Б а т ю ш к о в К. Н. Соч. СПб., 1886, т. III, с. 682—683; Русский биографический словарь. СПб., 1905, с. 424—425.

утопали в грязи тяжело нагруженные иконами, бумагами и книгами патриаршей библиотеки телеги. Бережно везли громадный крест, снятый с главы Ивана Великого. Одна за другой прибывали в Вологду целые семьи, бежавшие из Москвы в канун вступления в нее Наполеона.

В числе первых беженцев в Вологде оказалась семья князя П. А. Вяземского (1762—1878), близкого друга Батюшкова. Вернувшись 1 сентября 1812 года в опустевшую Москву прямо с Бородинского поля, Вяземский не застал в ней своих литературных друзей. Княгиня волновалась, ожидая ребенка, и семейный врач торопил с отъездом.

По всем дорогам на Ярославль, Кострому, Нижний растянулись беженцы. Вяземские заехали в село Красное под Костромой, а оттуда отправились в Вологду, где встретили давнего друга семьи, почтенного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого с женой и дочерью, профессора Московского университета Христиана Шлецера и семьи других знакомых москвичей. Вместе с Вяземскими приехал знаменитый врач В. Рихтер, наблюдавший за княгиней. Он и в Вологде просиживал у Вяземских целыми днями и писал здесь свою «Историю медицины в России».

Поселились Вяземские по соседству с Юрием Нелединским в самом центре города, всего в нескольких шагах от кремля и соборной площади. Соседство еще больше сблизило старых знакомых, поэты теперь встречались каждый день. Утром обычно Нелединский работал над своими стихами, заходил советоваться с Вяземским. Вечерами собирались у Нелединского, читали собственные сочинения и сочинения других поэтов. Несколько раз на неделе подолгу засиживались у Евгения Болховитинова, который был у них «третьим литературным посредником»¹.

В Вологде в это время губернским прокурором служил Николай Остолопов, хорошо известный Вяземскому своими стихотворениями и прозаическими опытами. А Вяземский тогда только вступал в литературу. Вот он и решил, будучи брошенным судьбой в Вологду, познакомиться с известным литератором.

¹ Вяземский П. А. Соч. в 2-х т. М.: Худож. литература, 1982, т. 2, с. 284.

В первые же дни по приезде Вяземский отправил Остолопову стихотворное послание, приглашая его к себе. Но это послание не застало дома вологодского прокурора, отлучившегося в Петербург по служебным делам. В дороге, под Череповцом, с ним случилось несчастье. Как писал 7 октября 1812 года Н. Ф. Грамматину в Кострому баснописец А. Измайлов, «...соименный вам Н. Ф. Остолопов в самый день кровопролитного Бородинского сражения 26 августа, едуци сюда из Вологды, ранен был в дороге близ Череповца весьма опасно разбойниками, которые ограбили его почти на семь тысяч рублей. Удивительно, как он остался жив, ибо по одному направлению попали ему в висок две картечи; но теперь опасность миновала, и он написал стихи на смерть раненного с ним в один день князя Багратиона»¹. Это известие подтверждает и М. В. Милонов, сообщая из Петербурга Н. Ф. Грамматину, что «отсюда все перебирается в Казань» и что его приглашают вместе с департаментом министерства юстиции «ехать водою», но он решается вместе со столичными ополченцами «перепоясаться на брань за отечество»².

Поправившись и вернувшись в начале октября в Вологду, Николай Остолопов наконец получил послание, в котором Вяземский между прочим писал:

Я в Вологду попал бог весть
Какой печальною судьбою.
Московский житель с ранних пор
Как солнца мой увидел взор,
О Вологде, перед тобою
Я признаюсь, — не помышлял,
Ни в явь, ни между сновидений
О ней не думал, не гадал...

Далее говорилось, что, находясь «в скуке одинокой», он взял адрес-календарь и с радостью увидел среди имен незнакомых чиновников имя Остолопова:

Светлеет пасмурный мой взор —
Здесь муз любимец прокурор!
Не откажи ты мне во дружбе,
В одной считаемся мы службе,
Хотя и не в одних чинах...³

¹ Письма А. Е. Измайлова к Н. Ф. Грамматину. — Библиографические записки, 1859, № 13, кол. 414.

² Письма М. В. Милонова к А. Ф. и Н. Ф. Грамматиним. — Библиографические записки, 1859, № 10, кол. 298.

³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1880, т. III (1808—1827), с. 33—34.

утопали в грязи тяжело нагруженные иконами, бумагами и книгами патриаршей библиотеки телеги. Бережно везли громадный крест, снятый с главы Ивана Великого. Одна за другой прибывали в Вологду целые семьи, бежавшие из Москвы в канун вступления в нее Наполеона.

В числе первых беженцев в Вологде оказалась семья князя П. А. Вяземского (1762—1878), близкого друга Батюшкова. Вернувшись 1 сентября 1812 года в опустевшую Москву прямо с Бородинского поля, Вяземский не застал в ней своих литературных друзей. Княгиня волновалась, ожидая ребенка, и семейный врач торопил с отъездом.

По всем дорогам на Ярославль, Кострому, Нижний растянулись беженцы. Вяземские заехали в село Красное под Костромой, а оттуда отправились в Вологду, где встретили давнего друга семьи, почтенного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого с женой и дочерью, профессора Московского университета Христиана Шлецера и семьи других знакомых москвичей. Вместе с Вяземскими приехал знаменитый врач В. Рихтер, наблюдавший за княгиней. Он и в Вологде просиживал у Вяземских целыми днями и писал здесь свою «Историю медицины в России».

Поселились Вяземские по соседству с Юрием Нелединским в самом центре города, всего в нескольких шагах от кремля и соборной площади. Соседство еще больше сблизило старых знакомых, поэты теперь встречались каждый день. Утром обычно Нелединский работал над своими стихами, заходил советоваться с Вяземским. Вечерами собирались у Нелединского, читали собственные сочинения и сочинения других поэтов. Несколько раз на неделе подолгу засиживались у Евгения Болховитинова, который был у них «третьим литературным посредником»¹.

В Вологде в это время губернским прокурором служил Николай Остолопов, хорошо известный Вяземскому своими стихотворениями и прозаическими опытами. А Вяземский тогда только вступал в литературу. Вот он и решил, будучи заброшенным судьбой в Вологду, познакомиться с известным литератором.

¹ Вяземский П. А. Соч. в 2-х т. М.: Худож. литература, 1982, т. 2, с. 284.

В первые же дни по приезде Вяземский отправил Остолопову стихотворное послание, приглашая его к себе. Но это послание не застало дома вологодского прокурора, отлучившегося в Петербург по служебным делам. В дороге, под Череповцом, с ним случилось несчастье. Как писал 7 октября 1812 года Н. Ф. Грамматинову в Кострому баснописец А. Измайлов, «...соименный вам Н. Ф. Остолопов в самый день кровопролитного Бородинского сражения 26 августа, едучи сюда из Вологды, ранен был в дороге близ Череповца весьма опасно разбойниками, которые ограбили его почти на семь тысяч рублей. Удивительно, как он остался жив, ибо по одному направлению попали ему в висок две картечи; но теперь опасность миновала, и он написал стихи на смерть раненного с ним в один день князя Багратиона»¹. Это известие подтверждает и М. В. Милонов, сообщая из Петербурга Н. Ф. Грамматинову, что «отсюда все перебирается в Казань» и что его приглашают вместе с департаментом министерства юстиции «ехать водою», но он решается вместе со столичными ополченцами «перепоясаться на брань за отечество»².

Поправившись и вернувшись в начале октября в Вологду, Николай Остолопов наконец получил послание, в котором Вяземский между прочим писал:

Я в Вологду попал бог весть
 Какой печальною судьбою.
 Московский житель с ранних пор
 Как солнце мой увидел взор,
 О Вологде, перед тобою
 Я признаюсь, — не помышлял,
 Ни в явь, ни между сновидений
 О ней не думал, не гадал...

Далее говорилось, что, находясь «в скуке одинокой», он взял адрес-календарь и с радостью увидел среди имен незнакомых чиновников имя Остолопова:

Светлеет пасмурный мой взор —
 Здесь муз любимец прокурор!
 Не откажи ты мне во дружбе,
 В одной считаемся мы службе,
 Хотя и не в одних чинах...³

¹ Письма А. Е. Измайлова к Н. Ф. Грамматинову. — Библиографические записки, 1859, № 13, кол. 414.

² Письма М. В. Милонова к А. Ф. и Н. Ф. Грамматиновым. — Библиографические записки, 1859, № 10, кол. 298.

³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1880, т. III (1808—1827), с. 33—34.

Остолопов откликнулся на этот призыв к дружбе ответным посланием, в котором выразил радость по поводу приезда в Вологду Вяземского, благодарность за приглашение и раскрывал обстоятельства, связанные с нападением на него:

Могу ль явиться я с повязкой,
С ужасной, черной головой,
Как с обгорелой булавой?
Злодеи на меня напали,
Ограбили и пощелкали
Так сильно, крепко, что чуть-чуть
Не привелось мне махнуть
Туда...
Но дело, право, не о том:
По чести, в незнакомый дом
Предстать уродом очень стыдно.
И так уж поневоле, видно,
Я должен неучтивым быть
Сперва тебя к себе просить.
Приди — прошу и ожидаю...

В этом же послании Н. Остолопов напоминает о каких-то переменах в своей службе и главное — характеризует нравы тогдашних вологодских властей:

Но, милостивый государь,
Напрасно адрес-календарь
Меня считает прокурором,
Я обижаюсь этим вздором;
Уж мне наскучило шуметь
И неприятности иметь
От грусти, что законы строги,
А исполнители — не боги:
Иной кривит у нас душой
За тем, что все ценой большой
В рядах и в рынке покупает;
Другой кривит, как задолжает
И денег не имеет в срок,
А третий, что карман широк.
И я, для избежанья споров,
Из званья вышел прокуроров;
Служу юстиции самой...¹

Поэты вскоре обменялись визитами и стали дружить семьями. Вяземский сочиняет 20 ноября 1812 года стихотворение «В альбом Татьяне Федоровне Остолоповой». Остолопов проводит вечера в обществе Вяземского, который читает ему свои стихи, в том числе и новые, написанные в Вологде — «Путь к честности», «Оправдание Вольтера», «Песня», «Вакхическая песня»...

¹ Русский архив, 1866, кол. 243—244.

Охотно вводя Остолопова в круг интересов своих московских и петербургских друзей, Вяземский впоследствии вспоминал:

«Вологодский поэт Остолопов, заимствовав тогда счастливое и пророческое выражение из письма ко мне А. И. Тургенева, заключил одно патриотическое стихотворение следующим стихом:

Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу...

Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вешего и что отречение, подписанное им в Фонтенебло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде»¹.

И все-таки, оказавшись оторванным от привычной московской жизни, Вяземский остро ощущал отсутствие старых друзей, составлявших узкий круг поэтического сообщества. Он пишет в Вологде послание «К моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину», в котором выражает тоску по поводу разлуки с ними, сетует на свое одиночество². Вяземский приглашает друзей в Вологду, особенно настойчиво зовет Батюшкова, находившегося в это время с семьей Муравьевых в Нижнем Новгороде.

Еще от Карамзиных Батюшков знал, что Вяземский оказался на его родине. «Ты меня зовешь в Вологду, — писал он другу 3 октября, — и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность, хотя Вологда и ссылка для меня одно и то же. Я в этом городе бывал на короткое время и всегда с новыми огорчениями возвращался. Но теперь увидеться с тобою и родными для меня будет приятно...»³

Возможность приехать в Вологду представилась Батюшкову сначала в октябре, а потом — в декабре. В эти приезды собирались у сестер Батюшкова, у его родственника П. А. Шипилова, служившего по учебной части, и литературные беседы велись с большим жаром.

У всех на устах были в те дни знаменитые стихи В. Жуковского «Певец во стане русских воинов», написанные накануне сражения под Тарутинным. Может быть,

¹ Вяземский П. А. Соч., т. 2, с. 284—285.

² Там же, т. 1, с. 43—45.

³ Русский архив, 1866, кол. 233.

Батюшков и привез их в Вологду. А сам автор «Певца» вступил в ополчение и находился при штабе Кутузова. Воздав должное героическому прошлому России, ее вчерашним и нынешним героям, В. Жуковский «посвящает сей кубок любви к отечеству, столь славно ознаменовавшей народ российский при нашествии свирепого неприятеля» своей многострадальной Отчизне, доказавшей «вселенной, сколь силен народ, исполненный пламенной любви к отечеству»:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Здесь же славит поэт радостное чувство дружества:

Святому братству сей фиал
От верных братьев круга!
Блажен, кому создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скробный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть, он для нас
Второе провиденье.
О! будь же, други, святость уз
Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

Надо сказать, что Батюшков в своем послании «К Дашкову» перекликался с Жуковским в проникновенном выражении этих же чувств.

При встречах в Вологде поэты с горечью вспоминали о разоренной и оскверненной «шайкою варваров» Москве, о невозвратных потерях, о гибели друзей и радовались успехам русской армии, изгнанию врагов из России.

«Вообще литература, — вспоминал Вяземский о жизни в Вологде, — была любимым развлечением в тяжкую осень 1812 года. Особенно, когда военные действия приняли лучший оборот и с освобождением Москвы от не-

приятеля сердце у нас отлегло и... прежние испытания были забыты...»¹ Так скорее всего и было для Вяземского и Нелединского-Мелецкого, но не для Батюшкова. Н. Ф. Грамматин из Костромы просит его прислать свои стихи, а Батюшков отвечает из Вологды в самом начале января 1813 года: «Все остались в Петербурге и, может быть, потеряны». Он ленится переписывать даже ответ Жуковского на «Мои Пенаты»². И тем не менее он находит в себе силы продолжить начатую ранее борьбу между карамзинистами и шишковистами и создает сатиру «Певец в Беседе славянороссов», пародируя самые популярные в это время патриотические стихи Жуковского.

В этом памфлете Батюшков не щадит, в частности, и Петра Карабанова (1765—1829), поэта и переводчика из «Беседы», который, кстати, оказался в это время в Вытегре среди первых беженцев из Петербурга. «Он там женился, — писал 13 января 1813 года всезнающий А. Е. Измайлов, — и на досуге написал, чаю, много стихов»³. А Батюшков дает ему острую эпиграмматическую характеристику:

Телец, упитанный у нас,
О ты, болван болванов,
Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов!

Впрочем, Батюшков не оставляет в покое не только «литературную мелочь» и всеильных хищных акул «Беседы», он оптом высмеивает всех дедов литературного старостерства:

Их вирши сгнили в кладовых
Иль съедены мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями.
Но дух отцов воскрес в сынах:
Мы все для славы дышим,
Равно здесь в прозе и в стихах,
Как Тредьяковский пишем.

Зима в тот год была жестокой. «Я дотащился сюда, — писал Батюшков из Вологды в Кострому, — здоров и цел вопреки холоду, который и до сих пор продолжа-

¹ Вяземский П. А. Соч., т. 2, с. 284.

² Библиографические записки, 1859, № 11, кол. 322.

³ Письма А. Е. Измайлова к Н. Ф. Грамматину. 13 января 1813 г. Петербург. — Библиографические записки, 1859, № 14, кол. 419.

ется»¹. Даже почта в те лютые морозы приходила крайне редко, раз в неделю.

В почтовый день у лавки купца Коровникова собиралась пестрая толпа. Здесь были и вологодские обыватели, и бывшие сановники, томившиеся в ссылке, и знатные московские беженцы, ожидавшие свежих новостей. В ветхих шинелишках, обтрепанных мундирах тут же толпились французы, желавшие «вычитать» из газет свою участь².

Вяземский также с нетерпением ждал вестей от друзей, разбросанных войною, хотелось знать и о положении в русской армии. Он даже посылал из Вологды своего служителя к генералу М. А. Милорадовичу, у которого был адъютантом.

В Вологде еще никогда не собиралось столько известных писателей сразу. Теперь сюда со всех сторон шли известия о литературной и общественной жизни страны. Особенно часто обменивался Вяземский письмами со старыми московскими друзьями В. Л. Пушкиным, Д. П. Севериным, П. В. Мятлевым. Поддерживалась связь и с Петербургом. Приходили письма от Карамзина и Жуковского, интересовавшихся жизнью вологодских поэтов.

Письмом от 16 октября Карамзин радостно поздравлял Вяземского с освобождением Москвы от Наполеона, а также с рождением сына Андрея и горячо желал, чтобы «Вологда в последствии времени не напоминала... ничего; кроме приятного».

«Я вижу из письма твоего, — писал Вяземскому Василий Львович Пушкин из Нижнего 14 декабря, — что ты грустишь о Москве, но как и не грустить о кормилице нашей?»

В письмах к Н. Ф. Грамматину Вяземский рассказывал о быте и нравах жителей Вологды, высоко отзывался о древней культуре города и возмущался невыноси-

¹ Библиографические записки, 1859, № 11, кол. 321.

² Фортунатов Ф. Памятные заметки вологжанина. — Русский архив, 1867, кол. 1646—1707. Имя автора статьи, педагога, редактора «Вологодских губернских ведомостей», стоит у самых истоков вологодского краеведения. Он, в частности, сообщает о жизни в это время в Вологде одного из первых ссыльных М. Л. Магницкого, правой руки некогда всемогущего временщика М. М. Сперанского. Среди находившихся в Вологде пленных французов Ф. Фортунатов называет графа Сегюр, который стал известен потом как автор книги о походе Наполеона в Россию.

мой грязью на его улицах. Грамматин утешал поэта: «Описывая Вологду, вы описываете Кострому: здесь такая же грязь, как и у вас...»¹

Не без участия Вяземского Евгений Болховитинов снабжал Карамзина, работавшего в это время над «Историей государства Российского», новыми материалами. Среди других документов, ушедших из Вологды, так называемый «Боянов гимн»².

В конце декабря, оставив семью в Вологде, Вяземский выехал на некоторое время в Москву. Возвратившись, он уже не застал здесь ни Нелединских-Мелецких, ни Кашкиных, ни другие московские семьи, с которыми был близок. Рассеянные войной по разным городам страны московские жители потянулись к своим домам.

Покинул Вологду и коренной ее житель Николай Остолопов, чтобы через некоторое время вернуться на родину уже вице-губернатором. Тот же А. Е. Измайлов так писал об этом: «Перед Новым годом приехал к нам из Вологды наш сочлен Н. Ф. Остолопов. Он переселяется сюда со всем своим семейством и проживет здесь до тех пор, пока не найдет себе приличное место. Ожидаем другого члена из Вытегры П. М. Карабанова»³.

В начале 1813 года в Вологду пришло письмо от будущего автора знаменитой комедии «Горе от ума», выразившей дух своего времени. Письмо было адресовано княгине В. Ф. Вяземской. «Бросайте же Вологду, — писал Грибоедов, — и приезжайте насладиться той радостью, с которой вас встретят все наши добрые знакомые, к которым прошу причислить и вашего усердного А. Грибоедова. Тысячу добрых пожеланий от меня князю»⁴.

3. ПРОВИНЦИЯ, НА СЛУЖБЕ И ПРОЕЗДОМ

Бал в Дворянском собрании был в самом разгаре. Вологодское дворянство даже в проливной дождь не хотело ударить в грязь лицом и ничего не жалело, что-

¹ Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива <с прим. П. А. Вяземского>. — Русский архив, 1866, кол. 230, 240, 241.

² Ф. Фортунатов считает рукопись эту подделкой купца Бардина, торговавшего старинными рукописями.

³ Письма А. Е. Измайлова к Н. Ф. Грамматину. — Библиографические записки, 1859, кол. 418—419.

⁴ Неизданные письма Грибоедова. — Лит. наследство. А. С. Грибоедов. М.: Изд-во АН СССР, 1946, с. 230.

бы остался доволен Александр Первый еще вчера с верноподданническими почестями встреченный в селе Кобылине пышной Губернаторской свитой «в пудре и башмаках», а в городе приветствуемый иллюминациями, фейерверками и молитвами самого архиерея в Воскресенском соборе. Государь и в самом деле был доволен всем что ему показывали: традиционными осмотрами тюрьмы и гимназии, посещениями соборов и монастырей, он хвалил березовые бульвары и украшенную к его приезду набережную, направо и налево раздавал подарки и дарил обворожительные улыбки...

В Дворянском собрании в люстрах горели все свечи. Огонь, преломляясь в хрустале, отражался в громадных стальных зеркалах. На хорах гремел оркестр. Александр Первый, наделенный самыми высокопарными эпитетами — такими, как «благословенный», «всемиловитейший», решил быть по приезду в Вологду всем довольным, таким и оставался до конца.

Царь уже танцевал с женами губернатора Брусилова, предводителя дворянства Брянчанинова, с контр-адмиральшей Федоровой, сенаторшей Рындиной, купчихой Витушечниковой, а губернский предводитель дворянства подводил к нему уже юных воспитанниц институтов. Все, как у Пушкина: «музыки грохот, свеч блистанье, мельканье, вихорь быстрых пар, красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры...»

Скромные сестры Наталья и Екатерина Засецкие держались в стороне. Обе — в белых креповых платьях с приколотыми у левого плеча цветами: пунцовыми — у старшей и алой розой — у младшей. Наталья окончила курс в Смольном монастыре и уже танцевала с царем польский танец. Теперь царь обратил внимание на ее младшую сестру, и подслеповатый предводитель дворянства уже готов был подвести к Александру восемнадцатилетнюю Екатерину, но она, смутившись, объяснила Брянчанинову, что воспитывалась дома и по этикету не имеет права на танец.

Это была будущая мать писателя, заступника народного Павла Засодимского. «Представляю я себе, как дивно хороша она была в тот вечер! — восклицал в своих воспоминаниях Засодимский. — Немудрено, если государь обратил на нее внимание...»

Немудрено и то, что юная дева очарованно ловила «мягкую обворожительную улыбку» царя, видя в нем

«героя, победившего Наполеона». Потому и сын ее впоследствии способен был воспринимать Александра Первого в «сияющем ореоле» семейных воспоминаний¹.

Впрочем, иллюзиям в отношении Александра Первого поддавался поначалу и Пушкин. Уже позднее пришел он к такой острой характеристике, с которой начал десятую главу романа «Евгений Онегин»: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда».

Но на балу в Дворянском собрании Вологды государь предстал во всем блеске победителя. Эти слишком пышные для «захолустного северного городка» торжества с сентиментальной слащавостью описал кто-то из близкого окружения губернатора Н. П. Брусилова, в прошлом подававшего надежды журналиста и литератора. Спустя почти столетие Иван Евдокимов опубликовал эту рукопись, заметив, что и сам губернатор рисуется в ней «старательным управителем, несколько наивным и сентиментальным, настойчивым и упорным, с зычным голосом, вообще несколько провинциальным «недотепой», здоровым, сильным, краснощеким»².

Былые литературные пристрастия выветривались на службе не только у губернатора Н. П. Брусилова. Многие его бывшие литературные соратники по «Вольному обществу» пошли на службу и теперь тянули эту лямку в провинции. Даже К. Батюшков на самом взлете своего блистательного таланта вынужден был несколько лет провести на дипломатической службе в далекой Италии, вконец подорвав свое здоровье.

Александр Измайлов оставил любопытное объяснение болезни поэта. «Недавно возвратился сюда из чужих краев К. Н. Батюшков, — писал он весьма доверительно своему близкому другу в Москву 6 апреля 1822 года. — С ним случилось величайшее несчастье. Он, как говорят, почти помешался и даже не узнает коротко знакомых. Это следствие полученных им по последнему месту неприятностей от начальства. Его упрекали тем, что он писал стихи, и поэтому считали неспособным к дипломатической службе. Так по крайней мере я слышал. Что если это действительно справедливо? К несчастью, есть вельможи, которые вменяют в величайшее

¹ Засодимский П. Из воспоминаний. М., 1908, с. 10.

² Евдокимов И. Старый быт. Вологда, 1915, с. 2.

преступление своим подчиненным занятия в словесности, особенно в поэзии. Это я знаю по собственному опыту»¹.

Возникали и другие объяснения. Так, было известно, что К. Батюшков тяжело переживал идейные расхождения с родственниками и друзьями, особенно с Никитой Муравьевым, Николаем Гнедичем, братьями Муравьевыми-Апостолами и теми, кто пошел дорогой декабризма.

Победа русских войск в Отечественной войне способствовала росту национального самосознания, пробуждала дремавшие в России силы. Русские ратники, по словам декабриста Александра Бестужева, «возвратясь в дом, впервые разнесли ропот в классе народа: «Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа»².

На волне этого народного ропота крепили революционные настроения среди дворянской интеллигенции, решительно выступающей против самодержавия, против гнета и произвола крепостников. Отдельные декабристы проникали и в края вологодские, но здесь их связи были случайными и непрочными.

Литературная жизнь в провинции после восстания декабристов оказалась подавленной. Навеки замолчал Батюшков. Покинув Вологду, стал во главе петербургских театров Николай Фстолопов. Многие из вологодских дворян, которые раньше «грешили стихами», теперь не решались предавать бумаге грехи молодости. И только Павел Межаков продолжал пописывать стихи. Он даже решился выступить публично и издать в столице сборник «Стихотворения Павла Межакова» (1828), в котором перепевал самого себя.

Никто из сколько-нибудь известных писателей теперь и не помышляет о Вологде, не ищет связей с ней, и только неугомонный редактор «Отечественных записок» Павел Свиньин разъезжает по Северу, а потом длинно и нудно описывает свои путешествия. Правда, в 1827 году в Тотьме в княжеской свите по делу о злоупотреблениях в уездных имениях Кокшёнги оказался Сергей Глинка, а через год проездом в Архангельск на неделю

¹ Письма А. Е. Измайлова к И. И. Дмитриеву. 1816—1830. — Русский архив, 1871, № 7—8, кол. 970—971.

² Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х т. М.: Худож. литература, 1981, т. 2, с. 485.

задержался в Вологде давно связанный с вологодскими литераторами баснописец Александр Измайлов. Но эти редкие приезды не могли изменить обстановку: когда-то оживленное «литературное гнездо» опустело.

Еще в 1810 году Николай Остолопов адресовал свое послание из Сольвычегодска «К приятелю в столицу», в котором упрекал Александра Измайлова, а в его лице и столичных литераторов в спесивом отношении к друзьям, находившимся на службе в провинции:

Или у жителей столицы
Таков уже обычай стал:
Чуть шаг из городской границы —
Прости, как будто не живал!
Писать в провинцию им стыдно!
Судя по этому, так видно,
Что мы для вас — пустая тварь.
Но не гордитесь перед нами:
Взгляните вы, — нас вносят с вами
В один же адрес-календарь¹.

Но нет, не весь ушел в службу баснописец, хотя служил усердно и музы не полонили его целиком, а Остолопов и в Вологде, как и в столице, нашел не только «гордых гордецов, любителей придворных тонов, людей, рожденных для поклонов, ханжей, и мотов, и скупцов», но и «друзей любезных». И все-таки Измайлов считал жителей столиц более счастливыми: «Мы никогда не чувствуем по службе того деспотизма, какой часто многие терпят в провинциях; да и впрочем гораздо сноснее быть изъедену львом или медведем, нежели какою-нибудь паршивою собакою, которая у одних лижет ноги, а других кусает»².

Недолго, впрочем, пришлось занимать столь «горделивую позицию». Оказавшись вскоре на службе в Твери, а затем и в Архангельске, Измайлов на себе испытал укусы провинциальной «паршивой собаки». Заметим, что баснописец наш всю жизнь находился на службе и достиг на этой стезе «степеней известных». Литература при этом была для него «приятным развлечением». Измайлов занимал видное место в литературных обществах, хотя и метался постоянно между враждующими группировками.

¹ Поэты-радищевцы. Л.: Сов. писатель, 1979, с. 332.

² Библиографические записки, 1852, № 14, кол. 418.

Тучную фигуру добродушного «фабулиста» «в сюртуке с оттопыренными карманами, всегда полными рукописей своих и чужих» видели в свободное от службы время в различных литературных кругах. Там, где он появлялся, начиналась «бойкая беседа, сыпались анекдоты, шутки, экспромты», звучали мастерски читавшиеся писателем новинки поэзии.

Никогда еще не знала такого процветания, как в это время, басня. В этом жанре работали И. И. Дмитриев и великий Крылов. Проявлял себя больше всего как баснописец и А. Измайлов. Он сумел демократизировать басню, и «национальная простонародность» стала отличительной чертой его стихотворной «сказки» и басни. Правда, даже пристрастный биограф не стал переоценивать нашего баснописца, высказавшись о нем так: «...как писатель он был, строго говоря, незначителен, но как человек, честный литератор, он был лицо примечательное»¹.

Современники характеризуют Измайлова как человека безукоризненной честности и любви к правде, бескорыстия и готовности прийти на помощь, нетерпимого к взяточничеству и полного уважения к человеческой личности. Может быть, эти качества и помешали ему задержаться в Твери на должности вице-губернатора. Впрочем, в Архангельске все повторилось: здесь ему также пришлось столкнуться с мошенничеством, взяточничеством, злоупотреблениями властью самого генерал-губернатора. «Лучше быть отставлену за правду, — считал Измайлов, — нежели за участие и связь с плутами и ворами». Вот истинное убеждение баснописца, и он оставался верен ему в жизни и творчестве.

Дорога из Твери в Архангельск заняла у него больше месяца. По пути Измайлов навещал своих давних литературных друзей, «везде по дороге, от скуки, писал стихи» и почти с каждой почтовой станции отправлял пространные письма родным и близким.

Была весна 1828 года, природа оживала, и Измайлов предавался наслаждению наблюдать ее. Особенно приятной оказалась дорога после Ярославля. «Всю ночь мы ехали, и всю ночь слышали пение птиц... — сообщал Измайлов жене. — В Вокшерском часа в два по полуд-

¹ Кубасов Ив. А. Е. Измайлов. 1779—1831. — Русская старина, 1900, т. 102 (июнь), с. 571, 582.

ни сидел я на крыльце у зрителя, курил трубку, пил ярославский мед и слушал, как вдали пело несколько соловьев. Поехали; запели пеночки, зяблики, жаворонки; потом услышал нового соловья. Видели восхождение солнца»¹.

Чем ближе приближались к Вологде, тем дорога становилась тяжелее. Шестерка лошадей едва вытаскивала экипаж из большой грязи. Наконец, экипаж баснописца (ехал он не один, а с младшим сыном) утонул в непролазной грязи у самого Грязовца, коляска сломалась, и пришлось задержаться. Правда, поэт не очень огорчился. «Если бы не это несчастье, — сообщал Измайлов 24 мая 1828 года уже из Вологды И. И. Дмитриеву, — то не написать бы мне в Грязовце басни «Кулачные бойцы»². Сочинил он ее пока сколачивали разрушенную «колесницу». Правда, починка оказалась непрочной, и до Вологды доехали с большим трудом.

Выдавший виды экипаж подкатил прямо к особняку губернатора. Когда-то в Петербурге Брусиловы принимали Измайлова среди узкого круга друзей. Н. П. Брусилев тогда часто печатал баснописца в «Журнале российской словесности». И теперь, став вологодским губернатором, он радушно встречал погрузившего старого приятеля.

Во взаимных воспоминаниях и рассказах пролетело несколько вечеров. Отошедший от литературных дел Н. П. Брусилев расспрашивал об известных ему столичных писателях, старых знакомых по «Вольному обществу», а Измайлов интересовался Архангельском, тамошними людьми. В первый же вечер им была прочитана только что написанная в дороге басня «Кулачные бойцы». Много и охотно читал Измайлов не только свои стихи, особенно любимых Пушкина и Крылова.

В Вологде Измайлов «свел кое-какие знакомства, написал несколько басен и различных стихотворений». Вскоре по прибытии в Архангельск он писал графу Д. И. Хвостову: «Кажется, могу похвастаться, что после Ломоносова до меня не было в Архангельске ни одного известного поэта... Мне еще не было времени беседовать с музами, а в Вологде, где за разрушением моей колес-

¹ Кубасов И. А. Вице-губернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). СПб., 1901, с. 32.

² Письма А. Е. Измайлова к И. И. Дмитриеву. — Русский архив, 1871, № 7—8, кол. 1002.

ницы принужден я был прожить неделю, написал четыре сказки, более одну, нежели в Твери в продолжение года и четырех месяцев. В Вологде познакомился я с очень хорошим тамошним стихотворцем Волковым. К сожалению, не мог видаться с Межаковым»¹.

Как видно, в Вологде поэт охотнее всего «беседовал с музами». В стихотворной сказке «Заветное пиво» рассказывается о том, как угощает Фома приглашенного на завтрак Кузьму:

А вот грибочки,
Тут рыжики, а здесь груздочки.
И тех отведай и других.
Груздочки хороши, а рыжики так диво!
Здесь не найдешь таких:
Из Вологды!...

В застольном приветствии поэт желает крестнику, чтобы он с родной матушкой чувствами был равен, а автора послания величает «божаточка» и тут же объясняет: «Так называют крестного отца в Вологодской губернии, отчизне почтенных родителей крестина Аполлона».

А в басне «Кулачные бойцы» рисует облик удачливого кулачного бойца, хитро сраженного «полугарным вином», услужливо поднесенным теми, кто испытал силу его. Они же

И будочникам двум, врагам его, сказали;
А те с веревкою пришли
И руки накрепко назад ему связали.
Ну тормошить его: «Вставай,
Семен, вставай! Пора опохмелиться».
— Давайте, братцы! «Нет, давай
Не пить теперь, а биться,
Вот раз тебе, вот два, вот три!
Вперед не говори,
Что ты один боец». — Ах, руки развяжите,
Да тут-то удальство свое мне покажите...
Не велено лежачих бить,
Бессильному грешно уж мстить;
И как же с теми драться,
Кто средств лишен обороняться?»²

В этих бесхитростных строках Измайлов оставался верен себе, своим нравственно-демократическим позици-

¹ Письмо А. Е. Измайлова к гр. Д. И. Хвостову из Архангельска от 24 июня 1828 года. — Славянин, Пб., 1828, ч. VII, с. 253—254.

² Измайлов А. Е. Соч. СПб., 1849, т. 1, с. 179—180, 184—185, 272.

ям и убеждениям. Интерес к «простонародному кругу нашей жизни» был той эстафетой, которую передавал поэт новому времени.

Не успели отзвенеть бубенцы экипажа Измайлова, как зазвенели колокольцы кибиток, колясок и просто перекладных извозчичьих тарантасов, в которых потянулись на север собиратели народной поэзии. Правда, интерес многих из них к народу еще не выходил за пределы официальной народности.

В марте 1829 года молодой ученый, будущий академик П. М. Строев предпринял первую свою археографическую экспедицию в вологодские края для поисков памятников древнерусской письменности, старинных рукописей, среди которых оказались и уникальные, самые ранние записи народного поэтического слова.

В это же время при Вологодской гимназии складывался круг молодых педагогов, потянувшихся к собиранию и изучению народной поэзии. Все возраставший интерес к прошлому своей Родины, тяга к познанию жизни трудового народа стали знаменем времени, началом переклички эпох в поисках истинной народности, определявшей пафос развития русской литературы.

СИЛЬНЫЙ И САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ

Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси.

В. Г. Белинский. Стихотворения Баратынского, 1842

...Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением.

В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина, 1843

Поистине неистощим Белинский в характеристиках таланта Батюшкова, неизменно определяя его как талант «большой», «истинный», «яркий», «замечательный», «чудесный», «превосходный», «сильный», «самобытный» и даже — «великий». Историческое развитие нашей художественной поэзии, по словам Белинского, «блестит великими именами мощного Державина, народного Крылова, романтического Жуковского, пластического Батюшкова...»¹.

Зная Батюшкова только через его поэзию, Белинский чутко определил особенности его личности, поэтической души, которая, как и натура Пушкина, «по преимуществу артистическая», и уже потому оба поэта — «родственнее всех других русских поэтов». Батюшков для Белинского — «артист, художник по призванию, по натуре и по таланту», «беспечный поэт-мечтатель», «философ-эпикуреец, жрец любви, неги и наслаждений», который «не только умел задумываться и грустить, но знал и диссонансы сомнения, и муки отчаяния», познал и «тоску разочарования».

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, т. IV, с. 31.

«Философ резвый и пиит, Парнасский счастливый левинец»¹, — так обращается к Батюшкову юный Пушкин и увенчивает певца радости венком из душистых роз. Но Батюшков для Пушкина еще и русский воин, поющий «кроваву брань и грозну смерть на ратном поле». Да и тогда, когда приходит зрелое отношение к этому певцу, Пушкин продолжает высоко ценить его личность и поэзию.

Следы нескрываемого восхищения талантом, душой и мастерством своего предшественника и учителя Пушкин оставил на полях «Опытов» Батюшкова: «Прекрасно!», «Прелесть!», «Прелесть и совершенство — какая гармония!» «Прелесть! — да и все прелесть!», «Что за чудотворец этот Батюшков!», «По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова», «Сильное, полное и блистательное стихотворение», «Лучшее стихотворение поэта...». И, наконец, пометка на «Моих пенатах»: «Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна»².

Самые близкие литературные друзья Батюшкова — Гнедич, Вяземский, Жуковский — гордились дружбой с ним, восхищались его поэзией не менее восторженно, но, к сожалению, не оставили сколько-нибудь цельных характеристик его яркой поэтической личности. Из этого литературного окружения дошли до нас добрые слова о блестяще образованном человеке своего времени с чутким сердцем и отзывчивой дружеству душой, пылком, восторженном, остроумном, мечтательном...

Наделенный своими друзьями литературной кличкой Ахилл, но обделенный здоровьем (и кличка эта нередко звучала в шуточных устах как «Ах, хил!»). Батюшков при первой же грозящей отечеству опасности оставлял лиру, брал в руки меч и храбро сражался с немцами, французами, шведами, потом опять принимался «петь стихи свои; я говорю петь, ибо они — музыка. В них и в его гармонической прозе видна вся душа его, чистая, благородная, то детски веселая, то нежно унылая»³.

О сомнениях, неуверенности в себе, муках отчаяния, отмеченных Белинским среди особенностей личности Ба-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л.: Наука, 1977, т. 1, с. 64.

² Пушкин-критик. М.: Гослитиздат, 1950, с. 303 и др.

³ Вигель Ф. Ф. Записки, М.: Круг, 1928, т. II, с. 43.

тюшкова, лучше всего поведал сам поэт. В его записных книжках сохранились шуточные и горькие «резоны» самохарактеристики: «мал ростом», «не довольно дорожен», «рассеян», «слишком снисходителен», «ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами», «не чиновен, не знатен, не богат», «не женат», «не умею играть в бостон и в вист», «ни в шах и мат»... Многие из этих «резонов» доставляли поэту немало душевных терзаний.

Превыше всего ценивший дружество и воспевший его с такой художественной силой в образе Петина, искавший любви, но так и не познавший разделенного чувства, поэт наш получил самую живую, самую проникновенную характеристику от чуткой и просвещенной женщины своего времени, узнавшей Батюшкова в расцвете его молодых сил и таланта.

«Я познакомилась с Константином Батюшковым в 1811 году, — вспоминает Елена Григорьевна Пушкина. — Его ум и то блестящее воображение, которое дало ему место в ряду лучших поэтов, увлекли меня с первой же нашей встречи... Батюшков был небольшого роста; у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, выющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность — отличительными чертами его характера. Когда он говорил, черты лица его и движения оживлялись, вдохновение светилось в его глазах. Свободная, изящная и чистая речь придавала большую прелесть его беседе. Увлекаясь своим воображением, он часто развивал софизмы, и если не всегда успевал убедить, то все же не возбуждал раздражения в собеседнике, потому что глубоко прочувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и располагает к снисхождению. Я любила его беседу и еще больше любила его молчание. Сколько раз находила я удовольствие в том, чтоб угадывать и мимолетную мысль его, и чувство, наполнявшее его душу в то время, когда он казался погруженным в мечтания. Редко ошибалась я в этих случаях.

Тайное сочувствие открывало моему сердцу все то, что происходило в его душе»¹.

Современники рисуют яркую, самобытную, незаурядную личность Батюшкова, отводя ему место в ряду лучших поэтов своего времени. Вместе с тем современники, по наблюдению Белинского, восхищались в равной мере не только Батюшковым, Жуковским, но и их предшественниками, и все они вместе «слыли равно за *художников* и *гениев* (или, по-тогдашнему, за *образцовых писателей*)». Да и сам Белинский считал, что «Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века», своего времени. Однако «неистовый Виссарий» уже отказывался «делать возгласы» и ограничиваться восторгами и восхищениями. Пробиваясь и сквозь юношескую свою категоричность и сквозь эмоционально-риторические оценки, он приходил к убеждению, что Батюшков явился «неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси». И если творца этой поэзии еще нельзя назвать гениальным, то ему уже «немного недоставало, чтоб он мог переступить за черту, разделяющую большой талант от гениальности».

Еще в «Литературных мечтаниях» Белинский характеризовал Батюшкова как сына переходного времени, который «решительно стоял на рубеже двух веков; поочередно пленялся и гнушался прошедшим, не признавал и не был признан наступившим». «Он весь заключен во мнениях и понятиях своего времени, — писал позже Белинский, — а его время было переходом от карамзинского классицизма к пушкинскому романтизму». Считая, что Батюшков «не принадлежал ни тому, ни другому веку», Белинский, однако, склонен был переоценивать, объявлять слишком прочными связи поэта с «риторической», «безжизненной» поэзией русского классицизма XVIII века, отказывать его эллинской музе в «русском содержании».

Даже тогда, когда певец мира изящной античной древности «именно нашел на истинную поэзию», по мнению Белинского, «самостоятельная художническая муза Батюшкова» продолжает бороться с «ложным французским направлением — и то побеждает его, то побеждается им». Однако тут же, словно бы противореча себе,

¹ Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896, с. 1—3.

критик называет Батюшкова среди тех русских писателей, в творчестве которых сказалось могущественное проявление «необъятной силы народного духа».

«Переходностью» эпохи и «промежуточностью» поэзии Батюшкова осложняются трудности определения и творческого метода поэта и его места в истории русской литературы. Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин — преимущественно именно в такой последовательности имен выстраивает Белинский свой историко-литературный ряд. Батюшков в этом ряду соотносится с предшественниками, великий критик даже упрекает его за то, что не нашел в себе сил решительно порвать с поэтической школой «осмнадцатого века» и вместе с тем включает в круг тех писателей, которые завершили «карамзинский период» русской литературы.

Продолжая направление, данное нашей поэзии Ломоносовым, Батюшков, как и Жуковский, преодолевал отвлеченные «риторические» идеалы и все больше сближался с действительностью, стал как художник «несравненно выше Державина», сделал в художественности форм следующий шаг вперед. При этом для Батюшкова и Жуковского находятся у Белинского особые «оговорки»: «оба они далеко опережают Карамзина и Дмитриева в фактуре стиха, не говоря уже о поэзии выражения», «оба они двинули вперед версификацию и прозу русскую» и, будучи учениками Карамзина, победили своего учителя. Мало того, они сами, уйдя от классицизма и «обогнав» сентиментализм, стали учителями своего нового времени.

Почти всегда Белинский рассматривает Батюшкова и Жуковского в сравнительной связи и поначалу отодвигает Батюшкова как поэта на второй план, но затем чаще отмечает «соединенные заслуги» этих поэтов в русской литературе «переходного периода», даже «преимущества поэзии Батюшкова перед поэзией Жуковского», отдает предпочтение Батюшкову как поэту, влияние которого на Пушкина считает более непосредственным.

«Каждый из них, — писал Белинский о Жуковском и Батюшкове, — составлял собою особую школу в русской литературе и вносил в нее новые элементы жизни».

Белинский называл Батюшкова *классиком*, отмечал связь его творчества с классицизмом, видел в нем элементы сентиментализма, но особенно часто характери-

зовал поэта как одного из основателей в русской литературе романтизма, раскрывшего «внутренний мир души человека», «сокровенную жизнь его сердца». И во всех этих определениях творческого метода Батюшкова ощущается не столько противоречивость критика, сколько «промежуточность», «переходность» поэзии самого Батюшкова.

В русской поэзии Белинский, как известно, выделял две условные разновидности романтизма — «средневековый» романтизм Жуковского («был переводчиком на русский язык романтизма средних веков») с его призрачностью, туманностью, мечтательностью и даже мистицизмом; «греческий» романтизм Батюшкова («охвачена вся сущность романтизма по греческому воззрению») с его определенностью и ясностью, земной «жизненностью» мировосприятия. В Батюшкове-романтике преобладало светлое жизнеутверждающее начало, «светлый и определенный мир изящной эстетической древности», жажда «наслаждения прекрасным», «изящный эпикуреизм» — и все это обретало ясные и яркие художественные формы.

Имена Жуковского и Батюшкова, по словам Белинского, «всегда как-то вместе ложатся под перо критика и историка русской литературы». Между этими почти одновременно явившимися яркими звездами романтизма много общего, их роднит, в частности, и то, что «после Жуковского Батюшков первый заговорил о разочаровании, о несбывшихся надеждах, о печальном опыте». Но Белинский отмечает и то еще более существенное, что отличает двух романтиков начала XIX века: «Но не одни радости любви и наслаждения страсти умел воспевать Батюшков: как поэт нового времени, он не мог в свою очередь не заплатить дани романтизму. И как хорош романтизм Батюшкова; в нем столько определенности и ясности! Элегия его — этой ясный вечер, а не темная ночь, вечер, в прозрачных сумерках которого все предметы только принимают на себя какой-то грустный отпечаток, а не теряют своей формы и не превращаются в призраки».

Если Жуковский первый вдохнул в русскую поэзию «душу живу», то Батюшков «дал ей красоту идеальной формы», начал возводить романтику «до художественности в форме». В связи с этим Белинский отмечает «пластицизм форм», «скульптурность», «упругость»,

«сладоствую» звукозапись, «гармоничность» как характерные особенности стиха Батюшкова: «Стих его часто не только слышим уху, но и видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».

Отличие Батюшкова от Жуковского заключается не только в огромном его вкладе в эстетическое развитие русского романтизма, но и в значительно большей близости Батюшкова к действительности: «Направление и дух поэзии его гораздо определеннее и действительнее направления и духа поэзии Жуковского». В поэзии Батюшкова, по мнению Белинского, именно «на почве действительности и в сфере действительности «русская поэзия хотела явить первый результат своего развития». «Органическая жизненность» поэзии Батюшкова включается в важную для великого критика концепцию движения русской литературы к реализму.

Белинский настойчиво напоминает об особой заслуге Батюшкова, который «много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно». Право же, трудно не согласиться с критиком: одной этой заслуги достаточно, чтобы имя «учителя Пушкина» сияло в истории русской литературы. При этом обратим внимание не столько на батюшковское начало в ранней «лицейской» лирике Пушкина, сколько на Батюшкова-художника, на самобытность его личности и поэзии. Батюшков не только передал Пушкину «почти готовый стих», он готовил и тот переход к реализму, который совершил в русской литературе Пушкин.

Белинский не проходит мимо этого обстоятельства, утверждая, что поэзия Пушкина, как и поэзия Батюшкова, «вся основана на действительности». Пушкин сделал значительно более крупный шаг для развития русской литературы, он ушел от Батюшкова неизмеримо дальше, чем Батюшков от своих предшественников. Но «переходность», «незавершенность» поэтических открытий Батюшкова стала и Белинскому видна только с высот великих достижений Пушкина. И критик достаточно хорошо осознавал это обстоятельство, считая, что, родись Батюшков «не перед Пушкиным, а после него, он был бы одним из замечательных поэтов, которого имя было бы известно не в одной России»: «Несчастливая болезнь парализовала его талант и деятельность именно перед тем временем, когда на небосклоне рус-

ской поэзии возшло се великое светило, которое не могло бы не иметь на него сильного и благодетельного влияния...».

Белинский в суждениях о Батюшкове нередко весьма субъективен и противоречив, о многом говорит предположительно, даже сомневаясь, цитирует поэта иногда неточно, по неисправным изданиям. Критику не были известны многие обстоятельства биографии поэта, еще оставалась неопубликованной значительная часть его литературного наследия... Но нельзя забывать и о том, что стремление определить место Батюшкова в истории русской литературы, предпринято было по горячим следам ее развития еще при жизни Пушкина или вскоре после его гибели. Жив был и сам замолчавший для литературы Батюшков...

II

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде 18 (29) мая 1787 года в старинной, но к тому времени обедневшей дворянской семье. Его предки были людьми образованными и служили Московскому государству многую службу. Семен Батюшков ходил в середине XVI века послом в Молдавскую землю, Матвей — участвовал при Алексее Михайловиче в войне с Польшей, а затем — с Турцией, его внук Андрей Ильич служил бригадиром при Петре Первом и был, по словам поэта, человеком твердого духа и крутого нрава. Дед поэта Лев Андреевич избирался от дворянства Устюжны в Комиссию по составлению проекта нового уложения. Его брат Илья служил в конной гвардии, но подвергся опале за худые речи и за умысел свергнуть с престола Екатерину II. Это тяжко отразилось на судьбе Николая Львовича Батюшкова, отца поэта. Пятнадцатилетнего солдата Измайловского полка привлекли к следствию по делу опального дяди. Позже не мог он продвигаться по службе и после недолгого пребывания прокурором в Вятке вышел в отставку.

Поселился Николай Львович под Устюжной, в родовом поместье Даниловском. Здесь и провёл он большую часть жизни, редко показываясь в Вологде, а в столице — и того реже, став суровым и раздражительным «провинциальным медведем». И вместе с тем Николай Львович был весьма просвещенным для своего времени человеком. Большой знаток и любитель французской

философии и литературы, он имел в даниловской усадьбе богатую библиотеку, картинную галерею, дал детям хорошее образование.

Мать поэта происходила из старинного рода вологодских дворян Бердяевых. Вскоре после рождения сына она лишилась рассудка и умерла в Петербурге, вдали от детей.

Детство будущего поэта прошло в Даниловском, в окружении сестер. С помощью старшей из них — Александры приобщился к грамоте. Свое сиротство побавившийся сурового отца мальчик переживал больно и тяжело, и позже в элегии «Умиравший Тасс» выражал свои чувства: «Отторжен был судьбой от матери моей, от сладостных объятий и лобзаний, — ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!».

Юный Батюшков, надо полагать, не очень огорчился, когда в 1797 году отец отвез его в Петербург и поместил в частный пансион француза Осипа Жакино. Здесь, а затем в другом пансионе — итальянца Ивана Триполи — Батюшков получил образование не слишком обширное, но дополненное собственной жадной к знанию.

Юноша обучается музыке, рисует и лепит, много читает, особенно сочинения русских писателей Кантемира, Сумарокова, восхищается Ломоносовым, изучает французский, итальянский и немецкий языки, а позже принимается и за латынь, чтобы знакомиться с римскими авторами в подлиннике. При заботливом поощрении Михаила Никитича Муравьева пробует свои силы в поэзии.

Батюшков признавался впоследствии, что этому «редкому человеку» добрейшего сердца, обширной учености он обязан своим классическим образованием. Глубокий след в душе юного Батюшкова оставили и нравственные принципы его наставника, немалое влияние оказал он и на формирование литературных вкусов своего ученика. Под началом именитого родственника делал Батюшков и первые шаги на службе в министерстве народного просвещения, а живя в его доме, свел первые литературные знакомства.

В гостиной М. Н. Муравьева Батюшков встречается с Г. Р. Державиным, В. В. Капнистом, Н. А. Львовым, А. Н. Олениным, а позже уже в оленинском литературном салоне знакомится с И. А. Крыловым, В. А. Озеровым, А. А. Шаховским. Сослуживцами Батюшкова ста-

ли молодые литераторы Н. И. Гнедич, И. П. Пнин, Н. А. Радищев, Д. И. Языков. Со многими из них установились дружеские отношения. В этом же кругу были и его земляки, литераторы и издатели Н. П. Брусилов и Н. Ф. Остолопов. В 1805 году Батюшков вступает в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» и оказывается в кругу передовых людей своего времени, продолживших демократические традиции А. Радищева и сохранявших уважение к автору «Путешествия из Петербурга в Москву».

Не столь еще многочисленные первые литературные опыты Батюшкова складывались в русле традиций только что минувшего века. Вступив на литературное поприще в переломное время, юный поэт подражает то сентиментальной лирике М. Н. Муравьева, то классицистическим одам Г. Р. Державина: «О, сладостна мечта, дочь ночи молчаливой, сойди ко мне с небес...», «Ты в душу нежную поэта, лучом проникнув света, горишь, как огонь зари, и красишь песнь его, любимца чистых сестр...», «Но бури страшные и громы ты смиряешь и благость на земли реками изливаешь», «За счастьем мы бежим, но редко достигаем, бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!»

Образцы древности классической уживаются с поисками своего «русского склада» стиха, послания перемежаются сатирами, персонажи античной мифологии сменяются сатирическими персонажами Безрифминым, Глупоном, Плаксивиным, Сердечкиным, Сплетниным... В них угадываются бездарные стихотворцы начала века, смело обобщаются неприемлемые юным поэтом литературные явления.

Особенно привлекательна личность самого юного певца мечты. Правда, он еще склонен скрываться за общими сентенциями («Мечтанье есть душа поэтов и стихов», «Но счастью певцов удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойство»). В противоречиях между сердцу льстящей сладостной мечтой и реальной жизнью поэту видится свет «несносной правды». И вот уже высокие гражданские чувства звучат в его полных сатирического накала стихах:

Я людям ввек не льстил, не хвастал и собою,
Не лгал, не сплетничал, но чтил, что должно чтить.
Святая истина в стихах моих блистала
И музой мне была, но правда глаз нам жжет.

• Зато фуртуна мне, к несчастью, не ласкала.
 Богаты подлецы, что наполняют свет.
 Вооружились все против меня и гнали
 За то, что правду я им вечно говорил.
 Глупцы не разумом, не честностью блистали,
 Но золотом одним. А я чтоб их хвалил!..
 Скорее я почту простого селянина,
 Который потом хлеб кропит насущный свой,
 Чем этого глупца, большого господина,
 С презрением давит что людей на мостовой!

Этими строками он стал близок автору «Путешествия из Петербурга в Москву», за эти строки поэты-радикалы приняли его в свою среду. Высоко оценивая деятельность их главы И. П. Пнина, который разделил долю несчастных, «пером от злой судьбы невинность защищал», сам Батюшков стремится быть «согражданам полезен».

Рано стал ненавистен поэту «большой свет», «свет кинкетов» — холодный и ничтожный, скучный и глупый, но его герой лишь мечтает порвать с этим светом, скрыться от него и вкушать тишину после бури под мирной кровлей хижины своей. В послании «К Филисе» поэт, убежденный в том, что «спокойствие есть счастье, совесть чистая — сокровище, вольность — дар святых небес», живо рисует картину своей тихой обители:

Ветер воев всюду в комнате
 И свистит в моих окончинах,
 Стулья, книги — все разбросано:
 Тут Вольтер лежит на библии,
 Календарь на философии;
 У дверей моих мяучит кот,
 А у ног собака верная
 На него глядит с досадою.
 Посторонний, кто взойдет ко мне,
 Верно скажет: «Фебом проклятый,
 Здесь живет поэт в унынии».

А еще важнее создаваемый здесь облик самого поэта. Непримируемый к несправедливости, он восклицает:

Независимость любезную
 Потерять на цепь золочену!
 Я счастлив в моей беспечности,
 Презираю гордость глупую,
 Не хочу кумиру кланяться
 С кучей глупых обожателей.
 Пусть змиею изгибаются
 Твари подлые, презренные,
 Пусть слова его оракулом
 Чтут невежды и со трепетом
 Мановенья ждут руки его!

И поэт, что «горесть люту терпел от рока и людей», познал в печальной юности неверность и обман, теперь готов расстаться с иллюзорной мечтой. Он с грустью признается: «На свете все я потерял, цвет юности моей увял», но его еще греет надежда «найти святое дружелюбие», сохранить святую совесть, познать большие истинные чувства:

Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастье сердцу внятен!

В «Совете друзьям», в посланиях к Гнедичу звучат не только призывы любить забавы юности, наслаждаться жизнью, «искать веселья и забавы», мечтать «во сладкой неге», но и сознание скоротечности жизни, неумолимости времени, тоски по утраченному.

Ищет юный поэт и свой «поэзии язык». Вслед за славным Тассом он видит то мрачный ад, то счастья чертог, то дивный сад, то слышит треск и гром, то стон и крик... Искренне его признание:

Никак я не могу *одним* доволен быть,
И лучше розы мне на терны поменять,
Чем розами всегда *одними* восхищаться.

Это были первые шаги в исканиях молодого Батюшкова, первые опыты, им еще не хватало зрелости. Предстояло окунуться в жизнь, освободиться от подражательности, найти себя, обрести свой голос, свои самобытные интонации.

III

В начале 1807 года в жизни Батюшкова происходит резкая перемена, он становится воином, записывается в ополчение и как сотенный начальник Петербургского милицейского батальона совершает свой первый поход в Восточную Пруссию. С тех пор жизнь его полна скитаний, непоседлива, беспокойна. Она несет ему и живой опыт, и яркие впечатления, и познание святого воинского дружелюбия, и упоение битвы с врагом, и тяжелые удары судьбы. С тех пор он «ни одного дня истинно покойного не имел», а позже писал другу: «Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость ду-

шевная и телесная, одним словом, — вечное беспокойство: вот моя история»¹.

Вместе с батальоном своих стрелков Батюшков участвует в преследовании отходящего корпуса Нея, при столкновении русской армии с главными силами Наполеона под Гейльсбергом получает ранение в ногу. Переведенный после выздоровления в гвардейский егерский полк, он вместе со своим другом Иваном Петиным отправляется на новую кампанию в Финляндию, участвует в войне со Швецией, в боях у Индельсальми, в походе на Улеаборг, в экспедиции на Аланские острова. Когда армия Наполеона вступила в Россию, поэт вновь и не без труда добился зачисления на военную службу, определился адъютантом к генералу Н. Н. Раевскому, участвовал в боях под Дрезденом, в сражении под Лейпцигом, во взятии Парижа...

Полностью отдаться творчеству Батюшков может теперь только в перерывах между походами и участием в сражениях, и это рождает горькие сомнения в истинности таланта, в своем предназначенье: «Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет».

Во время прусского похода скончался один из самых близких Батюшкову людей, его наставник М. Н. Муравьев. Во время похода в Финляндию не стало сестры Анны. Скоротечным оказалось увлечение Эмилией Мюгель, не принесла счастья любовь к Анне Фурман. Ожидают поэта неприятности и дома, в Даниловском. Вторичная женитьба Николая Львовича послужила причиной раскола в семье. Батюшков и его незамужние сестры порывают с отцом, переселяются в имение своей покойной матери Хантоново, крохотное сельцо в ста с лишним верстах от Вологды, в Череповецком уезде.

Сюда под «гостеприимную тень отческого крова» возвратился Батюшков из первого своего похода в Пруссию, а затем и после участия в других войнах и сражениях. Сюда шли его письма к сестрам, адресовались послания его литературных друзей. Отсюда совершал он поездки в старую и новую столицы, редкие выезды к родную Вологду. Здесь всегда находил поэт отдохнове

¹ Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1886, т. III, с. 272. В дальнейшем все письма поэта цитируются по этому изданию.

ние и прибежище от ударов судьбы. Здесь переживал он и одиночество, и дни томительной тоски, и счастливые минуты вдохновения. Случилось так, что здесь создал лучшие свои произведения в стихах и прозе, вступил в зрелый период своего творчества.

Совсем ветхий, готовый развалиться барский дом с балконом, флигелем, беседкой в саду утопал в зелени. За лесом плескались волны Шексны, а вокруг ютились нищие крестьянские избы. Запущенное имение закладывалось и перезакладывалось, старосты и плуты-приказчики постоянно обманывали сестер поэта, а сам он в хозяйство не вникал. Из походов сюда приходили его советы сестрам построить новый дом или хотя бы флигель, а для себя просит «убрать баню... и обить ее обоями». Сам же он, возвращаясь «под тень домашних богов», интересуется только садом, охотно ухаживает за цветами и почти не общается с соседями-помещиками, довольными своими застойными буднями.

«К кому здесь прибегнуть музе? — жаловался поэт своему другу Гнедичу. — Я с тех пор, как с тобою расстался, никому даже и полустигшия, не только своего, но и чужого не прочитал. С какими людьми живу!»

Батюшкова здесь считают лентяем, и поэт с горькой иронией замечает, что если бы он «строил мельницы, пивоварни, продавал, обменивал и исповедовал, то верно бы прослыл честным и притом деятельным человеком». Но никто не знает, что он «целые ночи просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает». Впрочем, поэт «безвестностью доволен в *сабинском домике*» своем: «У меня покой теплы, для общества есть три собаки».

Окружающую деревенскую обстановку Батюшков шуточно представляет своему другу в образах древнегреческой мифологии: «Я отворил окно и вижу: нимфа Ио ходит, голубушка, и мычит бог весть о чем; две Леды кричат немилосердно. Да посмотри... там в тени... бараны, может быть, из стада царя Адмета...»

Друзья обмениваются стихотворными посланиями, Батюшков настойчиво зовет Гнедича в Хантоново: «Приезжай лучше сюда: решишь — и дело в шляпе!

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,
И фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут...
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристаллы ручейки,
И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья наострят носаты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки,
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество — погибнет все с тоски!..

Особенно одиноко и тоскливо стало холодной и дождливой осенью 1809 года. В саду завял любимый китайский мак, в доме затопили камин, время превратилось в непомерную тяжесть «со свинцовыми крыльями», и заскучавший поэт сообщает Гнедичу, что вокруг зла и глупости больше, чем добра и ума: «В доме у меня так тихо; собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу; и книга падала из рук...»

«Скука», «душевная пустота» пугает поэта, от такой жизни он боится сойти с ума. Правда, можно было бы выехать в Вологду, но что там делать? «Здесь я по крайней мере наедине с сестрой Александрой... по крайней мере с книгами, в тихой приятной горнице, и я иногда весел, весел как царь. Недавно читал Державина «Описание Потёмкинского праздника». Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение, все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собой людей, толпу людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?...» — «Оно, оно!..» — «Перекрестись, голубчик!..» Тут-то я насилу опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи! Прочитай, прочитай, бога ради, со вниманием: ничем, никогда я так поражен не был!».

Батюшков много читает, находит счастье в напряженном творчестве, занимается переводами с итальянского, и мудрый Тибулл, трагический Тассо входят в его жизнь. Он вспоминает пережитое в походах и боях, битву под Гейльсбергом, хладные поля Финляндии — чужбину, где «в думу погружен, о родине мечтал», скучает о Петербурге, ждет писем от друзей и с жадностью набрасывается на известия о литературной жизни столи-

цы. Он не только «перемарывает старые грехи», так переправляет стихи свои, что «самому любо».

В это время Батюшков работает напряженно, пишет «целые груды» в прозе, десятки оригинальных стихотворений, посланий, эпиграмм и посвящений, создает одну из лучших своих сатир — «Видение на берегах Леты». Сатира эта, быстро распространившись в литературных кругах старой и новой столицы, произвела большой шум, сделала Батюшкову имя, но создала и немало врагов. В ней едко и остроумно высмеяны литературные старожеры, уныло вздыхающие романтики, слепые подражатели иностранным образцам. Это было активное вмешательство поэта в литературную жизнь своего времени.

На суд истории здесь прибывают в повозке, запряженной сочленами-клячами, поэты «истинно варягоросский» во главе с адмиралом Шишковым («Аз есмь зело *Славенофил*»). Они кичатся «терпением, потом и трудами», но угрюмый судья Тредиаковский указывает им путь в Лету. И только великий и скромный Крылов, явившийся «в широком шлафроке издранном» с малой толикой своих комедий и басен под рукой, не мог быть предан забвению. Лета не поглотила его сочинения, и он «забыв житейско горе, пошел обедать прямо в рай».

В свое время биограф Батюшкова склонен был считать «Видение на берегах Леты» наивным увлечением поэта, безделицей, шуткой, сатирической шалостью, недостойной его большого, вступившего в зрелость таланта. На самом же деле едкая сатира эта достаточно четко определяла эстетические позиции поэта, была его активным наступлением на литературную реакцию.

Сам Батюшков считал в это время, что делает «исполинские успехи» в творчестве, а по поводу «Видения» писал Гнедичу: «Каков Глинка? Каков Крылов? Это живые портреты, по крайней мере, мне так кажется... Скажи мне, не читал ли Шишков, сидящий в дедовском возке? Что, бранят меня? Кто и как, отпиши чистосердечно. Заметь, кто всех глупее, тот более и прогневаётся».

Но о том, что «Видение на берегах Леты» литературные старожеры восприняли как нападение серьезного противника (прогневался даже Державин), Батюшков узнал только в Москве, куда его давно звала Катерина Федоровна, вдова М. Н. Муравьева и где он появился в самый разгар борьбы между шишковистами

и карамзинистами. Здесь он встретился со старыми петербургскими знакомыми Л. Н. Львовым, Н. А. Радишевым, дальним своим родственником И. М. Муравьевым-Апостолом, познакомился с известным врачом и земляком М. Я. Мудровым и с особой радостью разделил общество с боевым другом, сослуживцем по двум походам Иваном Петиним.

В московских литературных кругах автора нашумевшей сатиры «Видение на берегах Леты» встретили поразному. Самые близкие дружеские отношения устанавливаются у него с П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. Знакомится он и с самим Н. М. Карамзиным, встретившим автора сатиры с большой похвалой.

«Я гулял по бульвару, — рассказывает Батюшков Гнедичу в письме от февраля 1810 года, — и вижу карету; в карете барыня и барин, на барыне салоп, на барине шуба, и на месте галстуха желтая шаль. «Стой!» И карета «стой». Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым. Кто же лезет? *Карамзин!* Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный, как тень. Он меня очень зовет к себе: я буду еще на этой неделе...»

Войдя в круг ближайших последователей Карамзина, поддержанный и ободренный ими, Батюшков на какое-то время склонен был вспыхнуть в своих эпикурейских взглядах на жизнь. Вместе с тем близость с людьми состоятельными, богатая обстановка Остафьевского имения Вяземского, где нашел приют и наш поэт, дали возможность почувствовать ему, бедному дворянину без чинов и званий, непрочность своего положения. Ни к чему не привели и хлопоты о дипломатической службе, и он, не желая, чтобы новые друзья поколебали его решимость вернуться в хантоновское уединение, покидает Остафьево внезапно и летом 1810 года совсем больной возвращается в деревню.

Снова потянулись однообразные дни сельской жизни, ожидание писем от новых московских друзей и вестей из Петербурга от охладевшего после сближения Батюшкова с москвичами Гнедича. Батюшков радуется, что «музы, музочки не отстают и от больного», много и усердно работает над стихами и прозой, переделывает свою юношескую элегию «Мечта», переводит сонеты Петрарки «На смерть Лауры» и «Вечер», пишет «ста-

ринную повесть» «Предслава и Добрыня», первый свой и единственный опыт сюжетного повествования...

Повесть увидела свет в горестные для поэта дни в «Северных цветах» за 1832 г.д. Снабжена она была лестным примечанием: «Повесть сия сочинена Батюшковым в деревне (1810 года) и подарена одному любителю словесности, которому свидетельствуем искреннюю благодарность за доставление сей рукописи и за позволение напечатать оную. Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности, может быть, скажут, что в ней не видно древней Руси и двора Владимирова; как бы то ни было, но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в других его произведениях, и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом».

Слова эти приписывали А. С. Пушкину. Если это так, то Белинский не согласился со своим кумиром и прежде всего из-за отсутствия в повести подлинного историзма, из-за налета слащавой сентиментальности.

Творческий порыв увядал так же стремительно, как стихийно налетал.

Постоянные недуги, заботы о средствах к существованию угнетали Батюшкова.

«Я насилу пишу тебе: лихорадка меня замучила, — сообщает он Гнедичу из Вологды в декабре 1810 года. — Кстати, я советовался здесь с искусным лекарем... Он пощупал пульс, расспросил о болезни и посмотрел мне в глаза: «Вы, конечно, огорчаетесь много; я вам советую жить весело: это лучшее лекарство». Я ему засмеялся в глаза. Это лекарство, конечно, не выписывается из аптеки, а если оное есть в Петербурге, то пришли мне его на рубль».

А пока поэт живет в Вологде, «с пустой головой и почти с пустым карманом», начинает выздоравливать, но умирает от скуки, не находя в этом, по его словам, «болоте» близкой себе умственной жизни. Он не находит здесь людей, с которыми мог бы поделиться мыслями, поговорить о поэзии.

Судьба разочарованного и неудовлетворенного жизнью поэта — на его глазах не раз разбивались пыльные юношеские мечты и надежды — во многом как бы предвосхищает судьбу «героя нашего времени», определявшего искания русской литературы чуть ли не пол-

столетия. Разочарование и неудовлетворенность, печаль и тоска, горячее желание «быть полезным обществу, себе и друзьям», тяжкое осознание своей ненужности, никчемности гонят Батюшкова из деревни в Москву, из столичного Петербурга — в губернскую Вологду, из нее — снова в деревню. Не успевает поэт оглянуться, как в круговороте московской жизни иссякают его скромные средства. От поездки в Петербург пришлось отказаться и снова поспешить в свое Хантоново, на берега Шексны...

Встреча с московскими друзьями на этот раз вырвала поэта из хандры, вселила веру в свои силы. Правда, необходимость прожить всю зиму в деревенском одиночестве угнетает его, и все-таки эти долгие месяцы жизни в Хантонове (вторая половина 1811 года) оказались творчески самыми насыщенными. Среди «дикости лесов», на «земле клюквы и брусники» рождаются новые замыслы, пишутся прекрасные, доставляющие радость самому поэту стихи. Батюшков сообщает, что «завален книгами и снегом» — много читает, изучает философию. Он шлет своим друзьям веселые письма, шуточные послания, новые переводы, интересуется литературными новостями, просит прислать новые стихи и книги любезного ему Крылова, бранит Шатобриана за мистику, поповщину, ипохондрию...

С особым увлечением работал в эти месяцы Батюшков над своей «Прогулкой по Москве», ставшей вскоре знаменитой как яркий образец чистой русской прозы. С очень близким человеком делится здесь поэт впечатлениями от недавней встречи с Москвой. Живо и сочно рисует он разительные контрасты «величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте».

Приглашая друга на прогулку в Кремль, откуда открывается величественная панорама, — «чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противоположность видов городских с сельскими видами», автор на каждом шагу этой прогулки не устает восклицать: «...это исполинский город, построенный великанами; башня на башне, стена на стене, дворец возле дворца! Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности, тщесла-

вия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людскости и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска или живая картина нашего отечества». И тот, кто, по словам Батюшкова, «не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того... чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении...».

Но почему так причудливо переплетаются в Москве древние русские обычаи с уродливыми европейскими модами, отчего «забавные москвичи» «все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются?» На Кузнецком мосту особенно «большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных и причесанных...» Вот — пожилой человек в шпорах, оказывается он «живет на конюшне, завтракает с любимым бегуном и ездил нарочно в Лондон, чтобы посоветоваться с известным коновалом о болезни своей английской кобылы».

Автор «Прогулки по Москве» ведет своего друга то рядами бесчисленных русских лавок, где торгуют товарами «безобразной словесности», как торгуют рыбой, мехами и овощами, то заводит в иностранные книжные лавки, где видит груды французской макулатуры — «достойное чтение тупого невежества, бессмыслия и разврата», то выходит на «жалкое гульбище» Тверского бульвара, то вводит в полную изобилия гостиную знатного и тупоумного барина, зевающего в праздности у каминна, то еще раз обращает внимание на социальные контрасты древней русской столицы:

«Взгляни сюда, счастливец! Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая обитель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, голодом и стужей — дети полунагие, мать за пряслицей, отец — старый заслуженный офицер в изорванном майорском камзоле — починивает старые башмаки и ветхий плащ, затем, чтобы поутру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба, а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, который посещает его больную дочь. Вот Москва, большой город, жилище роскоши и нищеты».

В этой прогулке по изнывающей в скуке предвоенной Москве важна каждая метко подмеченная автором деталь, каждый штрих, создающие вместе цельную кар-

тину, обретающую историческую конкретность и ценность. Замечательны живые, мастерски зарисованные портреты московских бар, признанных красавиц, кумушек и сплетниц, блестящих гусар, завязтых холостяков, присяжных болтунов, щеголей и щеголих, жалких чудаков, которые некогда играли важные роли в свете, мутили воду в делах государственных, а теперь бранят погоду, правительство, с большим успехом пузыряют воду палкою в пруду на бульваре, обращая на себя внимание столетних старух.

Автор «Прогулки по Москве» во многом предвосхищает то самое фамусовское общество, которое через какое-то десятилетие будет так метко обрисовано и ядовито высмеяно Грибоедовым в «Горе от ума». Недаром же Батюшков замечал, что «самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур», и обращал внимание литераторов на это обстоятельство: «Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды!»

В этот же период хантоновской жизни создает Батюшков знаменитое свое послание — «Мои Пенаты». Обращаясь к московским друзьям Вяземскому и Жуковскому, поэт опять, как и в «Прогулке по Москве», сталкивает роскошь и нищету. Он воспевает здесь свою скромную хантоновскую обитель, «отечески пенаты», которые «златом не богаты...»

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухляя скудель!
Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!

С каким накалом горделивой радости, с какой реалистической силой убеждает Батюшков, что к его убогой хижине во век не сыщется дороги богатство и суета,

«развратные счастливыцы», «придворные друзья», «надутые князья», но калека и слепой, седой старец и бывший воин могут смело постучать в двери и найти приют у жаркого огня.

А какие радости ждут поэта, когда воображаемая Лилета тайком пробирается в его скромное жилище...

Здесь, «в тени лесов густых», и поэтическое вдохновение охотнее посещает поэта и беседует с ним «в мирной сени». Здесь познаются и лучшие творения Ломоносова, Державина, Карамзина и произведения близких ему писателей Богдановича, Дмитриева, Хемницера, Крылова... Счастье своей «смиренной хаты» поэт хочет скрыть «от зависти людской» и только своих сердечных друзей Жуковского и Вяземского зовёт посетить его в деревенском уединении.

«Мои Пенаты» произвели впечатление не только на Вяземского, любителя нежных вакхических песен. Пройдет совсем немного времени, и Александр Пушкин заметит, что стихотворение это «дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения» и создаст под его впечатлением свой «Городок». Белинский почти целиком процитирует это «преlestное послание» Батюшкова и высоко оценит не только за поэтическое обаяние и мастерство, а за органическую жизненность, за ту реалистичность, которая этим и другими стихотворениями поэта определяла его самостоятельное место в литературе допушкинского периода.

Автору «Моиx Пенатов» не суждено было знать обо всем этом. Он славил «веселый час» наслаждения, призывал «полной чашей» испытать радость жизни, но сам познавал только ее горечь, томился в духовном одиночестве, метался в поисках службы, средств к существованию.

В начале 1812 года Батюшков покинул родные пенаты, и на этот раз — надолго. По крепкому зимнему пути он отправился в Петербург и вскоре занял место помощника хранителя манускриптов в Публичной библиотеке, стал сослуживцем Крылова и Гнедича. Однако события новой большой войны, продвижение Наполеона в глубь России вновь отрывают поэта от службы, заставляют тревожиться о судьбах близких ему людей. Он сопровождает в Нижний Новгород семью Муравьевых, советует сестрам перебраться в Вологду, где оказался и его московский друг П. А. Вяземский, сам дважд-

ды посещает Вологду, всякий раз с чувством боли проезжая через сожженную и разоренную Москву.

В послании «К Дашкову» Батюшков рассказывает о том, как «видел море зла и неба мстительные кары: врагов неистовых' дела, войну и гибельны пожары», как трижды с ужасом бродил по опустошенной Москве и везде встречал «лишь угли, прах и камней горы», груды мертвых тел и толпы нищих. Виденное вызывало не только слезы, но и жажду мщения. В полемике с другом рождалась и новая цельная жизненная и эстетическая программа:

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!..
Нет, нет! Талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! Пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты.
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

И Батюшков остается верен себе, своей открытой, совершенно бесхитростной позиции: надо писать так, как живешь, а жить, как пишешь. Эта позиция снова зовет поэта в строй, и он вместе с русской армией продвигает победный путь к Парижу.

«Пожар Москвы и опустошение России» навсегда, по словам поэта, поссорили его с Францией, и теперь на земле поверженного противника он проникается радостными чувствами национальной гордости. Истинное удовольствие доставляло видеть, как храбрые русские солдаты, перевязывая раны, выражали и его чувства: «Слава богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках! Мы отомстили за Москву!»

Поэт любовался нашими казаками на Аустерлицком мосту, русскими гренадерами перед Трояновой колон-

ной, у решетки Тюльери, перед Триумфальной аркой.. Полные достоинства, они не только не собирались жечь, грабить и резать напуганных французов, но и обращались с ними ласково и дружелюбно.

Летописцем этой войны, пробудившей национальное самосознание народа, Батюшков не стал; не запечатлел он и всех этапов победного движения русских полков через всю Европу. Вспоминая о минувшем и о себе, создавая образ тоскующего на чужбине по родине русского солдата и живой образ своего друга, храброго офицера Ивана Петина, рассказывая о «лучшем, может быть, из всей армии» генерале, «истинном герое» Николае Раевском, с которым сам поэт разделил все тяготы войны, Батюшков вспоминает и о других встречах на полях сражений. Ему на память приходят слова одного из славных генералов русской армии: «Быть весьма умным, весьма сведущим, не в нашей состоит воле; быть же героем в деле зависит от каждого». Уже в мирной тиши своего хантоновского уединения наш поэт стремится приложить эту мысль к нравственной природе человека: «...не в нашей воле иметь дарования, часто не в нашей воле развить и те, которые нам дала природа, но быть честным в нашей воле: ergo! Но быть добрым в нашей воле: ergo! Но быть снисходительным, великодушным, постоянным в нашей воле: ergo!»

Батюшков не был отчаянным храбрецом, не стал знаменитым героем, хотя мог и хотел им быть. Он мужественно перенес опасные и суровые переходы и переплеты войны, «добровольно хотел принести жизнь на жертву Отечества» и потому вместе с теми, кто разделил его судьбу, имел право сказать, как должно любить свое Отечество и ненавидеть невежество и тех патриотов — «славенофилов», тех «жалких декламаторов», которые «не любят и не умеют любить русской земли».

В стихах и прозе Батюшкова, в его воспоминаниях и полных великого воинского дружества письмах бьется чуткая отзывчивая душа «простого ратника» — честного, доброго, снисходительного и постоянного, — отважно сражавшегося за Родину, истинного ее патриота, благородного в непоказном своем «порыве национальности», полного тревоги за будущее России.

Не надо забывать и о том, что в это время прочно объединялись в Батюшкове нравственная чистота и благородство личности воина и поэта-художника большого

дарования, сумевшего не только развить его на полях сражений, но и употребить на раскрытие богатства души, трепетного мира своего современника.

Особой заслугой поэта можно считать, что он вырвал из забвения и сохранил на века образ Петина, своего друга и современника, незабываемый образ нравственно цельной личности человека и воина.

Батюшков и Петин — «два сердца сродные и способные чувствовать друг друга». Соединенные «нуждою победить», они имели общие мысли и надежды, «труды и беспокойства воинские» и огорчались, когда не могли разделить все это, даже завидовали друг другу.

Однажды Батюшков получил от своего друга письмо, написанное на барабане в канун Бородинской битвы. Его писал «истинно военный человек, созданный для сего звания природой и образованный размышлением». Он хладнокровно описывал «все движения войск, позиции неприятеля», но в конце письма заметно было нетерпение воина сразиться с врагом. Не мог и Батюшков сдерживать восхищенного обращения к Петину: «Счастливей друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы тебе любезной, а я не разделил с тобой этой чести! В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ...»

И как искренне радовался Батюшков встрече с другом. «посреди стана военного» после победы на высотах Кульма: «И окрестности Дрездена и Теплица, и живописные горы Богемии, и победа при Кульме, и подвиги наших спартанцев сливаются в душе моей с воспоминанием о незабвенном товарище».

После гибели Ивана Петина в «битве народов» под Лейпцигом Батюшков писал его матери: «Сладостно и приятно помыслить, что на том поле славы и чести, на том поле, где русские искупили целый мир от рабства и оков, на поле, запечатленном нашей кровью, русский путешественник найдет прекрасный памятник, который возвратит ему имя храброго воина, его соотечественника, и почитет его память, драгоценную для потомства! Я исполню то, что обещался на могиле храброго Петина, и счастливым назову себя, если вы не отринете мое предложение, усердием и дружбою внушенное...»

Более того, силой своего проникновенного таланта и трепетно-благородной любви Батюшков создал своему другу памятник в стихах и прозе, вылепив образ храб-

рого и отважного, усердного и трудолюбивого русского офицера, человека редкого добродушия, верности воинскому долгу и святому дружеству. Так родилось знаменитое стихотворение Батюшкова с эпиграфом из римского поэта Проперция: «Души усопших не призрак; не все кончается смертью; Бледная тень ускользает, скорбный костер победив».

В то время, когда поэт прощается с Англией («Я берег покидал туманный Альбиона...»), находясь уже в мечтах «под небом сладостным отеческой земли», является тень незабвенного друга, оставленного на поле брани, в центре Европы:

И я летел к нему... Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
Исчез — и сон покинул очи.
Все спало вокруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казались безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны.
Но сладостный покой бежал моих очей,
И вся душа за призраком летела,
Все гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

Высоко ценил это стихотворение Пушкин, оставив о нем свои восхищенные слова: «Прелесть и совершенство — какая гармония!». Но и сегодня мы с еще большим восхищением воспринимаем вложенные в эти стихи чувства великого сострадания, нравственной чистоты, сердечной сродненности поэта и его героя.

Вернувшись на родину, Батюшков еще не раз, размышляя о долге и дружестве, вечности и бессмертии, потревожит тень своего друга: «Имя молодого Петина изгладится из памяти людей. Ни одним блестящим подвигом он не ознаменовал течения своей краткой жизни, но зато ни одно воспоминание не оскорбит его памяти. Исполняя свой долг, был он добрым сыном, верным другом, неустрашимым воином: этого мало для земного бессмертия...» И все-таки поэт сохранил Петина в памяти людской, обессмертил своего друга. За ним встают сотни и тысячи других безымянных героев своего времени.

Вместе с тем Батюшков создал не одну живописную батальную картину, в которой воспевал русских воинов как освободителей Европы. Он считал, что «сражения новейшие живописнее древних, и потому более способны

к поэзии». Ночные биваки, динамика и многоголосие движения войск, эпическая панорама сражений, психологически тонко подмеченные детали батальных сцен — все это увидено зорким глазом очевидца и запечатлено во всей сочности красок и богатстве звуков большим художником: «Из снега выросли бесчисленны шатры, и на берегу зажженные костры все небо заревом багровым обложили»; «в пустой дали сгущенных копий лес возникнул из земли»; «Гремят щиты, мечи и брони, и грозно в сумраке ночном чернеют знамена, и ратники, и кони...»

А вот она — русская атака после томительного ожидания «с рассветом дня кровавой драки», вот он — первый топот коней по утренним росам, протяжный грохот ружей, вот он — клич: «Стрелки, вперед! Сюда, донцы! Гусары! Сюда, летучие полки...», вот он — голос самого поэта, сверкающий всеми гранями большого таланта:

Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте, ядра и картечи!..
И вот... о зрелище прекрасно!
Колонны сдвинулись как лес.
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! И все сломили,
Рассеяли и разгромили.
Ура! Ура! И где же враг?..
Бежит, а мы в его домах...

В одном из писем Гнедичу вступление русских полков в поверженную Францию выглядит скромно и буднично, рассказывает о том, как построили мост через Рейн и как гренадеры с криками «ура» перешли его. А через несколько лет в знаменитой элегии «Переход через Рейн» с подлинно исторической пронизательностью, на высоком пафосе национального самосознания выразится народная сущность этого события. Силой поэтического обобщения создается здесь живописная картина победного движения русских воинов, мощи их оружия. Но еще важнее та неизбывная радость лирического героя, с которой он взирает на огромный лагерь русских войск у высоких холмов древней реки.

Пылают костры над Рейном, слышен стук секир, раздаются клики воинов, затачивающих стальные штыки, завершаются приготовления ратников и грозных конников. Где-то совсем рядом с собою, на том же высоком берегу поэт успеваает разглядеть одинокого задум-

чивого всадника. Опершись на копье, он вспоминает родные края — «И на груди свой медный крест невольно к сердцу прижимает...

Но вот уже вновь звучит вдохновенный голос эпического певца:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Мы здесь, о Рейн, мы здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
Ура победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей..
И се подвинулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется все войско;
И эхо вторит крик героической,
Досель неслышанный, о Рейн, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимной,
И мост под воями дрожит!
И враг, завидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

Да, здесь — эпическая поэзия самой высокой марки, и она пришлась по душе Пушкину, определившему эти строки как «лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное». Баталистические описания перехода через Рейн, проникнутые взволнованным голосом поэта, воспринимались как завоевания художника-реалиста.

В самый разгар лета 1814 года Батюшков возвратился из заграничного похода и так выразил свои переживания:

Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел, наконец, адмиралтейский шпир,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц
Для сердца моего единственных на свете!

«Дань сердца», «память сердца» — вот что преобладает в лирике Батюшкова этого времени. Воспитанный на античных примерах поэт был убежден, что «нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною жизнью воина». Воспоминания о дальнейших странствиях бывалого рат-

ника переплетаются с тревожными переживаниями лирического героя всего цикла стихотворений («Мой гений», «Разлука», «Таврида», «Пробуждение», «Воспоминания», «К другу» и др.).

Новые встречи поэта с Анной Фурман в доме на Фонтанке обостряли «память сердца», и образ любимой возник из нахлынувших воспоминаний («Я с именем твоим летел под знамя брани искать иль гибели, иль славного венца», «И в мире грозных битв, под тению шатров старался усыпить встревоженные чувства», «И образ милый, незабвенный повсюду странствует со мной»). Однако, возвратившись домой, «печальный странник» не находит покоя и счастья и с горестью восклицает:

Есть странствиям конец — печали никогда!
В твоём присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки...

Любовь его печальна, полна страданий, не даёт эту счастья, но она породила цельные выразительные стихи, в них выплеснулись трепетные чувства отверженного роком и вновь застигнутого жестоким жребием поэта («О, память сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной...») «Ничто души не веселит, души встревоженной мечтами, и гордый ум не победит любви — холодными словами»).

В год создания цикла этих лирических стихотворений Орест Кипренский писал портрет Батюшкова, создавал вдохновенный облик поэта и воина. Мы видим его на этом портрете сидящим в уютном кресле, ещё в военном мундире, но уже по-домашнему расстегнутом. Глаза Батюшкова остры и задумчивы, словно в удивлении приподняты брови. Он заинтересованно и внимательно слушает собеседника и вот-вот, кажется, сам начнет вспоминать, рассказывать о себе, об участии в боевых походах...

Поэт жадно впитывал в себя все новое в жизни и искусстве Петербурга и с неподдельным вдохновением рассказывал о том, что видел в Европе, охотнее всего обращаясь к повествовательным прозаическим жанрам («Путешествие в замок Сирей», «Прогулка в Академию Художеств»).

В это же время наш поэт принимает на себя издание «Эмилевых писем» М. Н. Муравьева, пишет вступитель-

ную статью к его сочинениям. Охотно общается Батюшков со старыми литературными друзьями. Возникают новые дружеские связи, а среди них — знакомство с молодым Александром Пушкиным.

Преследуют Батюшкова и неудачи, тяготят семейные неурядицы, болезнь и смерть отца, заботы о судьбе сестер, собственная неустроенность, даже отсутствие обычного пристанища... Он кочует по гостеприимным семьям своих петербургских родственников и друзей, навещает отца в Даниловском, живет короткое время в Хантонове, а затем отправляется к месту своей службы в Каменец-Подольск. Все это время в деревню идут письма с советами сестре строить новый дом, а по приезде приходится хлопотать о том, чтобы заложить имение в опекунский совет, выкупить имущество из ламбарда.

Наш поэт то подает в отставку, то хлопочет о новой службе, а на запросы сестры Александры о его женитьбе отвечает: «Об этом и думать не должно». В письмах его особенно часты жалобы на нездоровье и неустроенность («имею нужду в отдохновении», «могу служить примером неудачи во всем», «одне заботы житейские и горести душевные»).

«Скажи мне, — писал Батюшков Жуковскому, — к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям!»

После долгих скитаний в самом конце 1816 года Батюшков появляется на берегах Шексны под крышей нового дома в Хантоново, среди собраний сестрами и привезенных из Вологды любимых книг... Он с радостью объезжает родные леса и свои деревни, а потом раскладывает книги и принимается за стихи, сообщая друзьям, что живет «в снегах среди медведей, но духом посреди избранных»: «Я в снегах; около меня снег и лед; здоровье плохо, очень плохо, но я тружусь...»

Ранней весной он жалуется на пустоту в доме, на мрачное молчание кругом, на дождь и слякоть, а вскоре радуется, что у жителей городов есть все основания завидовать ему: «У меня беседка в саду, четыре опрятные веселые комнаты... с балкона вид прелестный: река, лес, одним словом: прелесть... А у вас и пыль, и слякоть, и стук карет...»

Всю эту долгую зиму и дождливую слякотную весну, преодолевая скуку и недомогания, «нервические приступы» и боли в раненой ноге, Батюшков много и напря-

женно работает. «Боль в груди отрывает меня от письменного стола, — сообщает он Вяземскому в марте 1817 года, — и это пишу стоя. Как стоя писать?.. Нога болит. Лежа не могу, а писать хочется. Изобретите новый способ, вы, люди умные... Болезнь мучит иногда, а беспрестанное уединение и дурная погода, и усиленные труды и последнее здоровье уносят».

Весна этого года оказалась слишком запоздалой и от того не менее радостной. В конце мая наш поэт убрал беседку по своему вкусу и целыми днями просиживал в саду, работая и размышляя... Здесь «под тению черемухи млечной и золотом блистающих акаций» писались строки «Беседки муз», рождалась надежда, что время жадное не тронет любимца муз, и певец, пусть в седилах, но с бодрою душою еще «придет вздохнуть в сени густой своих черемух и акаций».

Отсюда идут стихотворные послания Батюшкова к Никите Муравьеву, С. С. Уварову, А. И. Тургеневу, П. А. Вяземскому. Не оставляет поэт и своей переводческой деятельности («Гризельда» Боккаччо, «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, «Исступление Орланда (из Ариосто)», «Письма Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей»).

Особенно много сил взяла начатая еще в Москве подготовка к печати «Опытов в стихах и прозе». Завершается работа над элегией «Переход через Рейн», создаются «Умиравший Тасс», «Гесиод и Омир — соперники»... Многочисленные письма к Гнедичу полны советов и указаний по поводу издания «Опытов». Батюшков пересматривает и исправляет свои ранние стихи, некоторые из них переписывает заново, создает посвящение «К друзьям», которым открывает издание своих произведений.

Стремление «расширить область элегии» поэт осознает как новое направление в своей поэзии. Одним из опытов эпического повествования становится сказка «Странствователь и домосед», в которой страсть героя к скитаниям выражает мысли и чувства самого поэта, его неудовлетворенность российской действительностью, тоску по свободе.

Наиболее яркое выражение конфликт поэта с современностью находит в элегии «Умиравший Тасс». Судьба гонимого поэта, его трагическое одиночество предстают здесь не как явление античной древности, а как

явление живой жизни сегодняшней и вместе с тем как выражение собственного одиночества, страданий не имеющего пристанища певца. Эти же мысли Батюшков развивает и в исторической элегии «Гесиод и Омир — соперники», сталкивая духовные силы Гомера и безрадостную участь гонимого таланта, противопоставляя великого поэта «суетной толпе».

Это было время высокого творческого взлета Батюшкова, пришедшей к нему уверенности в самостоятельности и самобытности своего таланта. Поэт не только подводил итоги сделанному, но и смело прокладывал дорогу новому в русской поэзии.

IV

В Петербург Батюшков приезжает с четко определенным стремлением идти своим путем, с новыми большими замыслами. Его «Опыты в стихах и прозе» вышли в свет и хорошо встречены в литературных кругах, состоялось торжественное вступление поэта в литературное содружество «Арзамас». Частыми и все более дружескими становятся встречи с молодым Пушкиным, Окрыленный успехами Батюшков подталкивает и своих давних друзей Жуковского и Вяземского и молодого Пушкина на создание крупных поэтических произведений.

Нет недостатка в смелых замыслах и у самого Батюшкова. Его письма пестрят сообщениями: «У меня давно кое-что бродит в голове: собираю материалы», «хотел бы приняться за поэму», «в голове моей — сказка «Бальядера», «писать охота смертная»... Он просит Гнедича прислать ему новиковские «Славянские сказки», ключаревские издания «Древние русские стихотворения», «Бову Королевича», «Петр золотые ключи», «Ивашка — белая рубашка». Одно за другим возникают названия задуманных поэм — «Рурик», «Бова», «Ромео и Юлия», а сюжет поэмы «Русалка» тщательно разрабатывается и разбивается на песни. Батюшков охотно делится с Пушкиным своими опирающимися на народные сказочные мотивы замыслами, интересуется его работой над поэмой «Руслан и Людмила».

Мысль о создании книги по истории русской словесности особо занимает нашего поэта, который намеревается показать читателям «ее рождение, ход, сходство и

разницу ее от других литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших». Он составляет обстоятельный план этой работы, читает Сумарокова, Хараскова, Державина, рассуждает о борьбе старых и новых нравов не только во время Кантемира и Новикова, но и в свое время, в начале нового века русской словесности. Он пишет статью о Ломоносове, задумывает книгу о Данте, его записная книжка наполнена выписками, замечаниями, высказываниями об античной римской и современной итальянской литературе.

«Собираю итальянские переводы в прозе, отборные места, — писал Батюшков Вяземскому, — и хочу выдать две книжки... Взял контрибуцию с Данте, с Ариосто, с Тасса, с Макиавелли и бедного Боккаччо и до новейших. Чем более вникаю в итальянскую словесность, тем более открываю сокровищ истинно классических, испытанных веками».

Занимается Батюшков и переводами из греческой словесности, создавая блестящий по выразительности цикл антологических стихотворений. Близок к нему и написанный по мотивам античной лирики цикл «Подражания древним». Открытое жизнелюбие, упоение земными радостями соседствует здесь с трагической безысходностью, одиночеством и гибелью.

Обращение к античной древности и на этот раз не уводило поэта от современности. В прошлом поэт искал то, что сближало разные исторические эпохи и их людей в общечеловеческих чувствах. Образ лирического героя антологических стихотворений Батюшкова живой реалистической зримостью, тонким и глубоким раскрытием переживаний близок к образу гонимого поэта его исторических элегий.

В других, лирических стихотворениях, завершавших творческий путь поэта («Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»), герой Батюшкова предстает как мыслитель, постигающий связь времен, тайны цивилизаций.

Циклы антологических стихотворений выражают тяготение лирики Батюшкова к философски емким раскрытиям мыслей и чувств поэта в сжатой афористической форме. Современники поэта высоко ценили эти циклы за совершенство версификации, за высокий уровень поэтического мастерства («какая гибкость, мягкость,

нежность и чистота!»¹), за «пылкий лиризм», за «исполнительскую силу выражения»².

Достигнув таких поэтических высот, филигранной отточенности своего мастерства, Батюшков тяготился су-етными буднями, ненавистной ему службой, постоянной заботой о существовании, униженным положением «сочинителя» в тогдашнем обществе. Он принимал посильное участие в борьбе за независимость личности поэта, за осознание ее значительности, ценности труда писателя. Мрачная российская действительность тяготила поэта, и он тяжело переживал конфликт с нею поэта-скитальца, не нашедшего своего места в жизни, лишнего человека, гонимого социальными неурядицами.

Батюшков вновь, уже в который раз, предпринимает попытку уехать за границу. Наконец-то он, получает назначение на дипломатическую службу секретарем русской миссии в Неаполе. 19 ноября 1818 года друзья и близкие поэта, среди которых был и Александр Пушкин, проводили его в дальнюю дорогу. Поэт покидал родину с большой печалью и с тревогой за свое будущее.

«Я знаю Италию, не побывав в ней, — писал он А. И. Тургеневу перед отъездом. — Там не найду счастья: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях мне драгоценных».

В письмах Батюшкова из Италии сквозит тоска по родине, надежда «возвратиться в отечество», «быть еще полезным гражданином». Тосковал он и по родным пенатам, считая, что в Хантонове «был гораздо счастливее». Из-под его пера выходят стихи, в которых мастерски выражены и одиночество, и мудрость героя, и его любовь к своей родине, к родной матери-природе:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов,
Тобой в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает слов
И как молчать об них — не знаю.

¹ Дмитриев И. И. Соч. СПб., 1893, т. 2, с. 260.

² Сын Отечества, 1820, № 23, с. 148, 149.

Поэзия Батюшкова всегда отличалась чутким восприятием природы. Чаще всего воспевалось веселое весеннее пробуждение жизни, «кроткий блеск лазури неба», «запах, веющий с полей», «быстрый бег коня ретива по скату бархатных лугов», родные реки и поля, пажити и рощи, «воды быстрые и полный мрака лес», «песчаный бор, река, пустынные воды», «веселых жаворонков пень» и «шум зимних вьюг...»

Батюшков отдает должное родной для него северной природе, которая стала колыбелью русского гения — Ломоносова:

В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась...

Как и его герои, поэт и в дальних странствиях «светила севера любезного искал», как и его героям, ему легче дышалось «под небом сладостным отеческой земли», всегда дорог был «отчизны милый край», «отчизны сладкий дым»:

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне
И в дебрях, и в снегах.
Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов.
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!
Ах! дайте мне коня;
Туда помчит он быстрым бегом
И день и ночь меня!

И в самом расцвете своих творческих сил Батюшков не переставал славить весну, цветение жизни, земные радости. Только в одном из последних своих стихотворений («Изречение Мельхисидека») человеческая жизнь предстает поэту в одних страданиях. Здесь мрачно прошлое героя, беспросветно его будущее. Но на этих стихах уже лежит печать душевной болезни поэта, оборвавшей его творчество на полуслове.

Вдали от родины наш поэт тяжело переживал творческий кризис, признавался в письмах своим друзьям: «...я вовсе не могу писать стихов» и даже «дал слово себе оставить литературу». Душевная депрессия нарастала. В один из таких мрачных дней все написанное за

последние годы уничтожается, а затем в остром припадке помешательства поэт сжигает и свою библиотеку.

Однажды в минуты душевного просветления Батюшков дал самому себе яркую по образности, но безжалостную характеристику: «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай, что в нем было!»¹

V

В родные вологодские края нашему поэту уже не суждено было вернуться в здравом рассудке. После долгих скитаний Батюшкова по лечебницам для душевнобольных болезнь поэта признали неизлечимой. Его привезли в Вологду и поместили в семье племянника Г. А. Гревенса. Здесь он и прожил вторую половину своей жизни, приходя в себя лишь изредка.

«Меня уже нет на свете», — писал Батюшков в самом начале своей тяжелой и страшной болезни. А Вяземский с грустью сообщал о своем друге: «И был он мертв для внешних впечатлений...».

Катились однообразные дни и ночи, тихая провинциальная Вологда жила изо дня в день обычной застойной жизнью. Больной поэт первое время почти не показывался на улице. Он подолгу стоял у окна, скрестив руки на груди, и смотрел на Софийский собор и кремлевские стены... Отторженный от мира душевной болезнью, он уже не мог знать того, что волновало мыслящую Россию. Среди декабристов, вышедших на Сенатскую площадь и переживших потом ссылки, каторгу, поселения в Сибири, были и друзья Батюшкова и его близкие родственники...

А на страницах различных журналов и альманахов продолжали писать о большом поэтическом таланте Батюшкова, высказывались суждения и о высоком месте поэта в русской литературе. Дважды за годы жизни больного Батюшкова в Вологде выходили в свет собрания его сочинений в издании Глазунова (1834) и Смирдина (1850).

В зенит своей славы взошел Пушкин, расцвела поэзия Лермонтова, громко заговорил неистовый Белинский, вы-

¹ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 8, с. 481.

соко чтивший задушенный временем талант Батюшкова. Рано оборвалась жизнь каждого из них. Одних друзей его не стало, другие издали интересовались судьбой товарища своей юности. Но об этом он не мог знать.

Петербургская и московская профессура проявила особое любопытство к больному поэту. Один за другим приезжают в Вологду А. В. Никитенко, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, и каждый считает своим долгом посетить Батюшкова. Но он никого не узнает, страшится любопытного взгляда. И все-таки Н. В. Бергу удается тайком сделать набросок с больного Батюшкова, стоящего у окна в любимой своей позе... И еще один оставшийся неизвестным художник запечатлел облик уже угасающего старика незадолго до его смерти. Больные глаза, скорбный, не совсем безучастный к жизни взгляд...

И действительно, временами Батюшкову становилось лучше, особенно на исходе жизни. Он перестал бояться людей, вновь начал проявлять интерес к книгам и поэзии, читал на память много стихов, особенно любимого Державина.

С весны Батюшкова часто видели на прогулках по вологодским бульварам или у реки, на Соборной горке. Летом он жил в деревне, собирал цветы, много рисовал, но преимущественно мрачные пейзажи. В последние свои годы чаще проявлял интерес к жизни, читал газеты, следил за событиями русско-турецкой войны, вспоминал свою юность, походы русской армии, в которых участвовал сам, боевых и литературных друзей...

Летом 1855 года Батюшков тяжело заболел, и 7 июля тифозная горячка оборвала его жизнь. Вологжане проводили в последний путь своего знаменитого земляка, большого русского поэта и похоронили его в древнем Спасо-Прилуцком монастыре.

На родине поэта и теперь чтут его память, живые цветы — всегда на его могиле.

НА СМЕНЕ ЭПОХ

В самом начале того года не стало Пушкина, жившего и раскалявшегося, по словам Вяземского, в «жгучей вулканической атмосфере» декабризма. Солнце русской поэзии закатилось, но ослепительный свет его гения продолжал озарять время, названное по праву пушкинской эпохой.

Нельзя забыть и того, что это было время самой жестокой николаевской реакции, когда живая свободная мысль, едва успев зародиться, гибла в духоте жестокости и деспотического произвола. Сколько искалеченных судеб, сколько погибших талантов! Но как и в природе, чутко воссозданной Пушкиным, увиденной во всем ее мудром величии, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», так и в литературе эти зори почти сходились, и заря пушкинской эпохи освещала раннее утро «гоголевского периода» русской литературы.

Среди этих вершин своего времени немало было и писателей, составлявших широкую ниву русской литературы с ее лоскутной чересполосицей, небольшими холмами и пойменными низами... Общественная мысль билась на этой тяжелой ниве, и ростки ее всегда тянулись к свету. Так было по всей стране, а в Вологде в то время, в год гибели Пушкина, оказались два разных писателя, освещенных этим временем и одновременно искалеченных им. Свет этого времени пал и на третьего вологжанина.

1. «СНЕ МОРЕ ВЕЛИКОЕ И ПРОСТРАННОЕ»

Всесильный шеф жандармов граф Бенкендорф сообщал 9 декабря 1836 года вологодскому губернатору генерал-лейтенанту Д. Н. Бологовскому: «Государь император высочайше повелеть изволил бывшего издателя журнала «Телескоп» господина Надеждина за помещение в 15-м номере оного журнала предосудительной статьи под заглавием «Философические письма» — выслать на жительство в Вологодскую губернию, в Усть-Сысольск, под присмотр полиции»¹.

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 16, л. 3. Наряду с этим архивным делом учтены документы жандармерии, опубликованные в кн.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909, Изд. 2-е, с. 459—461; Козмин Н. И. Николай Иванович Надеждин. 1804—1836. СПб., 1912, с. 544—552.

Кто же они — автор писем и их издатель, эти очередные жертвы Николая Первого, жестокого самодержавного властителя, снискавшего славу «европейского жандарма»?

Сыну бедного рязанского священника из села Нижний Белоомут на Оке Николаю Ивановичу Надеждину выпала в жизни судьба стать образованнейшим человеком своего времени. Можно сказать, что он — один из самых первых разночинцев в нашей литературе и не потерял в ней своего демократического облика. Провинциальный семинарист нелегко пробивался к знаниям и еще до поступления в академию свободно владел многими языками, увлекался историей и философией, изучением быта своего народа, знакомился в подлинниках с греческой и римской литературой. Защитив докторскую диссертацию о романтизме, он вступил в должность ординарного профессора теории изящных искусств и археологии Московского университета. Широтой научных интересов, глубиной мысли, всем обаянием своей личности Надеждин «возбуждал в студентах необыкновенный энтузиазм»¹.

В памяти Ф. И. Буслаева он запечатлелся «молодым человеком среднего роста, худеньким», «с вдавленной грудью, с большим и тонким носом, и с темными волосами, гладко спускающимися на высокий лоб». «Читая лекции, он всегда зажмуривал глаза, точно слепой, и непрерывно качался, махал головою сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистою речью, бойкою, рьяною, цветистою и искрометною, как горный поток»².

И как профессор, и как издатель журнала «Телескоп» и приложения к нему — «Молва» Надеждин сыграл огромную роль в литературном воспитании «молодой России». Наконец, еще на страницах «Вестника Европы» Каченовского он выступил как блестящий литературный критик. Его «Литературные опасения на будущий год» были замечены и по достоинству оценены Чернышевским и предшествовали «Литературным мечтаниям» Белинского, ставшего сотрудником и ближайшим помощником Надеждина по «Телескопу» и «Молве».

¹ Прозоров П. Белинский и Московский университет его времени (из студенческих воспоминаний). — Библиотека для чтения, 1859, т. 158, № 12, с. 10.

² Буслаев Ф. Мои воспоминания. М., 1897, с. 123—124.

На страницах этих изданий наряду с Пушкиным и Жуковским Надеждин охотно печатал молодых людей из университетского кружка Станкевича. Не случайно к его журналу потянулись Белинский, Аксаков, Бодянский, Огарев, Герцен и другие выдающиеся люди своего времени.

«Это был человек, — писал о Надеждине Иван Гончаров, — с многостороннею, всем известною ученостью по части философии, филологии. Его известная диссертация о классицизме и романтизме имела огромный успех и сразу сделала ему имя в ученой литературе. Потом он получил кафедру и основал журналы «Телескоп» и «Молву». Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым он вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима. Чего он только не касался в своих импровизированных лекциях!.. Он один заменял десять профессоров»¹.

— В своем журнале Надеждин выступал как историк, публицист, литературный критик. Особенно активно боролся он за народность литературы, отстаивал поэзию высокой мысли, требовал связи искусства с жизнью. Впервые заговорил он и о новом синтетическом искусстве, которое органически, по его мнению, должно было объединить классицизм и романтизм. Белинский считал, что Надеждин «был не совсем искренним поборником классицизма так же, как и не совсем искренним врагом романтизма». Отмечая противоречивость во взглядах своего предшественника, великий критик в то же время утверждал, что Надеждин многое сделал для развития русской критической мысли: «Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и римляне), ни романтической (ибо мы не палладины средних веков); но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию»².

В «Очерках гоголевского периода» Н. Г. Чернышевский посвятил Надеждину как одному «из замечательнейших людей в истории нашей литературы» немало места. Отмечая ограниченность взглядов человека боль-

¹ Гончаров И. А. Воспоминания. — Собр. соч. в 8-и т. М.: Гослитиздат, 1954, т. VII, с. 211.

² Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 4, с. 89.

шого ума и учености, Чернышевский считал, что Надеждин «первый дал прочные основания нашей критике», первый объяснил ей, «что такое поэзия, что такое художественное произведение», доказал, «что красота формы состоит в соответствии ее с идеею». Главнейшая заслуга Надеждина заключается, по его словам, в том, что он был «образователем автора статей о Пушкине»: «Белинский явился на литературном поприще сотрудником Надеждина как его ученик и продолжатель»¹.

Чего греха таить, Надеждину не суждено было поначалу глубоко разобраться в Пушкине, он мог позволить себе и довольно резкие выходки против его романтических поэм. «Наши пушкинисты до сих пор не могут без зубовного скрежета упоминать имя Надеждина, — писал его дальнзоркий и мудрый ценитель, пожелавший остаться неизвестным, — совершенно забывая о том, что суровая критика вовсе не исключает понимания великого дарования, а, наоборот, предполагает его. Пушкинисты насмешливо говорят: Надеждин был бездарен, он осмеивал Пушкина. Но они забывают другое, то, что, смеясь над байроническими поэмами Пушкина, над «Графом Нулиным», которые и сам поэт ценил позднее не очень высоко, Надеждин исходил из глубокого понимания могучего дарования Пушкина. Можно только сказать, что Надеждин действительно был лишен чувства меры. И когда появились «Борис Годунов», полный законченный «Евгений Онегин», прозаические произведения Пушкина, они встретили в Надеждине наиболее серьезного ценителя из современной критики»².

Резкий поворот в жизненной судьбе Надеждина связан опять-таки с Пушкиным, вернее, с именем его близкого друга П. Я. Чаадаева, давно уже заподозренного в связях с декабристами. Теперь его «Философические письма» потрясли всю мыслящую Россию решительным осуждением крепостничества и всего николаевского режима стали, по словам Герцена, «мрачным обвинительным актом» против него, прозвучали «выстрелом, раздавшимся в темную ночь»³. Автор письма «высо-

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т. М.: Гослитиздат, 1947, т. III, с. 140—143, 146—165, 177—179, 183, 186—191, 193—196, 225, 768, 770.

² Надеждин Н. И. — Лит. учеба, 1939, № 11, с. 92—93.

³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М.: АН СССР, 1956, т. IX, с. 139.

чайше объявлен сумасшедшим», журнал «Телескоп» запрещен навсегда, а его издатель арестован и доставлен в Петербург.

«Вскоре за тем, — пишет Надеждин в своей автобиографии, — произошел решительный переворот во всей моей судьбе, вследствие которого я должен был оставить Москву и провести около года на жительстве в Вологодской губернии»¹.

3 февраля 1937 года в своей снаряженной по зимнему кибитке, в сопровождении слуги Ивана Надеждин выехал из Москвы к месту ссылки, о чем московский губернатор незамедлительно дал знать вологодским властям. В губернский город ссыльный критик прибыл 7 февраля. «Дорога ужасна, — писал он С. Т. Аксакову на другой день по приезде в Вологду, — ухаб на ухабе; точно море, застывшее в самом бурном волнении; я нырял в буквальном смысле слова. Оттого меня укачало донельзя... Около Вологды засинелись уже безбрежные леса, в которых должен я погрязнуть: перспектива мрачная, но она имеет в себе и то утешительное, что дорога лесом будет лучше, глаже»².

Так впервые у Надеждина возникает сравнение дорожных ухабов с морской стихией, застывшей в бурном волнении. Не оправдались и надежды на удобства лесного пути к Усть-Сысольску. Дорога эта была к тому же еще и изнурительно долгой. Из Петербурга она показалась Надеждину путешествием на край света, в страну, где «прекращается не только народонаселение, даже растительность»³. После возвращения из Усть-Сысольска в Вологду Надеждин снова прибегнул к сравнению с морем на этот раз лесных бескрайних просторов губернии. Фортунатов вспоминает: «На вопрос мой про нашу губернию, о которой, в первый проезд его через Вологду, сообщил я ему кое-какие сведения, он отвечал мне словами псалма: «сие море великое и странное»⁴. Сказано это было не без шутки, но и не без образного обобщения.

¹ Надеждин Н. И. Автобиография. — Русский вестник, 1856, т. II, с. 65—66.

² Рукописи. отд. ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 34.

³ Там же, л. 32.

⁴ Фортунатов Ф. Заметки и дополнения вологжанина к статье об А. П. Мельгунове. — Русский архив, 1865, кол. 947.

Не утешали и первые впечатления от встречи с губернской столицей: «Сама Вологда — город большой, но не завидной. Строение — святая старина. Церквей множество и все носят печать глубокой древности. Это дает городу особую физиономию. Жизни, сравнительно с другими губернскими городами, меньше: может быть от того, что дома разбросаны; на улицах мертво и пусто. Впрочем, это первое впечатление»¹. Да и диктовалось оно мрачным расположением духа («душа была расшиблена в прах неожиданным ударом») и приготовлением «к ужасному будущему».

На душу надломленного человека несчастья ложились одно за другим и усугублялись личной драмой, которая переживалась особенно тяжело. Большие чувства связывали Надеждина с Елизаветой Сухово-Кобылиной. Дело шло к свадьбе. Но в спесивой родовитой и богатой семье невесты препятствовали этому неравному союзу, брак откладывался, и наконец родители настояли на своем: отправили дочь во Францию.

Надеждин считал, что в одиночестве он бы «смелее схватился с судьбой, бесстрашнее был под ее ударами»². Находясь в ссылке, он переживал это бедствие («часто адский хохот вырывается невольной из груди, когда подумаешь: «я сослан как неблагомыслящий, как неблагонадежный, как мятежная опасная голова... Я?...») не столько за себя, сколько за находящуюся вдалеке от него другую страдающую жизнь. «Чем глубже мое падение,— писал Надеждин 23 мая 1837 года из Вологды в Киев М. А. Максимовичу,— тем сильнее там чувство — и тем ужаснее страдания... Два существа, связанные роковой цепью, умирают, разделенные целым пространством Европы. Посмотри на карту. Имя Усть-Сысольска возбуждает крики безумного отчаяния в Пиринеях. С берегов Атлантического океана они долетают до берегов Ледовитого моря. После этого верь могуществу фантазии поэтов! Может ли она сравниться с изобретательностью действительности?»³

Надеждин считал для себя ссылку нравственной, умственной и физической гибелью, а «главным виновником» своей гибели — тогдашнего министра народного

¹ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 34об.

² Там же, л. 45.

³ Рус. филологич. вестник. Варшава, 1911, т. LXV, № 2, с. 340—341.

просвещения С. С. Уварова. Что касается жандармских генералов, то они еще в Петербурге так «обласкали» давно уже состоявшего у них на примете издателя «Телескопа», что он фальшивое лицемерие готов был называть искренним «состраданием» и «участием». Эстафета такого участия вручена была вологодскому губернатору; находившемуся в это время в столице, и он снабдил ссыльного рекомендательными письмами в Вологду к своим помощникам. Это не помешало им тут же отдать распоряжение устьсыольскому городничему «учредить за Надеждиным полицейский присмотр» и «доносить через каждые две недели о поведении его и образе жизни»¹:

Несмотря на неоднократные приказания вологодскому полицмейстеру ускорить отъезд Надеждина в Усть-Сыольск, ссыльный критик продолжал оставаться в Вологде, объявив, что ехать дальше по состоянию своего здоровья не может. Жить в глухом уездном городишке, затерянном в «лесной стороне», Надеждин явно не хотел. Да и здоровье его основательно пошатнулось. По свидетельству Вологодской врачебной управы он «оказался одержим ревматизмом в обоих боках»². А сам Надеждин сообщал С. Т. Аксакову 15 марта 1837 года: «Вот уже две недели, как я страдаю жесточайшим образом. Ревматизмы мои возвратились. Беда да и только»³.

Вологда приняла его в холодной, сырой и угарной гостинице. Находилась она, судя по всему, где-то в центре, на торговой Гостинодворской улице. Все вокруг казалось мрачным, не радовала и погода: то хлопьями валил снег, то завернул трескучий мороз и задули, забушевали ветры, то при первых оттепелях — «на небе непролазная мгла, на земле непроходимая грязь»⁴. А в городе — тяжелые болезни, частые пожары.

Замкнувшись в одиночестве, в «жестоких страданиях», Надеждин в эти первые дни всячески отгораживался от внешних впечатлений. Он болеет, никуда не выходит, сидит целыми днями дома. Но жизнь прорывается к нему: «Вчера против моих окон в церкви хоронили

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 16, л. 5, 5 об.

² Там же, л. 11.

³ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 39.

⁴ Там же, л. 48.

двадцатидвухлетнюю жену одного здешнего протопопа с двумя детьми: все трое умерли в три дня от кори!! Нынешнюю ночь я всю не спал. В городе был пожар. На колокольнях били в набат. Шум, крик, гам — среди темной, хоть глаз уколи, ночи. Горело не очень далеко от моей квартиры. Стали было готовиться выбраться. К свету, однако, пожар был прекращен. Сгорело в рядах две лавки»¹.

В письмах Надеждина этого времени — то тоска и горечь, то отчаяние и жалобы на ужасную судьбу, то мрачные ожидания смерти («Грустно, тяжело. Перо валится из рук», «И что-то там — там, где живет душа моя?», «Тяжело особенно, что не с кем разделить сердце, некому поверить горе», «Стоит ли после этого дорожить этим фальшивым, бесчувственным, неблагородным светом — этой гадкой, презренной жизнью?», «Смерть едва ли не лучшая, едва ли не единственно возможная развязка всех этих пыток. Чем все это кончится? Страшно и заглядывать в будущее»).

Утешение Надеждин находит в дружбе, переписка с близкими людьми доставляет единственную отраду, но и тут возникают гнетущие обстоятельства — надзор за перепиской. И ссыльный предупреждает С. Т. Аксакова: «Будешь принужденнее в письмах, когда знаешь, что изъясняешься не наедине, но перед свидетелем. Видно, пить — так пить до дна. И это последнее мое утешение — утешение переписки искренней, откровенной — должно может быть нарушиться!. Смирение и терпение!»². Мало того, письма в Париж к Елизавете Сухово-Кобылиной он не может адресовать непосредственно, а пользуется оказией до Москвы: «Здесь городишко такой — настоящая провинция. Заграничное письмо подаст повод к толкованиям и догадкам месяца на два. Подумают и невесте что; подумают, что измена, бунт, тайные сношения»³.

Но надо было, не смотря ни на что, жить и работать. Правда, короб с книгами (весом в 14 пудов!) задерживался в пути, его пришлось долго ждать, но в середине марта московским друзьям уже сообщалось: «Не смотря на жестокие страдания, я могу заниматься:

¹ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 48об.

² Там же, л. 46об.

³ Там же, л. 41об.

читать всегда — писать временами. Пишу и посылаю в Петербург статьи для Лексикона»¹.

Материальное положение ссыльного оказалось крайне расстроенным, средств к существованию, кроме литературного труда, не было, и нужда заставила «запродать» себя издателю Смирдину, который обещал «продумать работу в «Энциклопедическом лексиконе»². Пришлось перед отъездом в Вологду идти на поклон к редактору «Библиотеки для чтения» О. Сенковскому, с которым одно время велась острая литературная борьба, и вступить в переговоры о составлении статей для того же «Энциклопедического Лексикона» А. Плюшара. Познакомившись в Вологде с педагогом-историком, инспектором гимназии Ф. Н. Фортунатовым (1814—1872)³, Надеждин рассказывал ему: «Нелегко мне было решиться на первое свидание с Осипом Ивановичем, неприятными представлялись мне первые объяснения, какие мы должны были иметь, но Сенковский встретил меня словами: «Статей ваших обо мне, помещенных в «Телескопе», я не читал»⁴.

По словам самого критика, ссылка окончательно разорвала его с эстетикой и археологией. Навсегда уходил он и от волновавших его ранее проблем современной общественной жизни, острых вопросов литературной критики. «Я перенес мои занятия на совершенно другое поприще, — писал Надеждин в автобиографии, — и именно на поприще географии и этнографии, на сотрудничество в издававшемся тогда «Энциклопедическом лексиконе». Я обратился к истории вообще и к отечественной в особенности»⁵. Об этом же он писал в мае из Вологды М. А. Максимовичу: «В глуши изгнания я сам посвящаю досуги мои, которых так много, — отечественной истории. Помянух дни древния и поучихся. Прошедшее имеет несказанную отраду для того, у кого не осталось ничего, кроме прошедшего. Ты скоро прочтешь, думаю, некоторые из моих трудов, где увидишь, что ты на берегах Днепра, под светлым небом Украйны,

¹ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 39об.

² Там же, л. 32.

³ Отец выдающегося русского лингвиста академика Филиппа Федоровича Фортунатова (1848—1914).

⁴ Фортунатов Ф. Указ. соч., кол. 947.

⁵ Надеждин Н. И. Автобиография. — Русский вестник, 1856, т. II, с. 65.

я на берегах Сысолы, в сырых туманах Лукоморья, разными путями дошли почти до одних результатов»¹.

Отойдя в ссылке от дел литературных, Надеждин однако не перестал интересоваться столичной и особенно московской литературной жизнью. Его волновала судьба Виссариона Белинского, оставшегося с закрытием «Телескопа» без средств к существованию. Он получал «Московский наблюдатель», возникший «на развалинах» его журнала. С каждой почтой писал из Петербурга давний приятель Д. М. Княжевич, приходили известия из Киева и Одессы. Успевал следить Надеждин за работой С. Аксакова, П. Киреевского, М. Погодина, М. Максимовича, Н. Полевого и других литераторов. Друзья присылали ему книги и журналы для работы, в которой он находил «несказанную отраду».

В конце апреля (в это время в Вологде ожидали наследника престола, будущего Александра II) наконец-то возвратился из Петербурга губернатор, властный и строгий Д. Н. Бологовский и начал принимать меры к ускорению отъезда Надеждина в Усть-Сысольск. И хотя врачебная управа подтвердила тяжелую болезнь ссыльного, губернатор в конце мая настоял на повторном освидетельствовании. Вместе с тем он охотно демонстрировал свою благосклонность, стремился сблизиться с Надеждиным, доказывал ему «предосудительность» статьи Чаадаева, помещенной в «Телескопе», понуждал ссыльного редактора публично покаяться. Полагая, что царскому правительству важно «дарование сего писателя на пользу и во славу свою» обратиться, губернатор «переливал» в него «чистое чувство любви и всеподданнической преданности».

И все-таки Надеждин при всем политическом консерватизме уклонялся от открытого покаяния. Но Бологовский полагал, что Усть-Сысольск довершит его беседы и в конце концов сломит волю совсем больного, тяжело переживавшего изгнание литератора.

В середине июля 1837 года Надеждин выехал из Вологды и проделал на лошадях трудную дорогу почти через всю губернию. Наконец он получил возможность написать друзьям: «Я — в Усть-Сысольске!.. Конец благополучно бегу... Странствование мое кончилось — и с

¹ Москвитянин, 1856, т. 1, № 3, с. 229; см. также: Полярная звезда, 1881, № 4, с. 7—8.

ним кончилось все, чего мог я еще ожидать, что разнообразило хоть сколько-нибудь печальную жизнь мою... Теперь нет ничего впереди — ни в физическом, ни в нравственном отношении. Все осталось позади — и люди, и свет, и жизнь, и счастье...»¹

28 июля городничий Усть-Сысольска донес, что Надеждин третьего дня прибыл, и за ним учрежден полицейский надзор. Изгнанник поначалу хорошо чувствовал себя, радовался, что хорошо устроился на квартире уездного медика («Домик прелестный, на хорошем месте и славно меблирован»). Осмотревшись, он даже начал работать. Правда, еще в мае прекратились письма от Е. Сухово-Кобылиной, а осенью последовал удар — она стала графиней Салиас («Теперь — по крайней мере развязка! Занавесь опустилась на прошедшее, и мы не будем шевелить ее»). По Москве даже пополз слух (пустил его С. П. Шевырев), что Надеждин ищет утешения в крепких напитках...

Надеждин не выдержал тоскливого одиночества глухой ссылки и вскоре прислал в Вологду покаянное письмо, в котором просил исходатайствовать ему «возможность существовать и трудиться по крайней мере» под «непосредственным надзором, руководством и попечительством» Д. Н. Бологовского.

6 сентября 1837 года генерал Бологовский обратился к шефу жандармов графу Бенкендорфу с подобострастной просьбой разрешить перевести Надеждина в Вологду, где ссыльный находился бы под его личным надзором. Пересылая оригинал покаяния ссыльного, Бологовский уверял, что «Надеждин во все время бытия его в губернии ведет себя отлично скромно, ежечасно раскаиваясь в проступке своем», что «томительное сие чувство» является главной причиной «в расстройстве его жизнедеятельности».

В ноябре приходит известие, что царь «всемиловейше дозволил» Надеждину «жить в губернском городе Вологде с тем, чтоб иметь за ним строгий надзор»². Об этом губернатор немедленно довел до сведения вологодской городской полиции³. Весть эта долго шла в Усть-Сысольск, да и сам Надеждин из-за болезни вер-

¹ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 54.

² ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 16, л. 25.

³ Там же, л. 26.

ного слуги вынужден был на некоторое время задержаться и только 11 января 1838 года выехал в Вологду.

Зимний путь оказался легче, короче по времени. Но Надеждин возвращался надломленным, он еще более замкнулся, почувствовав, как старые друзья покидают его, отверженного судьбою...

Развивается недоверие даже к близким, преданным ему людям, обращаясь к которым он продолжал «верить в достоинство человеческое, любить и уважать людей»¹. Но вскоре укрепляются иные чувства: «Я потерял веру в людей! Я сам стал чуждаться их и дичиться...»².

«Жизнь моя так однообразно уныла — писал Надеждин вскоре по возвращении в Вологду. — Теперь я поселился на квартире, отброшенной в край города, в настоящей «Тишине». Мало кого вижу, кроме людей нужных, которые, по счастью для меня, очень добрые и благородные. День идет за днем. Не скажу, чтобы отчаяние, — а какое-то хладнокровное равнодушие ко всему — есть господствующая стихия моей теперешней жизни. Часто случается, что я истинно жалею об Усть-Сысольске, где жил по крайней мере страданиями!»³

Надеждин и раньше не искал связей с местным обществом, а теперь круг его знакомых ограничивается краеведами, местными историками. «В Вологде есть по крайней мере хоть два-три человека с образом и подобием божьим...» Среди этих людей, близких ему по духу, он находит поддержку. Мало того, его посланцы, оставшиеся для нас неизвестными, появляются то в Москве в гостиной Аксаковых, то в Киеве у Максимо-вича. Скорее всего, это были ссыльные, друзья по несчастью. А однажды в доме одного из самых близких московских друзей Надеждина появились необычные «зырянские гостинцы» — рябчики и пойманная в «великой Печоре» нежнейшая семга — вместе с известием о возвращении Надеждина в Вологду. Письмоподатель не представился, но автор письма на этот раз не скрыл имя посланца. Им был сам Д. Н. Бологовский, который отправился через Москву в Петербург для производства в генерал-губернаторы.

¹ Пономарев С. Из тридцатых и сороковых годов. — Полярная звезда, 1881, № 4, с. 7.

² Письмо Н. И. Надеждина к Ю. Н. Бартеневу. — Русский архив, 1864, т. 1, кол. 1059.

³ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 13, д. 47, л. 65.

По возвращении из Усть-Сысольска в Вологду Надеждин имел возможность встретиться с членом кружка Герцена поэтом Владимиром Соколовским, оказавшимся здесь осенью 1837 года. Во всяком случае, Ф. Фортунатов, работавший с В. Соколовским в «Вологодских губернских ведомостях», мог свести ссыльных. И то, что Надеждин не воспользовался этой возможностью, следует объяснить его чрезвычайной настороженностью в это время и особой разборчивостью в выборе новых знакомых. Трудно без недоумения пройти и мимо такого обстоятельства: это были первые годы страданий больного Батюшкова на родине, но Надеждин, погруженный в свои переживания, ни разу не вспомнил о собрате по перу...

Оказавшись в Вологде, Надеждин работал много и напряженно. За время вологодской ссылки он создал несколько крупных статей — «Об исторических трудах в России», «Об исторической истине и достоверности», «Опыт исторической географии русского мира», опубликованных в журнале «Библиотека для чтения»¹. В нескольких номерах «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» печаталась его работа «С чего должно начинать историю»². Но наиболее активно сотрудничает Надеждин в это время в «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара (т. 8—12), в котором печатает более ста статей.

Статьи эти посвящены самым различным вопросам: истории славян и русскому языку, христианским праздникам и истории русской церкви, проблемам психологическим и эстетическим. Здесь же были опубликованы написанные в ссылке обширные статьи «Великая Россия», «Венеды», «Винды», «Весь». Вопросам стихосложения Надеждин посвящает довольно обстоятельное исследование «Версификация». Большую и интересную статью печатает он о знаменитом римском поэте Вергилии. В статье «Вкус» говорит об эстетическом смысле этого слова.

Среди многих публикаций Надеждина в словаре А. Плюшара обращают на себя наше особое внимание статьи о Вологодском крае («Великий Устюг», «Вологда», «Вологодская губерния»). В связи с этой работой

¹ Библиотека для чтения. 1837, т. X, с. 93—136, 137—174; т. XXII, с. 27—29.

² Лит. прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 12, 13, 14.

Ф. Фортунатов сообщает: «Он принял на себя, между прочим, составление всех статей, относящихся до Вологодской губернии, а потому получил из редакции на просмотр доставленные мною туда статьи: «Вологда» и «Вологодская губерния». Воспользовавшись, с согласия моего, заключающимися в них материалами, он сам обработал эти статьи для XII тома «Энциклопедического лексикона»¹.

Безусловно, Фортунатов был большим знатоком своего края и предоставленный им материал облегчал работу Надеждина над статьями о Вологодской губернии, обогащая их ценными фактическими сведениями. Кстати, часть этих сведений Фортунатов опубликовал в «Вологодских губернских ведомостях» в самом начале 1838 года («Географический и статистический очерк Вологодской губернии»), а Иван Пушкарев отметил эти его труды и высказал пожелание, чтобы, «следуя его примеру, просвещенные жители и прочих наших провинций обогащали отечественную статистику подобными сведениями о губерниях»². В этой же книге при историко-статистическом обозрении городов И. Пушкарев указывает, что «исторические сведения о Вологде заимствованы из описания г. Надеждина, собиравшего их из местных архивов и летописей»³. В статьях ученого кроме того выразились личные впечатления и наблюдения.

Полемизируя с Надеждиным в описании почтовой дороги на Усть-Сысольск, особенно в связи с его догадками о «горном кольце», которым опоясана губерния, капитан генерального штаба Услар неоднократно ссылается на его исторические исследования и описания городов Вологды и Устюга⁴.

Особенно заинтересовался Надеждин историей края и по достоинству оценил высокую культуру и «богатство древних вологжан»⁵.

Заслуживает внимания его рассказ о Вологде тех дней, когда он жил здесь в ссылке. Вологда, по его словам, «своей обширностью и множеством церквей

¹ Фортунатов Ф. Указ. соч., кол. 947.

² Пушкарев И. Описание Вологодской губернии. СПб., 1846, с. 1.

³ Там же, с. 95.

⁴ Военно-статистическое обозрение Российской империи. Вологодская губерния. СПб., 1850, т. II, ч. 3, с. 10, 23, 247, 366.

⁵ Энциклопедический лексикон, СПб., 1838, т. XII, с. 400. Цензурное разрешение: 14 июня 1838 г.

представляет теперь одну только монументальную тень прежнего величия». Обилие духовенства и церквей в Вологде, число которых «превосходит самую Москву», поразило Надеждина.

Среди замечательных памятников русской архитектуры Надеждин отмечает кафедральный Софийский собор, заложенный Грозным в 1568 году, огромный дом присутственных мест, стоявший в то время в развалинах после пожара, архиерейский дом, который со всеми прилегающими к нему постройками и пышным садом составляет «живописнейший пункт вологодской панорамы». Для «общественного гульбища» и праздничных увеселений вологодской «знати» служила Никольская площадь, которая в 1837 году была, по словам Надеждина, «обнесена красивою баллюстрадой». Обширная площадь между домом губернатора и гимназией считалась «парадным местом» и предназначалась для воинских «парадных экзерсисий».

Надеждин отмечает, что в городе, населенном шестнадцатью тысячами жителей, — только 64 каменных дома, многие улицы не мощены, утопают в грязи. Рядом с роскошными постройками на Дворянской улице и купеческими домами по левому берегу реки Вологды — простые бедные дома «низшего класса».

Промышленность Вологды тех лет была чрезвычайно незначительной. Заводики, перечисляемые Надеждиным, — это главным образом водочные, уксусные да пивоваренные, бульонные, свечные да колоколенные. Но и из них многие не действовали.

Проделав путь от Усть-Сысольска по главной почтовой дороге, Надеждин побывал в уездных городах Кадникове, Тотьме, Великом Устюге и был поражен обширнейшим пространством губернии, территория которой равнялась в то время почти целой Испании. Эти пространства были тогда мало заселены, покрыты «дремучими непроходимыми лесами».

«Вологодская губерния, — писал Надеждин, — есть пока звериное царство, особенно в своей восточной полосе»¹.

Широкие слои населения губернии, по словам Надеждина, не могли тогда «хвалиться и богатством», жители, особенно восточных уездов, «в продолжение не-

¹ Надеждин Н. И. Вологодская губерния. Энциклопедический лексикон. СПб., 1838, т. XII, с. 402—420.

скольких лет сряду питались пихтовою корою вместо хлеба». Отмечая, что хозяйство губернии «стоит еще на низкой степени развития», Надеждин был особенно поражен восточной частью губернии, где в то время царствовала «патриархальная простота, граничащая с дикостью».

Вологодская губерния не случайно показалась Надеждину дикой морской пучиной, великим и простран- ным морем, в стихию которого он заглянул не без испуга. Случилось так, что ссыльный ученый стал у самых истоков изучения этих необъятных пространств.

В марте 1838 года Бологовский, характеризуя Надеждина как человека «чувственного и добродушного», «жизни и нравственности примерной, скромной», просит Бенкендорфа «о даровании Надеждину всемилостивейшего прощения, а с сим вместе и полной свободы, которою уже пользуется и самый сочинитель статьи «Телескопа» г. Чаадаев»¹.

В начале апреля в Вологду пришло сообщение, что царь дозволил Надеждину «жить всюду, где пожелает». С некоторым промедлением прощение «милосердного монарха» довели до сведения обрадованного Надеждина, но время уже было такое, когда выехать тот час же он не решился.

«Я пока еще в Вологде,— писал он М. А. Максимо- вичу 25 апреля 1838 года,— но уже не оттого, что не могу, а оттого, что нельзя тронуться с места. У нас только что начинается весна. Реки и болота вскрылись. Надо сидеть по крайней мере до мая. Но при первой возможности я взмахиваю крыльями и лечу вольною пташкою... Я еду прямо в Питер. Есть у меня желание завернуть по дороге в Архангельск и на Соловецкий остров... Мне же хотелось бы знать вполне север, прежде чем я переселюсь к вам на юг; хотелось бы, по твоему прекрасному выражению, проморозиться и про- светиться северным сиянием»².

В начале мая 1838 года Надеждин покинул Вологду, посвятив последние годы своей жизни историческому, географическому и этнографическому изучению России, начатому еще во время вологодской ссылки.

Вскоре после смерти Надеждина (11 января 1856 го- да) Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского пери-

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 16, л. 31, 31об.

² Полярная звезда, 1881, № 4, с. 12.

ода русской литературы» впервые так высоко оценил его заслуги: «Критика была только одна из многих сторон его разнообразной литературной деятельности. Она принесла уже свой плод. Другие, быть может, еще значительнейшие труды его по другим отраслям науки до сих пор остаются еще не оцененными. Придет время, будут оценены и они»¹.

2. НИТИ И ЦЕПИ

Сенатская площадь в туманной дымке. Михаил Бестужев первый привел сюда 14 декабря 1825 года Московский полк. Он — в тревожном ожидании. И вдруг видит, как к нему подбегает группа морских и армейских кадетов во главе со стройным юношей. В соколиных его глазах — сияющий восторг и решимость.

— Мы присланы депутатами от наших корпусов, — запыхавшись, говорит он. — Просим позволения прийти на помощь и сражаться вместе с вами.

— Как ваше имя? — спрашивает Бестужев, любуясь выправкой юноши.

— Соколовский. Выпускник первого кадетского корпуса.

— Поблагодарите своих товарищей за благородное намерение, — просит Бестужев и со всей серьезностью добавляет: — Поберегите себя для будущих подвигов...

Так или примерно так хотелось бы начать Владимиру Чивилихину роман, в центре которого он решительно готов поставить Владимира Соколовского как героя. По мнению писателя, он «мог вполне явиться на площадь в составе делегации», но «был ли он действительно на площади 14 декабря 1825 года — это, к сожалению, пока неизвестно»².

Такой рецепт сочинения особенно «исторических эпизодов»¹ в романическом повествовании кажется нам весьма сомнительным, хотя соблазны автора понятны, намерения его благородны — протянуть нити между декабристами и Герценом и сделать это через Соколовского — «единственного человека, который дружески жал руку по крайней мере двум сосланным в Сибирь декаб-

¹ Чернышевский Н. Г., т. III, с. 164.

² Чивилихин Вл. Память. Роман-эссе. — Наш современник, 1983, № 6, с. 103.

ристам — Владимиру Раевскому и Николаю Мозгалевскому, передав тепло этих рукопожатий тем, кого они и их товарищи *разбудили*. — Александру Герцену и Николаю Огареву, писателям и революционерам нового поколения»¹.

Кто же он, этот человек, так долго пребывавший в забвении и ставший, в сущности, героем своего времени, вернее, героем безвременья. И как человек и как поэт Владимир Игнатьевич Соколовский (1808—1839) безусловно трагическая фигура, не развернувшая своих больших возможностей. Современники по-разному оценивали его. И если суждения о нем, как о человеке дерзкого, вызывающего поведения, кутиле и гуляке, насто-раживали, то в оценке его поэтического дарования сходились литераторы крайних вкусов и ориентаций. По словам Александра Герцена, Соколовский «имел от природы большой поэтический талант»². В. Жуковский даже пугался этого: «Вот поэт, который убьет все наши дарования»³. Он считал, что в поэме «Альма» «заключается много прекрасного», а автор ее «имеет высокий благородный талант, превосходно владеет языком» и «достоин особого внимания»⁴.

Надежда на приход после гибели Пушкина нового большого таланта заставляла ожидать от Соколовского того, чего он свершить был уже не в силах. Тем не менее Александр Креницын уверял автора «Альмы» в тревожные дни осени 1837 года — «тебе, поэт, я цену знаю» и обращался к нему с призывом заменить Пушкина:

Надеждам, ты не измени
Нам общей матери Россни,
И чудной «Альмой» в наши дни
Чудесного певца Марии
Нам замени, нам замени!

Вокруг имени Соколовского возникали легенды. Накопилось немало нелепостей и наслоений, искажающих его творческий облик. Но несомненно он был весьма сложной и противоречивой личностью, а творчество

¹ Наш современник, 1983, № 10, с. 19—20.

² Герцен А. И. Т. VIII, с. 210.

³ С<емевский> М. И. Библиографические заметки. — Отечественные записки, 1865, № 8, с. 294.

⁴ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 17, л. 36.

его никак не укладывалось в рамки «крайнего романтизма», в которые его пытаются втиснуть¹.

И все-таки о многом в жизни и творческой судьбе В. Соколовского сегодня можно сказать с уверенностью. Сибиряк по рождению, он воспитывался в Петербурге, в 1-м кадетском корпусе, служил в Томске и Красноярске у своего отца — томского губернатора и дяди — А. П. Степанова, губернатора Енисейской губернии. В начале 1932 года Соколовский появился в Москве, издал здесь первую свою книгу «Мироздание», начал работать над поэмой об Иване Грозном, выпустил в свет «Рассказы сибиряка» и роман «Одна и две, или Любовь поэта». Еще в Сибири он познакомился с «первым декабристом» В. Ф. Раевским, а в Москве подружился с Александром Полежаевым, тяжкую судьбу которого ему вскоре суждено было разделить. Знаменательно и то, что среди литературной молодежи Москвы Соколовского особенно заинтересовали Герцен и Огарев.

Перебравшись в Петербург и поступив на службу, он начинает искать связи с передовыми литературными кругами, но тут произошли события, сломавшие его жизнь. В июле 1834 года московская полиция, устроив с помощью провокаторов засаду, арестовала несколько членов герценовского кружка, а затем и самих Герцена и Огарева, давно уже подозреваемых в вольнодумстве. Поводом для ареста явилось пение пасквильных куплетов, «дерзких стихов» («Русский император в вечность отошел...»). Выяснилось при этом, что сочинитель «возмутительной» песни — В. Соколовский. Его арестовали и привезли в Москву на следствие. С тех пор поэт уже не знал свободы. После девятимесячного заключения в Москве его заточили на бессрочное время в Шлиссельбургскую крепость, где он более полутора лет содержался в одиночной камере.

И в заточении, и по выходе из застенка, когда несколько месяцев жил в Петербурге, и в самой вологод-

¹ Киселев В. С. В. И. Соколовский. — В кн.: Русские писатели. Библиографический словарь. М.: Просвещение, 1971, с. 596—598; Киселев-Сергенин В. С., В. И. Соколовский. — В кн.: Поэты 1820—1830-х годов, т. II, Л.: Сов. писатель, 1972, с. 362—367; Кошелев В. А., Скачкова С. В. Звонкий мир философических созвучий. — Русск. литература, 1983, № 2, с. 150—158.

ской ссылке поэт продолжал работать. Начатую еще до ареста драматическую поэму «Хеверь» он завершал в заключении, а в Вологде заканчивал работу над поэмой «Альма». Первая создавалась по мотивам библейской книги «Эсфирь», вторая — книги «Песнь песней».

Надобно заметить, что Соколовский до ссылки в Вологду содержался <...> в Шлиссельбургской крепости; здесь, в месте его заключения, как рассказывал он, нашел он еврейскую «Библию» с переводом и объяснениями Кальмета, оставленную кем-то из содержащихся до него в том же каземате, где находился он. По Кальмету учился он еврейскому языку и занимался подстрочным переводом Исаии и других пророков¹. Эти слова Ф. Н. Фортунатова подтверждаются свидетельствами Ивана Панаева («Во все время... заключения у него была только одна книга — Библия»²) и Е. Драшусовой-Карлгоф, по фантазии которой этих книг становится много, а их читатель предстает как поэт, «проникнутый религиозным чувством, отдаленный от всего житейского»³.

Скорее всего так и создавалась легенда о Соколовском как о религиозном поэте, вдохновлявшемся только сюжетами «священного писания». Представления об особом характере «духовной» поэзии Соколовского в наши дни пересматриваются, и поэт трактуется как литератор, «умевший иносказательно преподносить свои социально-утопические грезы и демократические идеи в искусственной ветхозаветной упаковке». Многие его вещи прочитываются как «остросоциальные произведения»⁴. Но нельзя сказать, что такое прочтение во всем убедительно, ему явно не хватает развернутой последовательной аргументации. Зыбкие и односторонние доказательства держатся порой только на пафосе эссеистского письма, в котором желаемое выдается за действительное.

В характеристике Соколовского Вл. Чивилихин не соглашается даже с А. Герценом («не был политическим

¹ Фортунатов Ф. Заметки и дополнения вологжанина к статье об А. П. Мельгунове. — Русский архив, 1865, год 3-й, стб. 924.

² Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л.: Academia, 1928, с. 110.

³ Литературные салоны и кружки. М.; Л.: Academia, 1930, с. 232.

⁴ Наш современник, 1983, № 10, с. 28, 32.

человеком»), отбрасывая самые мягкие, на наш взгляд, выражения («милый гуляка», «любил покутить») и уклоняясь от объективной оценки личности поэта, в том числе и от попытки Вл. Раевского объяснить несчастья нашего поэта «следствием его пылко-го характера». Мало того, автор «Памяти» увеличивает количество бесспорных фактов о своем герое как о человеке «нежданно-рискового поведения», жившем стихийно и бездумно, а нередко поддававшемся дурным влияниям. И совсем уж как-то загадочно звучит известие о болезни поэта («заживо погребенный и заживо сгнивающий от страшной неизлечимой болезни», умер «не от туберкулеза, а совсем от другой болезни»).

Печать безысходности накладывается на судьбу Соколовского, проникает во все поры его поэзии («И опыт горький утвердил Мой холод к людям ненавистный», «Порок мне спутник, лень подруга», «Неистовый и своевольный, Я быстро от страстей сгорал», «Да, жизнь моя скудна добром; В ней мало веры — все безверье» и т. п.).

Вырванный родственниками в самом конце 1836 года из сырой и мрачной одиночки Шлиссельбурга, почти ослепший и оглохший, поэт был принят и обласкан во многих столичных гостиных, но поправлять своего здоровья не хотел. При первых же встречах И. Панаев заметил в его лице «что-то болезненное и страдальческое». По его словам, «долгое заключение разрушило не только его тело, но убило и дух». Он «впал в мистицизм и запил с горя», а затем «совсем опустился»¹. Болезнь усугублялась, и самые тяжкие ее удары настигли поэта в Вологде.

Еще в марте 1837 года была известна «высочайшая воля», определившая Соколовского на службу в Вологодскую губернию «под самым строгим надзором начальства»². Но все лето и начало осени удавалось как-то уклоняться от исполнения этой воли. Наконец под давлением самого Бенкендорфа и с его указанием не останавливаться в пути пришлось спешно выехать. И 29 сентября 1837 года ссыльный поэт явился к вологодскому губернатору. Сообщая об этом, Д. Бологовский отмечал, что Соколовский «к должности еще не определен

¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 109, 110, 113.

² ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 17, л. 7.

по неимению о прежней службе его аттестата или формулярного списка»¹.

И, как говорится, пошла писать губерния. Правда, пока велись затянувшиеся на несколько месяцев поиски документов, Соколовский окунулся в дела, связанные с открытием в Вологде первой газеты. В это же время создавалась губернская типография, объявлялась подписка на «Вологодские губернские ведомости». Редактором неофициальной части газеты стал Вл. Соколовский. Сам губернатор предписывал ему «заняться разбором старых бумаг и извлечением из старинных рукописей того, что относительно сущности дела или замечательной формы выражения окажется достойным общественного внимания»².

Сыльному поэту открывается доступ к древним рукописям, в ризницы, библиотеки и архивы соборов и монастырей всей епархии. Интерес к прошлому края во многом определяет своеобразие неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей». С первых же номеров газеты заведена была и «Вологодская хроника», в сильной мере опиравшаяся на летопись архиерейского певчего 1690-х годов Ивана Слободского. Талант Соколовского как редактора особенно сказался на разделе «Разные известия» в живой подаче событий «гимназического акта», в остроумном описании вологодской ярмарки, а также в выборе развлекательных анекдотов.

С середины 1838 года газета приступила к публикации образцов русской письменности XVI—XVII веков, к описанию монастырских древностей, но Соколовский, скорее всего, уже не мог по состоянию здоровья принимать участие в этих публикациях. Он охотно обращается к помощи местных краеведов, а к концу года редактором неофициальной части газеты назначается Ф. Фортунатов³.

Вологда с первого дня встретила Соколовского весьма радушно, как талантливого поэта. К властям он явился с рекомендациями видных литераторов — Жуковского и Вяземского, а еще — князя А. Н. Голицына и других «сиятельных» лиц. Д. Н. Бологовский обещал Соколовскому «занятие сколь возможно значительное» и выполнил обещание, оставив поэта при себе чиновни-

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, л. 17, л. 14—14об.

² Там же, оп. 1, д. 739, л. 38.

³ Там же, л. 47об.

ком особых поручений. Надо прямо сказать, что в судьбе Соколовского многие вологжане приняли живое участие, а губернатор даже внушал сильным мира сего в Петербурге важность возвращения «литературному поприщу поэта с добрым талантом»¹.

Восторженно встретили Соколовского молодые его почитатели, преимущественно учителя гимназии (Ф. Фортунатов, Н. Навашин, А. Иваницкий и др.), поэт Н. Вуич и совсем юная поэтесса В. Макшеева. Многие из них уже печатали свои стихи, рассказы и даже повести в столичной прессе.

Самым даровитым и многосторонне образованным был учитель словесности Николай Навашин. В его квартире и поселился Соколовский, а по субботам здесь же начал собираться большой круг литературной молодежи.

Вскоре Соколовский помог Навашину завершить составление сборника по образцу альманаха. В него вошло лучшее из созданного молодыми вологодскими литераторами, искавшими общения и участия. Сборник посвятили П. А. Плетневу, и Ф. Фортунатов увез его в Петербург. По его словам, «Вологодский сборник» был принят, прошел цензуру, но в печати не появился, и судьба его осталась неизвестной. К сожалению, и судьба многих его авторов сложилась не лучшим образом.

Среди участников субботних вечеров Соколовский выделял Вареньку Макшееву, дочь Д. М. Макшеева, владельца подгородного имения Осаново. Именно это «здешнее семейство» имеет в виду В. Соколовский, общая А. В. Никитенко (он хорошо знал эту семью и пользовался ее гостеприимством²), что здесь, в этой семье, сосредоточил он «всю свою земную привязанность» («Не подумайте, однако ж, чтоб я был влюблен! Боже сохрани!..»³).

Стихи юной поэтессы печатались в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», в «Маяке», «Галатее», «Библиотеке для чтения», в «Одесском альманахе» и часто рядом со стихами самого Соколовского. Обращаясь к нему в послании «Поэту», В. Макшеева

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 17, л. 41об.

² Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе. Записки и дневник. СПб., 1904, изд. 2-е, т. 1, с. 254.

³ Письмо В. Соколовского А. В. Никитенко. 18 января 1838 г. Вологда. — Русская старина, 1898, т. 94, с. 338—339.

верит, что счастье под «гул хвалы» еще проводит поэта «по долине бытия», и он еще воспоеет «славу божью»¹. Поэтесса придерживается здесь традиционного представления о Соколовском как о «духовном» поэте, в то время как он в стихотворном обращении «К деве-поэту» зовет к широкому, философски устремленному взгляду на жизнь:

Ты знать должна, как славой сиротливы
Все рифмачи, потешники людей!
В их песнях нет ни чувства, ни идей,
Сих колосов богоколосной нивы!
Их каждый стих нарядно весь одет,
Но сущность в нем, как суетность мирская;
Все тянет вниз, и вся пуста, как бред!
Так вверх и вдаль!. А даль-то ведь какая! —
Святой глагол, безбрежность рассекая,
Дарит ее!.. Смелей же вдаль, поэт!

Смелый порыв в будущее оборачивался в стихах В. Макшеевой осознанием земной обреченности, религиозным порывом в потусторонность... Со временем, уже в сороковых годах, ее поэтические интересы иссякают а в пятидесятых годах вологодские «Справочные книжки» упоминают ее имя как смотрительницы детских приютов.

Семья Макшеевых вызвала в душе ссыльного поэта самые памятные отклики. Об этом и о судьбах других участников вологодских литературных суббот мы знаем со слов Ф. Н. Фортунатова: «Слабость Соколовского <...> неумеренность его в чувственных наслаждениях (вино и женщины) главнейшим образом расстроила его здоровье и преждевременно свела в могилу. Только на первых порах по прибытии в Вологду Соколовский воздерживался от своего пагубного пристрастия к вину. А потому и нам, посетителям его литературных субботних вечеров, приходилось иногда находить его в нетрезвом виде... Живо помню, как при окончании одного субботнего вечера В. И. Соколовский при мне и еще одном собеседнике вздумал прочесть отцу этой девицы стихотворение, в котором он, выражая свои сердечные чувства, просил ее руки. Ему отвечали, что дочь еще молода, и о замужестве ее родители не думают <...>. Мы ожидали, что, живя вместе с Навашиным, Соколов-

¹ Лит. прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 46, с. 452; см. также: Одесский альманах за 1839 год. Одесса, 1839, с. 203—204; стих. Вл. Соколовского «К деве-поэту», с. 523.

ский бросит свою несчастную страсть. Это ожидание не сбылось. Соколовский сблизился с молодыми людьми, страдавшими тем же, как и он, недугом; так что лицам, вначале посещавшим его субботние вечера, не было впоследствии возможности являться на эти шумные оргии. Вышеупомянутый мною вологодский помещик, по чувству христианского соболезнования, желая вырвать Соколовского из кутящего общества, увозил его на некоторое время к себе в деревню, чтоб протрезвить. Все было напрасно. Навашин должен был покинуть свою квартиру, где жил Соколовский, вселившийся в него какую-то недоверчивость к людям и мизантропию, окончившиеся у Навашина помешательством рассудка»¹.

Слова мемуариста о мизантропии Соколовского, о возраставшей недоверчивости к людям не могут быть оставленными без внимания. По приезде в Вологду поэт хотел жить «священной жизнью сердца». Но уже в январе 1838 года он уверял того же А. Никитенко, что Вологда его «допекает», что здесь он «полюбил грустить» и грусть разрушает его физически: «Влияние здешней безжизненной жизни на душу так велико, что я замечаю даже решительную перемену в своем характере, который из кипучего холеризма переходит в томный меланхолический быт»².

Соколовский все чаще жалуется своим пстербургским корреспондентам на «худую Вологду», населенную «фискалами» и «сплетчиками». Поэт непримирим к этим «квелленам» и «искариотам»: «дубье — а между тем такие сплетчики, что хоть святых выноси вон, так эти двуногие животные смрадят своим злоязычием»³.

Теперь трудно разобраться в этих взаимоотношениях, легче всего сослаться на крайность и односторонность суждений поэта, страдавшего припадками белой горячки. Как бы то ни было, недоверчивость в этих условиях побеждала чаще всего. В угрюмом одиночестве Соколовский отгораживался от людей, сжигал свою жизнь, последние силы оставляли его. Но даже в таком состоянии, урывками, когда приходил в себя, он продолжал работать: завершал лучшую свою поэму «Аль-

¹ Фортунатов Ф. Несколько слов о В. И. Соколовском. — Русский архив, 1865, год 3-й, с. 1367—1369.

² Русская старина, 1898, т. 94, с. 338—339.

³ Там же, с. 338.

ма», задумал и начал писать новую поэму «Разрушение Вавилона».

Герой лирики Соколовского то свыкается со страданиями, то ищет выхода из них, то готов расстаться с жизнью («Мне слезы как воды, и горе как хлеб!», «Я с песней веселья пойду на страданья, С отрадой предамся огню и мечу»). Сначала поэт просит исходатайствовать ему шестимесячный отпуск в Петербург «для исцеления болезни», затем, в августе 1838 года — испрашивает снисхождения у самого царя и просит перевести его на Кавказ. Губернатор поддерживает Соколовского, считая, что поэт заслуживает сострадания и «вне оного он прежде смерти достигает до страданий неизлечимых; что же принадлежит до службы и его поведения, то первой я не имею права быть недовольным, а относительно последнего, он столь давно болезненен, что лишен даже и способа вести себя дурно»¹.

К концу октября в Вологду пришла «монаршая воля» о переводе Соколовского в Кавказскую область, но больной поэт долгое время не может собраться с силами, чтобы выехать. В ответ на предписание отправиться в Ставрополь, он обращается 15 декабря 1838 года к губернатору с рапортом: «Имею честь донести, что несмотря на всю болезненность своего положения и крайнее расслабление, которое одно только и удерживает меня представиться лично Вашему превосходительству для принесения моей глубочайшей признательности за исходатайствование монаршей милости,— я немедленно готов отправиться в путь»². Тут же он просит выдать ему подорожную по казенной надобности на три лошади, двойные прогоны и 23 декабря 1838 года отправляется в дальнюю дорогу.

Мучения Соколовского с отъездом из Вологды не завершились. В Москве не приняла его родная сестра. Поэт вместо лечения скитался по ночлежкам и кабакам, но и тут полиция преследовала его. Через несколько месяцев после приезда в Ставрополь, будучи одержимым «белою горячкою и воспалением в мозгу», Соколовский скончался 17 ноября 1839 года.

Продолжая протягивать «тонкую, но туго скрученную ниточку» между декабристами и Герценом, Вл. Чи-

¹ ГАВО, ф. 18, оп. 2, д. 17, л. 41—41об.

² Там же, л. 50.

вилихин вскоре меняет непрочную нить на «цепь времен» и завершает разыскания о Соколовском как о живой связи в этой цепи словами: «Деспотичный режим сломал это хрупкое звено, не имея сил разорвать цепи в исторической памяти потомков».

3. «С ПУШКИНЫМ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ»

Совсем другого свойства судьба поэта, которого и поэтом-то называли редко, а чаще всего — стихотворцем. Он, скорее, снискал славу человека дерзкого авантюристического характера. Недаром Пушкин и Гоголь увидели в нем и созданных им ситуациях нечто необычное и чрезвычайно характерное для своего времени, для выражения его духа, застойного быта, чиновничье-бюрократического режима...

Большой знаток своего края И. К. Степановский среди «выдающихся вологжан прошлого времени» прямо вслед за К. Батюшковым называет «вологодского дворянина-помещика Платона Григорьевича Волкова (1830-х и 40-х годов), бывшего помощника редактора «Библиотеки для чтения» при О. И. Сенковском». И далее без всяких сомнений утверждает: «П. Г. Волков был весьма хорошим по тому времени поэтом»¹. Почему же тогда земляки так прочно забыли Платона Волкова, а вологодские справочники полтора века молчали об этом «весьма хорошем» поэте, и только С. Венгеров в «Источниках словаря русских писателей» упоминает нашего земляка как весьма скромного стихотворца 1820—30-х годов?

Нам теперь известно, Платон Волков (1798?—1849) происходил из старинной и богатой дворянской семьи. Его предки честно служили своему Отечеству, участвовали под знаменами русской армии в разных сражениях. Одни легли на поле брани, другие, по выходе в отставку, мирно доживали свои дни в родовых вологодских поместьях.

Совсем не таков был Платон Волков. Получив, как можно полагать, достаточно хорошее по тем временам образование, он служил в гвардейском полку, но по службе далеко не продвинулся и вышел в отставку в чине подпоручика. Судя по всему, в это время он и получил

¹ Степановский И. К. Вологодский край. Страницы из истории Североведения. Вологда, 1923, с. 39.

от деда Платона наследство. Правда, крестьянские души, деревни и пустоши пришлось поделить между тремя братьями и четырьмя сестрами. Но дело поправилось женитьбой на дочери богатейшего в округе помещика Зубова. Однако жить тихой застойной жизнью глухой провинции П. Волков не пожелал, не такой у него был характер, да и поэтический голос прорезался и не давал с тех пор покоя. Окружающие его усадьбу помещики, видно, не склонны были восторгаться стихотворными опытами соседа, хотя губернатор Брусилов, знавший толк в поэзии, поощрял бравого гусара в его поэтических занятиях, запросто принимал в своем доме и даже дружил с ним. Впрочем, сам поэт, стихи которого начали появляться в печати под различными псевдонимами, не желал оставаться неизвестным провинциалом и искал признания. Во всяком случае, когда летом 1828 года Александр Измайлов познакомился в доме вологодского губернатора с этим «очень хорошим» стихотворцем, Платон Волков был уже известен в Москве.

Воспоминания свои о первых московских встречах с Волковым молодой граф Д. Н. Толстой начинает даже как-то таинственно: «Сидя однажды в театре, я заговорил в антракте с моим соседом, который, судя по костюму и по манерам, принадлежал к хорошему обществу. Он говорил очень умно и выказал много вкуса и образованности. От суждения о дававшейся пиесе разговор перешел на литературу. Собеседник мой и здесь говорил как знаток: оказалось, что он и сам занимался словесностью и писал стихи. Мы познакомились: он назвал себя «Волков».

Поскольку это единственное дошедшее до нас воспоминание современника о нашем поэте, приведу его почти полностью, хотя здесь, как во всяком воспоминании, что-то по времени перепутано, а что-то нуждается в уточнении:

«Отставной поручик Платон Григорьевич Волков служил в гвардии и получил воспитание у иезуитов, где в его время воспитывались сыновья наших вельмож, Строгановы, Протасовы, Гагарины и др. Волков был очень красив собою, вкрадчив, умен и обладал положительным дарованием как стихотворец; он особенно отличался как переводчик. В С.-Петербурге в свое время он был вхож в лучшие дома и женился на граф. Бе-

линской, родной сестре графини Бобринской. В Москве он жил в доме сей последней, что у Страстного монастыря. Я по его вызову поехал к нему. Это был вполне барский дом, великолепно отделанный, с роскошною мебелью и ливрейною прислугою. Волков как хозяин был еще любезнее, чем как собеседник; он угостил меня гастрономическим завтраком, превосходно сервированным, и напоил меня отличным вином. Знакомство наше утвердилось. Волков ездил ко мне, я к нему; мы сделали друзьями... Не знаю, что нашел во мне Волков; для меня он казался особенно привлекателен своим умом и светскою образованностью. Немалую долю привлекательности в моих глазах имело его «литераторство». Я и сам писывал стихи; но он их «печатал!»¹.

И действительно, в 1828 году в Москве вышла книга Платона Волкова «Признание на тридцатом году жизни» с посвящением графу А. А. Бобринскому, петербургский салон которого охотно посещал Александр Пушкин. Это была всего лишь первая глава из повести в стихах, завершенная угрозой предать скорому тиснению главу вторую. В повести этой, открыто подражая «Евгению Онегину» Пушкина, Волков рассказывает о былой веселой жизни своего героя Вадима и вкрапляет в повествование элементы собственной биографии («Уроков никогда не знал, Зато прелестно танцевал. Я строен был, красив собою», «Наш губернатор, помня дружбу Моих родителей, на службу Меня в Палату записал», «И был отставлен с чином я Коллежского секретаря», «Все проживал я до гроша И был для общества душа», «Я щеголь был первостатейный», «И был я в родине своей *Nec plus ultra* из щеголей!», «К театру я имел пристрастье», «в селе моем Огромный я построил дом» и т. п.).

Активизируя позицию своего лирического героя, не чуждого шутки, легкого юмора и даже иронии, усмешки над собой, автор изображает похождения, проказы и забавы изрядно разгулявшегося барина:

За долг вменял я непременный
Иметь и экипаж отменный,
Бывало, выеду как я,
Что за лихая четверня!

¹ Толстой Д. Н. Записки. — Русский архив, 1885, кн. 2, (№ 5), с. 29—30.

Что за лакеи! Как одеты!..
А что мне стоили кареты,
Коляски, дрожки и ландо?..
По-барски я всегда жывал,
Обеды через день давал;
И в постный день, и в день скромный,
Бывало, стол всегда огромный;
Каких тут не было затей?
Всегда уха из стерлядей;
Всегда запасы осетрины
И птиц дворовых, и дичины...
Десерт выписывал бывало
С нарочными издалека,
И, словом, только молока
Лишь птичьего не доставало...

Своему герою-повесе Вадиму автор «Признания» противопоставляет, правда, без особой симпатии, настоящего помещика Чарина:

Блажен, блажен, кому судьбами
Душа не пылкая дана;
Кто не знакомился с мечтами,
Кто карт не знал, не пил вина,
И с грешниками не дружился;
Кто не истратился душой,
Кто был по вкусу холостой,
Или по выгодам женился...
Блажен! Он в юности своей
Не знал ни пламенных страстей,
Ни к славе гордого порыва, —
И жизнь его была счастлива:
Он постоянное любил,
Он ассигнации копил.

Появляется в деревне и младшая дочь Чариных Полина («Приехала сердца пленять В страны родительского края»), и в нее смертельно влюбляется герой «Признания»...

Критика усмотрела в повести Волкова «описание проказ какого-то шалуна» и сожалела о подражании («Жаль, потому что по некоторым стихам в авторе заметен талант»¹). Молодой С. Шевырев, начинавший в это время выступать как критик, словно бы извинялся за автора «Признания» и считал, что ему «не стоило бы, кажется, труда признаваться в таких шалостях перед публикою»².

¹ Московский телеграф, 1828, № 14 (июль), с. 290.

² Московский вестник, 1828, ч. X, № 16, с. 370.

Но шалости Платона Волкова только начинались. Его проказам, кажется, не было предела. Неистощимой оказалась и находчивость выходить сухим из воды.

В 1830 году наш поэт поселяется в Петербурге и начинает издавать два журнала одновременно — «Журнал иностранной словесности и изящных художеств» и «Эхо», журнал словесности и мод. Первый ставил перед собой задачу знакомить русского читателя с переводной литературой, но не забывал и о состоянии изящных художеств в России, обязывался извещать и «о всех вновь привозимых в Россию иностранных книгах»¹. Сам издатель вел книжные обзоры, представлял русскому читателю новые книги французских романтиков. Обозревателю приходилось вмешиваться в литературную современность, и тогда он становился полемичен, остроумен, даже ядовит. Отмечая богатство русского языка, П. Волков укорял Ф. Н. Глинку за однообразные поэтические приемы и тут же оговаривался: «Это не есть недостаток мыслей или недостаток разнообразия в поэме, а просто, так сказать, обличение однообразия»².

Журнальные детища Платона Волкова не оказались долговечными и едва продержались пару месяцев. Промотав собранные по подписке средства, издатель бежал из столицы в Вологду и какое-то время отсиживался там. Однако он не мог примириться с поражением в журналистике и в середине тридцатых годов еще раз попробовал свои силы как помощник О. Сенковского в редактировании «Библиотеки для чтения». Может быть, авантюрный характер Волкова сказался и здесь, но об этом его предприятии пока, к сожалению, мало что известно.

Расцвет поэтической деятельности Платона Волкова падает на самое начало тридцатых годов. Его стихи появляются в лучших изданиях этого времени, альманахах и сборниках «Северные цветы», «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», «Досуги Марса». Многие его стихи трудно отыскать, так как они печатались без подписи.

Как поэт Волков начал с непосредственного восприятия мира природы, овеянного легкой романтикой. В языке природы он слышит дыхание бурь, голос самой жизни

¹ Журнал иностранной словесности и изящных искусств, издаваемый Платоном Волковым, 1831, № 1, с. 64—65.

² Там же, № 2, с. 151.

ни: «Им говорит, волной играя, В разливе бурная река,
С кургана сосна вековая И тихий шелест тростника...
И урагана дикий рев; На злачной ниве зыбкий колос,
Под небом жаворонка голос, И песней родины напев...»

Лирический герой Волкова исполнен чувства радости от общения с таинственной и торжественной природой, неги наслаждения и любви, ожидания воплощенной мечты («И заветное мечтанье В глубине души лежит, И любви воспоминанье Память сердца сохранит. Дней минувших светлый гений, Гений чистых наслаждений, От меня не отлетай! Мне в мечтаньях представляй Образ юной девы милой, И в душе моей унылой Воскреси, возобнови, Сновидения любви!»). Появляется в его стихах и образ капризного «питомца природы», горделивого мужа («Я ль, как юноша бесславной, Перед девой своенравной Стану голову склонять!..»), но во всем этом сказывается прежде всего своенравная натура самого поэта. Романтический образ молодого задумчивого витязя, сохнувшего по столь же романтизированной русалке, постепенно уходит в прошлое. Его место занимает игривый офицер-соблазнитель. Без всякой уверенности в себе он призывает юную деву ждать его, вздыхая на луну, чтобы «сливались на ней взоры наших очей»: «Ты не плачь, не горюй, Дева миленькая. Не тужи, не тоскуй, Ты хорошенькая! Из прекрасных очей Слез горячих не лей. Я твою ли слезу На груди унесу, И она в вихре сеч Станет сердце мне жечь... Не грусти обо мне! Пощадит на войне Меня вражий булат; Я приеду назад, Я другой не прельщусь, Я к тебе возвращусь»). За этими, полными мнимой страсти увещеваниями стоит сам поэт, уверенный в своей неотразимости и успехе у женщин.

Но наибольшего, кажется, накала достигает Платон Волков в воссоздании быта, в едком осмеянии нравов своего времени. В его сатирических стихах тонкое наблюдение, чуткий отклик соседствуют с острой иронией, непримиримой саркастической характеристикой. Воспевая в стихотворении «К золоту» правящее судьбами людей «божество вселенной», поэт вскрывает сущность человеческих отношений и достигает остроты обобщения:

Еще до Ромула и Рема
Была известна фиорема,
Что самый сильный талисман
Набитый золотом карман.

И в нашем просвещенном веке,
Без золота, что в человеке?
Будь он честен и умен,
Да денег нет, — так черт ли в нем!
С тобой же как-то все клентся;
Иной на божий свет родится
Глупец глупцом, да ты-то есть,
Так дураку хвала и честь...

Поэт далее отталкивается от собственного опыта, изображая заядлых игроков и кутил, теряющих человеческое обличье в погоне за этим божеством, упоминает друзей и «нежных жен», стариков, изуродованных «могучим миллионом», и людей разных сословий и поколений. Отношение к золоту становится выражением духа времени:

Видал я старых стариков,
Им шаг один уж до гробницы,
А все сидят у сундуков,
Да стерегут свои златницы...
Ты божество сословий разных,
Вельмож, дворянства и приказных;
К тебе, — оно не без грешка, —
Молитвы шлет исподтишка...

Многие сатирические стихи Платона Волкова остались неопубликованными, особенно те, в которых обличался «высший свет», сановитые лица николаевского режима. В крайне неприглядном виде в его «пасквильных» стихах (тогда считали, что Волков «всегда упогребляет таланты свои на подобные сочинения») предстал светлейший князь Ливен, приезжавший в конце двадцатых годов в Вологду для ревизии. Кстати, князь останавливался у богатейшего вологодского помещика И. А. Брянчанинова, взаимоотношения с которым, как и с его дочерьми, вызвали особое недовольство поэта-сатирика. В другом стихотворении П. Волков высмеивает дочерей этого помещика, известных ему в своих «милых слабостях», но и сам предстает здесь не в лучшем свете:

Поверьте, что для дам
Нехорошо пред светом
Браниться, с кем? С поэтом,
Покою ведь не дам,
Коль выпущу наружу
Грехов я ваших лужу...
Вы знаете, Парнас
Хоть создан не для нас,
Но можем понемногу
Туда занести мы ногу,

И под сердитый час,
Когда возьму я лиру,
Ей-ей!.. Беда. Сатиру
Я напишу на вас,
И в пламенной отваге
Я передам бумаге
Преточный всем рассказ:
О ваших похождениях,
О всех грехопадениях
И обо тьме проказ..

Как сатирик Платон Волков «в пламенной отваге» обличал не только чужие проказы, но нередко, заноса ногу на Парнас, бесхитростно рассказывал и о своих похождениях. Страсть к авантюрам в конце концов погубила поэта. Карточные игры, кутежи, амурные истории привели помещика Волкова к большим долгам и разорению. Если в карточной игре ему не везло, и он чаще всего проигрывал, то высокий стройный красавец-гусар одерживал над женщинами одну победу за другой.

По свидетельству предводителя вологодского дворянства, Волков «дурными поступками укорогил дни первой жены», а воспитанием малолетней дочери не занимался. Женившись на графине Белинской, он промотал и ее состояние, и графиня с сыном вынуждена была бежать от него. Волков пропадал то в компании московских игроков или петербургских кутил, то в среде столичных литераторов и издателей. Не однажды он оказывался в Вологде без гроша — то прикидывался «святým», отращивал бороду и ходил в монашеском одеянии, объявляя всем о своем намерении определиться в монастырь, то снимал рясу, брился и надевал фрак, но никогда не переставал играть в карты, курить трубку и еще — не соблюдал постов, что особенно волновало вологодское дворянство и трактовалось как «соблазн для народа».

Словом, Платон Волков пустился во все тяжкие. Что и говорить, заметного следа в литературе он не оставил, но, как это ни парадоксально, в истории литературы Платон Волков остался. Правда, об этом мы узнали почти полтора века спустя, хотя коллизии, созданные самой жизнью, не без участия нашего героя, были известны и Пушкину и Гоголю, особенно его похождения в Устюжне. Но об этом до нас дошли сведения самые смутные — и о случае в Устюжне, и о герое

этого случая. Долгое время они существовали как бы раздельно, хотя стремление проникнуть в замысел комедии Гоголя постепенно объединяло их.

Будем точными и последовательными, приведем сначала свидетельство титулованного аристократа, хорошо знавшего и Пушкина и Гоголя. Но не будем забывать, что перед нами — воспоминание, записанное не по горячим следам, в нем что-то воспроизведено не совсем точно, а о чем-то сказано уклончиво. «Пушкин познакомился с Гоголем, — вспоминает граф В. А. Соллогуб, — и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдававшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей»¹. Сообщается тут же, что и сам Пушкин был принят в Оренбурге за «тайного ревизора» и всегда считал себя «крестным отцом» гоголевской комедии².

Есть и еще одно свидетельство, идущее уже от Гоголя. В дневнике О. М. Бодянского записано (31 октября 1851 г.) о вечере у С. Т. Аксакова, на котором Гоголь в разговоре заметил, что «первую идею к «Ревизору» его подал ему Пушкин», но Гоголь называет не устюженский случай, а рассказывает сначала о пресловутом известном обманщике и хвастуне, основателе «Отечественных записок» П. П. Свиныне, который в «Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника». Далее Бодянский цитирует Гоголя: «После слышал я, — прибавил он, — еще несколько подобных проделок, например, о каком-то Волкове»³.

В этих свидетельствах неопределенности и уклончивости вполне достаточно. Во всяком случае, и «какой-то проезжий господин» в Устюжне, и «какой-то Волков» существуют и еще долго будут существовать вне связи друг с другом.

Но вот благодаря разысканиям устюженского крае-

¹ Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л.: Academia, 1931. с. 516.

² В бумагах Пушкина сохранился следующий набросок замысла на этот сюжет (датируется предположительно 1833—1834 гг.): «Криспин приезжает в губернию на ярмонку — его принимают за..... Губернатор честный дурак. — Губернаторша с ним кокетничает — Криспин сватается за дочь». (Пушкин А. Полн. собр. соч. Л.: Наука, 1978, т. VI, с. 425).

³ О. М. Бодянский в его дневнике 1849—1852 гг. — Русская старина, 1889, т. 64 (окт), с. 134.

веда и педагога А. А. Поздеева, нашедшего уже в двадцатые годы нашего века и позже опубликовавшего письмо новгородского губернатора А. У. Денфера от 20 мая 1829 года к устюженскому городничему И. А. Макшееву, стали известны некоторые подробности об оказавшемся в Устюжне проездом господине «из Вологды на собственных лошадях и в карете». Губернатор частью был извещен, что «некто в партикулярном платье с мальтийским знаком» (орден этот был уже упразднен, а ношение его запрещено) проживает в Устюжне более пяти дней, и потребовал без промедления уведомить его, какого звания этот человек и «не входил ли он в общественные собрания и в присутственные места»¹. По этому письму видно, что губернатор был чем-то сильно встревожен, но имя заезжего человека, по крайней мере для нас, еще долгое время оставалось неизвестным.

Лишь спустя много лет стараниями уже другого краеведа, воложанина В. К. Панова было разыскано и затем опубликовано донесение устюженского городничего И. А. Макшеева новгородскому гражданскому губернатору от 29 мая 1829 года:

«Почтеннейшее письмо Ваше 27 мая имел счастье получить, на которое имею честь донести, что точно 10 мая был приехавши в вверенный мне город отставной подпоручик вологодский помещик Платон Григорьев Волков, прибыл в город на почтовых лошадях с вологодского тракта, а на другой день прибыли его лошади в карете при слугах при нем два лакея и кучер; сам был в партикулярном платье, имел Мальтийский знак.

По приезде в город, расположился в квартире, а на другой день пригласил к себе штаб-лекаря, брал у него лекарства, за которые его удовлетворил. Я у него был, и он мне объявил, что по случаю болезни пробудет дней пять в городе...»²

Далее городничий обстоятельно сообщает, что Платон Волков был у него дома два раза, навещал исправника, был у откупщика, у штаб-лекаря на именинах, в

¹ Поздеев А. А. Несколько документальных данных к истории сюжета «Ревизора». — Лит. архив. М.: Л.: Изд-во АН СССР, вып. 4, 1953, с. 32.

² Панов В. Еще о прототипе Хлестакова... — Север, 1970, № 11, с. 125.

присутствие не входил, а в правлении городничего был частно, осмотрел острог, лазарет и аптеку, посетил духовное училище, собор, где с разрешения протопопа осматривал ризницу. При этом «самым вежливым образом» обходился со всеми, с кем общался.

Городничий не хочет относить «партикулярного человека» к числу «подозрительных людей». Он явно что-то скрывает, во всяком случае умалчивает о том, что Волкова приняли в Устюжне за ревизора. Может быть, устюженские чиновники действительно попали впросак, но делали вид, что ничего не произошло. Новгородский губернатор между тем затеял настоящую ревизию, а слухи о мнимом ревизоре поползли от местных обывателей во все стороны. В среде устюженского дворянства, по словам А. А. Поздеева, «память о комическом происшествии сохранялась довольно долго». Кстати, сам Платон Волков, оказавшись через пару дней в Петербурге, не склонен был держать в тайне свои похождения в Устюжне, его буквально распирало желание поведать все это своим друзьям да еще и присочинить что-нибудь о том, как легко и удачно одурачил тупых чиновников устюженского захолустья.

Слухи об этом довольно быстро достигли и Вологды, где Платон Волков давно уже находился под «негласным наблюдением». Правда, пользовались только слухами, но вологодские жандармы, зная, с кем имеют дело, были убеждены, что «такой дерзкий человек, как господин Волков, может еще выдумать что-нибудь вреднее» и доносили по службе об этих слухах, а начальник 1-го округа корпуса жандармов докладывал 5 июля 1829 года самому Бенкендорфу о свежих похождениях своего «плодопечного»:

«...А теперь в Вологде есть слухи, что он, проезжая через Устюжну, выдавал себя за чиновника канцелярии Вашего Высокопревосходительства, требовал себе квартиру, продовольствие для людей и лошадей, был на нескольких обедах у разных чиновников, обещал всем свою протекцию и, как говорят, оставлял адреса в канцелярию Вашего Высокопревосходительства, но неизвестно, на чье имя»¹.

Так вот, оказывается, за ревизора чьей канцелярии выдавал себя Платон Волков, оставляя адрес корпуса

¹ ЦГАОР, ф. 109, д. 236, л. 28.

жандармов... Судя по тому страху, какой Гоголь вселил в чиновников своей комедии, он знал об этом, как, впрочем, знал и о многом другом в судьбе Волкова-поэта, и особенно о его похождениях как прожигателя жизни и удачливого авантюриста. Но сам Гоголь ука- зывал и на всеобщий смысл созданного им типа, в ко- тором «много разбросанного в разных русских харак- терах»: «И ловкий гвардейский офицер окажется ино- гда Хлестаковым, и государственный муж окажется ино- гда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, ока- жется подчас Хлестаковым»¹.

Откуда знал обо всем этом Гоголь, где подсмотрел и подслушал, именно так подсмотрел и так подслушал? А может быть, по словам Белинского, он писал, не под- сматривая и не подслушивая, так как «в фантазии-то его это отразилось не так, как у всех»? Не берусь вхо- дить во все эти рассуждения, как не берусь проводить какие-либо параллели между Волковым, от которого безусловно отталкивался Гоголь, и Хлестаковым как характером гениального художественного обобщения, как знаменем времени, породившего хлестакозщину — отрицательное социальное явление. По свидетельству современного исследователя, «объективный смысл и зна- чение этого образа состоят в том, что он отразил то слияние, «значительности» и ничтожества, грандиозных претензий и внутренней пустоты, которое отличало гос- подствующие классы общества»².

Не буду воспроизводить здесь и те бесчисленные в свое время и бесхитростные восхищения краеведов тем, как осмелел Гоголь прямо-таки живых устюженских чиновников во главе с их городничим И. А. Макшеевым, а затем новую, захлестнувшую краеведов волну неисто- щимой радости от «породненности» с Хлестаковым и от упрямого удовлетворения непременно прописать гого- левский персонаж по своей «краеведческой вотчине», не останавливаясь в этой затее ни перед чем, даже перед удивлением, как это сын саратовского помещика, отправляясь в деревни отца, оказался на гракте — кратчайшем пути из Петербурга в Вологду, и не пере- ставая убеждать читателя, что треска, семга и холмо-

¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1960, т. IV, с. 101.

² Храпченко М. В. Творчество Гоголя. М.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 306.

горское мясо более присущи Вологодской губернии, чем Саратовской... Между тем образ Хлестакова еще и еще раз убеждает нас в том, что великий талант, отталкиваясь от реальной жизненной ситуации и человеческой судьбы, создает характеры громадного обобщения.

Скорее всего, мы никогда не узнаем, читал ли Платон Волков комедию Гоголя, видел ли «Ревизора» на сцене, и, если был знаком с этим произведением, то как оценивал его. Во всяком случае Осип Сенковский, в помощниках которого как редактора «Библиотеки для чтения» побывал и Платон Волков, нарочито отрывал комедию Гоголя от русской жизни и сводил к тому, что «это история одного известного случая, а не художественное создание»¹. Вот какими недозволенными средствами приходилось бороться с громадной силой сатирического обличения и реалистической типизации.

Платон Волков между тем опускался все больше и больше и дошел до того, что стал обирать своих же крестьян, выдавая им за мелкие поборы фальшивые отпусковые от рекрутской повинности. Если раньше Платон Волков «стихами легкими, инде забавными» пытался как-то убедить себя и других в том, что он способен состязаться с самим Пушкиным, то теперь для его творений не находится иного пристанища, кроме «Северной пчелы» Фаддея Булгарина. Поистине сущность Платона Волкова была исчерпана созданным Гоголем характером, соединившем в себе «значительность» и ничтожество, грандиозные претензии и внутреннюю пустоту как знамение своего времени.

¹ Библиотека для чтения, 1836, т. 16, ч. V, с. 42.

ПОЭЗИЯ МЕЧТЫ И ЧУВСТВА

Кроме стихотворений Кольцова, в «Московском наблюдателе» печатались стихотворения Красова, который был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: они очень заслуживают того, и напрасно мы забываем об этом замечательном поэте.

*Н. Г. Чернышевский.
Очерки гоголевского периода
русской литературы*

Тяжела и сурова участь этого поэта, лишения и невзгоды обильно падали на его долю, несправедливо преследовали всю жизнь. Как и Батюшков, Василий Красов был задушен своим временем, он разделил до крайности судьбу многих своих талантливых современников и друзей. Выходец из бедной разночинной среды, Красов сам пробивал дорогу в жизнь, отдавал лучшее, что имел, российской изящной словесности и вместе с поколением «молодой России» горячо мечтал о лучших днях своей Родины.

Надломленный нищетой, Красов рано ушел из литературы. Чахотка и заботы о насущном хлебе — его злейшие враги — вырвали поэта из жизни. Случай жестоко поступил с ним и после смерти. Предпринятое друзьями издание его стихотворений сгорело в одной из московских типографий. Целое столетие оставалось невыполненным завещание Н. Г. Чернышевского собрать и издать заслуживающие того стихотворения замечательного поэта уже послепушкинской эпохи, едва ли не лучшего из поэтов времени Кольцова и Лермонтова¹.

Виссарион Белинский с присущей ему горячностью и восторженностью писал, что поэтический талант Лермонтова не был в его время одинок: «...подле него блеснит в могучей красоте самородный талант Кольцова,

¹ Чернышевский Н. Г., т. III, с. 200.

светится и играет переливными цветами грациозно-поэтическое дарование Красова»¹. Неистовый Виссарион внимательно следил за творческим развитием одного из своих близких друзей, печатал стихи Красова в «Телескопе», «Московском наблюдателе», а затем почти в каждой книге «Отечественных записок». Он высоко ценил его талант и дорожил дружбой с ним. Когда стихи Красова были украдены в редакции «Московского наблюдателя» и неожиданно появились в журнале «Библиотека для чтения», Белинский радовался, что «прекрасные стихотворения любимого и уважаемого» поэта не утратились для публики, что благодаря этой странной случайности «Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность». Талант Красова, по словам Белинского, «давно уже признан публикой» и его стихотворения могут быть «громко хвалимы».

Поэзия Красова пользовалась широкой популярностью среди его современников, стихи поэта читались с увлечением, переписывались и ходили по рукам в списках, заучивались наизусть, цитировались в статьях, ставились эпиграфами к повестям, перепечатывались в хрестоматиях, а романсы на слова Красова («Опять пред тобой я стою очарован» и др.) исполняются и в наши дни. Современников привлекали искренность и благородство автора «чрезвычайно теплых и милых стихотворений». Они были примечательны для них «бойкостью стиха и эффектом приемов, не лишенных грации»². Белинский ценил лирические стихотворения своего друга не только за пламенное чувство, но и за художественную форму лучших из них. Добролюбов видел в «звучных стихах» Красова «живую мысль и искреннее, теплое чувство»³.

Трудно дать портрет Красова: слишком скупые сведения о нем дошли до нас, а его рисованное изображение и теперь остается неизвестным.

Современники характеризуют Красова как человека исключительно восторженного, с возбужденным вообра-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 371.

² Анненков П. В. Литературные воспоминания, СПб., 1909, с. 388.

³ Добролюбов Н. Собр. соч. в 3-х т. М.: Гослитиздат, 1950, т. 1, с. 377.

жением и болезненно развитой фантазией. «Ко всему этому присоединялась у нашего поэта, — писал о Красове критик П. Анненков, — юношеская горячность в привязанностях, совершеннейшая беспечность в жизни и неизменная доброта сердца»¹. По его же словам, это была искренняя, детски открытая натура, всегда вызывавшая глубокую симпатию людей, окружавших его. Небольшого роста, плотный, хотя и несколько угловатый, необычайно подвижный, с живым добрым лицом, «превосходный пловец, смелый наездник и даже локкий танцор», Красов никому не навязывал своего знакомства и оставался в глазах современников робким и застенчивым человеком. По словам одного из них, «его безыскусственная внешность представляла решительную противоположность с тем, что мы привыкли понимать под аристократической наружностью», «Красов по своему происхождению, по своим симпатиям и по роду занятий глубоко коренился в русском народном мире и представлял живой контраст с высшим русским обществом, болтавшим по-французски»². Превосходный рассказчик, Красов увлекал и захватывал собеседника различными эпизодами из своей богатой событиями жизни, рассказывал так образно и с таким воодушевлением, что слушатели переживали эти события вместе с ним. Он знал людей разного типа, вышедших из народа, мастерски передавал их поведение, выражение лица, особенности речи и совершенно не мог рисовать людей высшего круга.

Друзья Красова отвечали на его горячую привязанность сердечной взаимностью, а самый близкий его друг Николай Станкевич, по словам П. Анненкова, никогда не забывал о своем Красове, любил его искренне, как «любят существо, живущее по своим особенным, почти исключительным законам». Он приходил в восторг от его благородных фантазий, и считал, что жизнь «не полна без Красова»³.

«Как же я рад, — писал Станкевич своему «любезному Васютке», — что мне не трудно будет ждать зимы, чтоб поговорить с моим Красовым, что, приехавши в Москву, я ту ж минуту найду тебя, ветрбона, и при-

¹ Анненков П. В. Указ. соч., с. 387—388.

² Воспоминания Фридриха Боденштедта о пребывании в России в 1841—1845 гг. — Русская старина, 1887, т. 54, с. 425.

³ Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, с. 441, 442, 578.

тащу к себе за шиворот и задушу вопросами и ответами, рассказами о былом и несбывшемся, о том, чего не будет и не должно быть. Ты, в свою очередь, тоже говоришь мне много... Пусть мал и незаметен будет художнический талант твой; но эти пламенные, искренние беседы души с самим собою не сохраняют ли ее энергии, не спасают ли ее сокровища от наития тяжелых житейских смут и забот?».

Белинский в письмах к московским друзьям никогда не забывал передать свое «братское лобызание» милтому Василию Ивановичу Красову, писал ему теплые письма, просил новые стихи и сердился, если поэт не присылал их.

В. П. Боткин, Т. Н. Грановский принимают самое близкое участие в судьбе Красова, вернувшегося в Москву из Киева, А. В. Кольцов радуется поэтическим успехам Красова, посылает его «славные пьесы»¹ Белинскому. Белинский пишет Боткину: «Красову скажи... что его «Песня Лауры» и «Флейта» — прелесть, чудо, объядение — хороши, мочи нет — облобызай его за это»². В своих статьях он высоко отзывается о «прекрасных поэтических стихотворениях» Красова, цитирует элегию «Взгляни, мой друг: по небу голубому», выделяет «проникнутое грустным чувством» стихотворение «Клара Моврай», элегию «Когда порой свободный от грудов», «истинный перл» «Известие», «все проникнутое мыслию и отличающееся художественною отделкою формы» и многие другие стихотворения любимого им поэта.

Находясь в кругу передовых людей своего времени, в центре литературной жизни тридцатых и сороковых годов прошлого века, Красов выделялся как поэт, творчество которого выражало чувства и настроения лучших людей его времени, душевные тревоги «молодой России». Красов не поднялся вместе с Лермонтовым до сурового обличения крепостнической действительности. Выражая душевную неудовлетворенность молодого поколения этой действительностью, тяжелые переживания своего лирического героя, уже надломленной жизнью, Красов не был, однако, только певцом страдания, несбывшихся надежд и упований. Поэт привлекает нас

¹ Кольцов А. В. Полн. собр. соч. СПб., 1909, с. 234.

² Белинский. Письма. Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. СПб., 1914, т. 2, с. 167, 174, 196, 211.

большой любовью к жизни, искренним и чистым чувством всей своей широкой и доброй души, светлой мечтой и постоянным ожиданием радостного будущего. Лирическая взволнованность, элегическая грусть, находившая подчас тонкие музыкальные формы под пером Красова, сочетаются с присущей его русскому таланту народной простотой поэтической речи, а восторженная романтичность переплетается с чисто реалистическим изображением жизни.

II

Василий Иванович Красов родился 23 ноября 1810 года¹ в Кадникове, маленьком уездном городке Вологодской губернии, в семье бедного священника. Детство поэта прошло во Флоровском, где его отец Иван Федорович Красов был соборным иереем Николаевской церкви.

Будущий поэт рано узнал нелегкую жизнь простого народа, проникся его настроениями и думами. Красов называл свое детство «бедным», не раз с грустью вспоминал о нуждах, никогда не покидавших их большую семью. И все же детские годы поэта, на долю которого, как и на долю многих других передовых людей его времени, выпала нищенская, полная лишений и невзгод жизнь, были лучшим в сравнении с теми, какие пришлось ему пережить позже.

Красов любил родные места, в которых провел свои «лучшие дни». Он с гордостью называл себя «сыном севера», в письмах к В. Белинскому высказывал заветное желание получить место учителя в своей «северной, родной» губернии. Тоскуя по родному краю, поэт не раз рисовал себе овеянные сладкой грустью образы «дальней милой стороны», не раз вспоминал «детских лет волнующую даль»:

Наш старый дом, наш бедный городок,
И темные леса, и бурный мой поток,
И игры шумные, и первое волненье —
Все живо вновь в моем воображеньи...
Вон дом большой чернеет над горой,
Заря вечерняя за лесом потухает...

В сентябре 1821 года родители определили Василия Красова в Вологодское духовное училище, где уже учи-

¹ ГАВО, ф. 496, оп. 11, д. 30 (Метрики Кадникова и его уезда. 1810 год).

лись его старшие братья. Училище помещалось в одном здании с духовной семинарией, а его казеннокоштные ученики жили здесь же вместе с семинаристами, с малых лет впитывая в себя жестокие и грубые «бурсацкие» нравы. Изю дня в день магистры и кандидаты богословия, архимандриты, протоиереи, инодияконы и прочие наставники училища и даже студенты семинарии вдалбливали ученикам одно и то же — священную историю, катехизис, церковный устав. Особое внимание обращалось на знание древних языков и случалось так, что ученики знали их лучше, чем свой родной русский язык¹.

Василий Красов оказался учеником «примерно доброго» поведения, «способностей отличных, прилежания ревностного, успехов превосходных»². В 1825 году он заканчивает училище и вслед за своими братьями Федором, Николаем и Глебом переводится в Вологодскую духовную семинарию.

Будучи семинаристами, братья Красовы находились на собственном содержании, но, как и другие, должны были ревностно блюсти строгий режим «вологодской бursы». Стоило лишь одному из них, Глебу, заглядеться однажды на «гарнизонные упражнения», проходившие у самой семинарии, на «плац-параде», опоздать на занятие по словесности и «непристойным убранством одежды» произвести в своих товарищах «всеобщее смеяние», как он тут же был поставлен на колени, а потом исключен из семинарии и отдан в солдаты.

Василий Красов и в семинарии обнаружил отличные способности и успехи и шел по прилежанию и успеваемости в «первом разряде»³. Здесь он получил хорошую подготовку по греческому и латинскому языкам, но заметного интереса к богословским наукам не проявлял. Уже в семинарии Красов начал писать стихи, и мечта о литературе, об университетском образовании с тех пор не покидала его. «Любить изящные науки и упражняться в оных, — писал Красов, — было издавна требованием и утехой души моей»⁴.

¹ Лебедев В. Историческая записка о состоянии Вологодского духовного училища за 100 лет его существования. Вологда, 1916.

² ГАВО, ф. 466, оп. 1, д. 90. Годичная ведомость Вологодского уездного училища за 1823/24 учеб. год.

³ Там же, д. 132, д. 96.

⁴ Архив МГУ, ф. II, 1 с., д. 133, л. 4. 1830 г. «О принятии в университет в студенты Александра Лавдовского и Василия Красова».

Осенью 1829 года Красов самовольно покинул семинарию, уехав к отцу в Кадников. Вскоре оказалось, что он «одержим припадками грудной болезни». Несмотря на это, правление Вологодской семинарии вынуждало отца «представить безотлагательно сына своего в семинарию». Лишь летом 1830 года Красов исключается из семинарии «за малоуспешности, порожденные продолжительной болезнью»¹. Между тем он еще в апреле 1830 года подал прошение в Московский университет, в котором указывал, что достиг возможности выполнить свое давнее желание «образовать себя под сению сего высокого заведения в словесных науках»².

Солнечным августовским днем 1830 года, получив долгожданное свидетельство об исключении из семинарии, Красов вместе со своим семинарским товарищем Александром Лавдовским отправился в трудный по тем временам путь — в Москву, а 9 сентября профессора словесного факультета (Чумаков, Ивашковский, Победоносцев и др.) уже экзаменовали Красова «в языках и науках, требуемых от вступающего в университет в звании студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании»³.

Ожидая увольнения из духовного звания, Красов начал посещать лекции. А 8 декабря 1830 года последовало официальное распоряжение включить Красова и поступавших вместе с ним семинаристов «в список своекоштных студентов, взяв с них подписки о непринадлежности к тайным обществам, о хождении в форменной одежде и поручительство за благонадежность поведения их»⁴.

III

Осенью 1830 года по Москве губительно быстро распространялась холера, унося жертвы одну за другой. Кто мог, спешно покинул город, а оставшиеся укрылись в своих домах, — древняя столица была оцеплена строгим военным кордоном. Закрывались учебные заведения, присутственные места, были запрещены публичные увеселения, прекратилась торговля. Священники с хоругвями обходили свои приходы, устраивали молебны.

¹ ГАВО, ф. 466, оп. 1, д. 96, 143, л. 857об. — 858.

² Архив МГУ, ф. II, д. 133, л. 4.

³ Там же, л. 6.

⁴ Там же, л. 9.

В эти дни студентов всех факультетов собрали на университетский двор и объявили о закрытии университета. Распрощавшись с казеннокоштными товарищами, небольшими группами расходились студенты по домам. Среди них был и Василий Красов, своекоштный студент, снимавший в городе полуподвальную комнатку.

Удручающе безмолвны и пустынно были московские улицы. Лишь изредка в направлении холерных барачков с глухим стуком проносились тяжелые четырехместные кареты. Прохожие в страхе шарахались от них, бросались в первые же подворотни.

Холера неохотно оставляла Москву, город медленно пробуждался к жизни. Лишь в январе 1831 года возобновились лекции в университете, но студенческая жизнь еще долго не входила в свою нормальную колею.

Едва Красов переступил порог Московского университета, как от него потребовали собственноручной подписки, что он не принадлежит ни к какому тайному обществу «ни внутри империи, ни вне ее» и обязуется «впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь»¹.

Напуганные восстанием декабристов, царь и его жандармы душили всякое живое слово, живую мысль в стране. Мрачная тень николаевской реакции тяжело пала и на Московский университет. Сделано было все, чтобы «оказенить» науку, поставить ее на службу «царю и отечеству». Значительная часть московских профессоров (особенно Победоносцев, Ульрихс, Терновский) охотно стали послушными проводниками охранительно-реакционной идеологии. Их напыщенные, оторванные от жизни лекции, схоластические лженаучные курсы вызывали даже в отзывчивых студенческих сердцах безысходную скуку и раздражение. По словам В. Г. Белинского, в лекциях профессоров Московского университета «невежество, запоздалость, мелкость, недобросовестность, явное искажение истины так ярко бросались в глаза»².

Вырвавшись из косной семинарской среды, Красов жадно впитывал в себя столичные впечатления, приобщался к новой для него жизни и не жалел сил для учебы. Усердие, хорошая подготовка, особенно по древ-

¹ Архив МГУ, ф. II, 1 с., д. 133, л. 11.

² Белинский. Письма, т. I, с. 85.

ним языкам, выделяли Красова. Товарищи это заметили и называли его в числе людей, «горячо принявшихся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Ефремов, Лермонтов»¹.

В числе первых шел Красов в классе латинского языка, высший балл получил он и по русской словесности, в то время как результаты его товарищей по курсу (Н. Станкевич, В. Белинский, Я. Почека, М. Лермонтов, С. Строев и др.) «оказались довольно плачевными»².

Занятия в этот год шли с перерывами, профессора часто не являлись на лекции, манкировали своими обязанностями и студенты. Все они, в том числе и Красов, были оставлены на повторительный курс. В новом учебном году снова пришлось слушать те же курсы тех же бездарных профессоров.

Схоласт и педант П. Победоносцев, читавший курс русской словесности, был совершенно чужд современной литературной жизни. Цепляясь за авторитеты классицизма, этот литературный старовер напыщенно и скучно излагал студентам инверсы, автении, требовал от них составления «хриек».

Литературное староверство, напыщенная риторика никак не могли увлечь полного жизни и жажды знаний Красова. Он и его товарищи по-своему, с озорством высмеивали все устаревшее в науке. Не останавливались и перед проказами: то выпускали на лекции П. Победоносцева воробья и, когда он принимался летать по аудитории, негодовали на такое нарушение приличия, тут же с шумом и ревностным усердием принимались ловить его, забавляясь гневом профессора³, то на лекции того же Победоносцева «о хрии простой и извращенной» вдруг устанавливалась коварная тишина и откуда-нибудь из задних рядов «раздавался тихий, мелодический свист, обыкновенная мазурка или какой-нибудь танец», потом «музыка умолкала, и за ней следовал взрыв рукоплесканий и неистовый топот»⁴.

¹ Вистенгоф П. Из моих воспоминаний. — Исторический вестник, 1884, т. XVI, с. 332.

² Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография. М.: Гослитиздат, 1945, с. 237—238.

³ Аксаков К. С. Воспоминание студентства 1832—1835 годов. СПб., 1911, с. 12.

⁴ Воспоминания Г. Головачева. Цит. по кн.: Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография, с. 242.

Из старой профессуры наибольшим уважением студентов пользовался, пожалуй, лишь один М. Т. Каченовский, профессор русской истории, создатель так называемой «скептической школы» в исторической науке. Человек острого ума, он будил у молодежи критическое отношение к русской истории. Среди студентов второго курса, который был, по словам К. Аксакова, в отличие от первого, «богат людьми более или менее замечательными» (среди них он называет и Красова), М. Т. Каченовский нашел немало последователей. Многим был обязан ему и Василий Красов.

В зимний семестр 1832 года приступил к чтению курса истории изящных искусств, а затем перешел к теории искусств молодой профессор Н. И. Надеждин, сыгравший особую роль в литературном воспитании Красова и его товарищей. «Это был человек, — писал о Надеждине один из его учеников Иван Гончаров, — с многостороннею, всем известною ученостью по части философии, филологии... Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима. Чего только не касался он в своих импровизированных лекциях»¹.

Широтой научных интересов, глубиной мысли, большим и свежим материалом, живостью и яркостью его изложения, редким профессорским даром и приветливым гуманным обращением молодой ученый «возбудил в студентах необыкновенный энтузиазм»². Н. И. Надеждин горячо выступал против консервативного романтизма, стоял за поэзию высокой мысли, за связь ее с жизнью. Вдохновенное слово талантливого критика и ученого глубоко проникло и в отзывчивое сердце Красова. Как и его близкий товарищ Н. Станкевич, он мог сказать, что, «Надеждин много пробудил в нем своими лекциями».

Красов постоянно тянулся к знаниям, но далеко не всегда находил их в лекциях своих профессоров. При-

¹ Гончаров И. А. Собр. соч. М.: Гослитиздат, 1954, т. VII, с. 211.

² Прозоров П. Белинский и Московский университет его времени (из студенческих воспоминаний). — Библиотека для чтения, 1859, т. 158, № 12, с. 10.

ходило самостоятельно заниматься университетскими дисциплинами, самому руководить своим чтением, нередко пропуская занятия в университете. Не имея к тому же достаточных средств к существованию, Красов чрезвычайно бедствовал, давал грошовые уроки по частным домам, кочевал из переулка в переулок, спасаясь под одеялом в своей постели от злого холода сырых подвальных квартир московских обывателей.

IV

Ранним утром со всех сторон стекалась на Моховую шумная толпа студентов — в форменной одежде, со шпагами, в треугольных шляпах. Оживленно переговариваясь, сходились они в своей аудитории слушать монотонные лекции бесцветных профессоров. Однообразно и скучно проходил день в университете. Одна за другой, утомительно, без перерыва шли лекции. «За Давыдовым следовал Каченовский, — вспоминает К. Аксаков, — и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это, следствие ли Давыдова, или предчувствие Каченовского?»¹

Студенческая среда, в которую вошел Красов, была необычайно пестрой, разносословной. Со всех концов страны — часто, как и он, пешком, в рваных сапогах, без всяких средств, с одной лишь тягой к знаниям — стекались сюда представители разночинного поколения. Московский университет становился центром молодой демократической России. Его аудитория, по словам Герцена, развивала студентов «юным столкновением, обменом мыслей, чтений». Добрые товарищеские отношения, основанные на чувстве человеческого равенства, культ дружбы, отсутствие светского лоска и житейского благоразумия, горячность молодости, которая все «более и более слышала в себе умственные и нравственные силы», — все это роднило и спланивало студентов в единую семью.

На одном курсе с Красовым учились многие впоследствии примечательные люди, его университетские товарищи — Виссарион Белинский и Михаил Лермонтов, Николай Станкевич и Сергей Строев, Осип Бодянский и Александр Ефремов. На этом же курсе слушал лек-

¹ Аксаков К. С. Указ. соч., с. 30.

ции Иван Гончаров. На старших курсах учились товарищи Красова — Януарий Неверов и Иван Ключников, студентами первого курса были пятнадцатилетний Константин Аксаков и совсем юный Иван Тургенев. Среди студентов физико-математического факультета обращал на себя внимание худенький, подвижный, веселый и бойкий юноша с коротко остриженными светлыми волосами — Александр Герцен. Рядом с ним нередко видели серьезного, всегда задумчивого Николая Огарева.

Общительный Василий Красов быстро приобретал в студенческой среде друзей и знакомых. В свободное от лекций время он вместе с новыми друзьями страстно и горячо спорил, рассуждал, фантазировал. Не принимал участия в этих «заносчивых спорах» смуглый сутуловатый юноша с большими горящими черными глазами и чертами лица как будто восточного происхождения. Садился он всегда вдали от товарищей, в дальнем углу аудитории, у окна, и, опершись на локоть, углублялся в чтение. Это был Лермонтов, тот, который впоследствии так выразительно живописал:

Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их шютуки, висящие клочками...

Этот юноша привлекал внимание Красова и его товарищей. Однажды они сделали попытку познакомиться с ним, послав на переговоры Вистенгофа, Красов посоветовал:

— Вы подойдете, Вистенгоф, к Лермонтову и спросите его, какую это он читает книгу с таким постоянным, напряженным вниманием? Это предлог для разговора самый основательный.

Станкевич и Ефремов одобрили совет своего друга, и Вистенгоф отправился в дальний угол аудитории. Лермонтов встретил его неприветливо, и на вопрос ответил резко¹. Биограф Лермонтова объясняет эту резкость

¹ Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 114.

нежеланием поэта сходитья со студентом, бытльские интересы которого были ему слишком хорошо известны¹.

Но, несмотря на неуживчивый характер Лермонтова, Красов все же познакомился с ним и впоследствии вспоминал, что «Лермонтов был когда-то короткое время» его «товарищем по университету»².

Раньше других товарищей из группы Станкевича сошелся Красов и с Виссарионом Белинским, автором пьесы «Дмитрий Калинин», цензурное запрещение которой взволновало студентов, вызвало многочисленные толки и разговоры. Белинский, правда, к этому времени редко посещал лекции, часто болел, но Красов встречался с ним в казеннокоштных номерах. Его старший семинарский товарищ Николай Лавдовский в феврале 1831 года добился казеннокоштного содержания, и Красов, поддерживавший с ним постоянную связь, был значительно ближе, чем его новые друзья, к казеннокоштным студентам, разделяя с ними те же лишения и бедствия.

Но особенно тесно сблизился Красов с Николаем Станкевичем, который вскоре стал его истинным другом. Вначале Станкевич брал у Красова уроки в латинском и греческом языках, затем они вместе занимались историей и другими науками, целыми ночами просиживали за чтением Шиллера, Гете, Бальзака, Козлова. В декабре 1832 года Красов напечатал в «Телескопе» стихотворение «Куликово поле» с посвящением Н. В. Станкевичу, обращался к нему и в другом своем стихотворении — «Булат». И Станкевич отвечал ему трогательной привязанностью и горячей любовью.

Юное поколение «молодой России» все больше проникалось духом политического свободомыслия и критического отношения к окружающей их жизни. Современная действительность давала немало пищи для оживленных споров и обсуждений. Вспыхивали «холерные бунты», восстания в Крыму и на Кавказе, по всей стране прокатилась весть о польском восстании, об июльской революции 1830 года во Франции — все эти события надолго приковывали внимание студентов, развивали среди них оппозиционные антикрепостнические настроения.

¹ Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография, с. 251.

² Бродский Н. Л. Поэты кружка Станкевича. — Известия ОРЯС ИАН, 1912, т. XVII, кн. 4, с. 34.

В студенческих кругах велись разговоры о бедствиях русского народа, о его бесправии. Волновались студенты-поляки. Возникали тайные студенческие кружки — «Литературное общество 11 нумера», руководимое Белинским, «Тайное общество Сунгурова», кружок Герцена и Огарёва, в котором уже рождалась мечта о том, «как начать в России новый союз по образцу декабристов», «Дружеское общество» И. Ключникова, Я. Неверова, И. Оболенского и другие «группы близких между собой товарищей».

Красов находился среди оппозиционно настроенной молодежи, ненавидевшей самодержавие и крепостнические порядки. Многие из его товарищей принимали самое живое участие в протестах против университетского режима, в страстных спорах искали путей к правде, к лучшему общественному устройству. Не оказался в стороне от этого и Красов. Одним из первых он вошел в философско-литературный кружок Н. В. Станкевича.

Однокурсник Красова Алексей Беер приглашал близких ему студентов в свой дом на танцевальные вечера. Там произошла встреча Станкевича и его товарищей с Я. Неверовым, у которого вскоре возникла мысль «основать общество дружеское между несколькими студентами для совокупных трудов на поприще образованности»¹.

«Дружеское общество» (Я. Неверов, И. Ключников, И. Оболенский) собиралось несколько раз для совместных занятий, но они вскоре были прерваны арестом Ивана Оболенского. В это время, как полагают исследователи, и возникла мысль перенести занятия кружка на квартиру Станкевича, который постепенно стал его руководителем. По словам Я. Неверова, «наиболее выдающимися членами кружка были: Сергей Строев — историк, Красов — поэт, помещавший свои стихотворения в тогдашних журналах, Ключников»². Таково было первоначальное ядро кружка, а с 1833 года в него уже входила довольно значительная группа участников, в том числе В. Белинский, А. Ефремов, О. Бодянский, А. Беер, К. Аксаков и др.

¹ Архангельский К. П. Из истории кружка Н. В. Станкевича. — Воронежский краеведческий сборник. Воронеж, 1924, вып. 1, с. 32.

² Бродский Н. Я. Неверов и его автобиография. — Вестник воспитания, 1915, сент., с. 112.

Собирались за чашкой чая у Станкевича, жившего на Дмитровке, в доме профессора М. Г. Павлова. Целые вечера проводили в чтении, в задушевных беседах и спорах, хором пели студенческие песни, обсуждали новые произведения, новые театральные постановки, читали свои стихи, увлекались историей.

Большое влияние на формирование художественных вкусов кружка оказывали произведения Гоголя, появлявшиеся тогда в печати. Гоголем зачитывались и восхищались так же, как зачитывались и восхищались стихами Пушкина, посещение которым Московского университета было памятно, по словам И. Гончарова, «всем тогдашним студентам».

«В этом кружке, — вспоминал о кружке Станкевича его участник К. Аксаков, — выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, — воззрение большей частью отрицательное». В кружке, по его словам, сильно нападали на казенный российский патриотизм, на ложь, на всякую фразу и эффект, горячо желали «правды, серьезного дела, искренности и истины». К. Аксаков вместе с тем указывал, что «кружок этот, будучи свободомысленен, не любил ни фрондерства, ни либеральничанья... даже вообще политическая сторона занимала его мало»¹.

Четкого политического лица, как утверждают исследователи, кружок действительно не имел. Сам Станкевич, человек живого ума и яркого обаяния, оказывавший большое влияние на своих товарищей, уклонялся от острых политических вопросов своего времени, был противником насильственного изменения государственного устройства². Цельность природы, широта мыслей и глубина чувств Станкевича породили безграничность его нравственного авторитета не только среди близких людей. С именем Станкевича связан своеобразный облик общественного деятеля, природы честной и нравственной, не проявившейся, по словам Добролюбова, «в энергичной деятельности общественной», но выработавшей свои убеждения и жившей не в разладе с ними, — «такая натура не остается без благотворного влияния на общество именно своею личностью»³.

¹ Аксаков К. С. Указ. соч., с. 17—19.

² Архангельский К. П. Из истории кружка Н. В. Станкевича, с. 32.

³ Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1936, т. 3, с. 74.

Вместе с тем приход в спаянный общими интересами и товариществом кружок властного Михаила Бакунина привел к идейно-нравственным столкновениям среди молодых людей, а попытка Бакунина навязать свой «гнетущий авторитет» вызвала резкий протест Белинского.

В годы открытого «гонения всякой мысли», когда, по образному выражению А. И. Герцена, «серое осеннее небо тяжело и безрадостно заволокло душу»¹, молодые люди кружка Станкевича жили богатой духовной жизнью и, размышляя о тревожной и мрачной современности, мучительно искали истину и верили в лучшее будущее России.

Самое заметное место в этих спорах остро мыслящих молодых людей занимал «неистовый» Белинский. Уже тогда его открытая позиция, острота не только литературных суждений, но и смелая постановка проблем развития России привлекали горячие сердца друзей и особенно находили поддержку у поэтов кружка — восторженного Красова и скептического Ключникова.

Разночинскому слою кружка Станкевича оказались сродни как критика официальной России и ее казенной идеологии, так и активная мечта о лучшей действительности. Страстно и горячо, весь отдаваясь воодушевлению, мечтал о прекрасном будущем России и о своей лучшей доле и Василий Красов. Своей поэтической фантазией он намеренно скрашивал те ужасные обстоятельства, в которых жил. Молодой поэт, «находясь в таких же бедственных положениях, как и Белинский, строил себе свой собственный мир иллюзий и уходил в него, забывая и холод и голод действительности, и снисходительный юмор своих богатых друзей»².

Красов всегда принимал живое участие в беседах об изящном, о поэзии и театре, о любви и дружбе, в занятиях литературой и историей, которые поначалу прежде всего привлекали участников кружка. Он охотно фантазировал, рисовал своим товарищам «со всеми невольными прикрасами возбужденного воображения»³ свои встречи с неземными созданиями.

Красов — частый гость и самый близкий друг Станкевича. Он, можно сказать, живет у него. В декабре

¹ Герцен А. И., т. IX, с. 288.

² Скабичевский А. Соч. СПб., 1903, т. 1, с. 299.

³ Анненков П. В. Указ. соч., с. 387.

1833 года Станкевич пишет Я. Неверову о своем новом друге: «Он каждый день почти ночует у меня»¹ Вместе они проводят время в семье Беер, увлекаясь сестрами Натальей и Александрой, вместе готовятся к экзаменам, зачитываются немецкими поэтами, читают друг другу свои стихи, гуляют по Кремлю. Станкевич убеждает Красова заняться историей живописи для своей диссертации.

«Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, — пишет Станкевич, — ограничивается Красовым и Белинским: эти люди способны вспыхнуть, прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига!»²

Многое сближало Красова и с Белинским, перед талантом которого юный поэт просто благоговел. А Белинский видел в своем друге поэта, способного выразить настроения «молодой России».

Так Красов оказался в самом центре духовной жизни своего времени, атмосферу которого И. Тургенев передает в романе «Рудин», вызвавшем большой общественный интерес. «Когда я изображал Покорского (в «Рудине»), — признавался писатель, — образ Станкевича носился передо мной — но это только бледный очерк»³. В образе самого Рудина современники угадывали некоторые черты Бакунина, в поэте Субботине легко узнавали Василия Красова, а рядом — его друзей Ивана Ключникова, Николая Кетчера... Герой Тургенева Лежнев с волнением рассказывает о благородном влиянии кружка Покорского:

«Вы представляете, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять

¹ Переписка Н. В. Станкевича, с. 267.

² Там же, с. 287.

³ Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти т. М.: Гослитиздат, 1956, т. 11, с. 235.

молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые восклицания; сорокалетний бурш, сын немецкого пастора, Шеллер, прославивший между нами за глубочайшего мыслителя по милости своего вечного, ничем ненарушимого молчания, как-то особенно торжественно безмолвствует; сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется; два-три новичка слушают с восторженным наслаждением... А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе... Помнится, идешь пустыми улицами весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее... Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом... Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей! Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского — и все остатки благородства в нем зашевелиятся, точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую стеклянку с духами...»¹.

V

Вскоре после вступления в университет Красов стал среди своих товарищей «признанным поэтом». Уже в 1832 году Н. И. Надеждин привлек его к сотрудничеству в «Телескопе», а затем почти каждую неделю печатал его стихи в «Молве». Шестого июля 1833 года на традиционном торжественном акте университета по случаю окончания учебного года студенческий хор исполнил кантату Красова, музыку на слова которого сочинил композитор Г. Кашин².

Восторженно воспринимая настроения кружка Станкевича, проникаясь мечтой о прекрасном, о высоком благородном подвиге и не видя этого в окружающей

¹ Тургенев И. С., т. 2, с. 69.

² Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорского Московского университета июля 6 дня 1833 года. М. В университете. типографии, 1833, с. 88—91.

его жизни, Красов прежде всего обращался к темам исторического прошлого русского народа.

Посвящая первое свое стихотворение «Куликово поле» Станкевичу, Красов прославляет героические подвиги русского народа в борьбе с неумолимой и жестокой татарской ордой. Он восхищен гением и мужеством своих предков, их славной борьбой во имя «родины несчастной, угнетенной», борьбой с тиранством за народную свободу. Молодой поэт обращается к временам национально-освободительного движения, рисует образы Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, вспоминает о польской интервенции, о битве со шведами, полный сознания величия этой борьбы. Дедовский меч напоминает поэту о воинской славе русского народа. «России мститель роковой», заветный булат «погулял в полях Полтавы для русской чести, русской славы», он «выручал и честь Отчизны, и честь великого Петра». Теперь же меч русской славы покрылся ржавчиной и напоминает лишь «живой рассказ о старине». Полный «возвышенных желаний», поэт готов отточить заветный дедовский меч, войти вместе с друзьями в зарево сраженья «за честь родного края». Красов призывает познать подвиги славян, испить старинную отцовскую чашу, которая, быть может, помнит «злодея Мамаю и тяжкое иго жестоких татар»:

Ну, пейте ж из чаши заветной, друзья,
И пойте победы, нынь очередь наша!

Поэту «радно за честь родного края и действовать и славно умереть», он готов отдать весь жар своего сердца, все свои юные силы служению Родине. Но эти мотивы не стали характерными для дальнейшего творчества Красова. Поэт рано познал всю горечь жизни, его восторженные мечты рушились, соприкасаясь с мрачной николаевской действительностью.

В 1834 году Красов успешно закончил университет и «за отличные успехи и поведение определением Совета 1834 года июня 30 дня удостоен кандидатом отделения словесных наук»¹.

Навсегда протистившись с Московским университетом, Красов писал А. А. Беер: «Но мой удел? Он еще скрыт

¹ Архив МГУ, ф. II, д. 253 — 1825 г. «Об увольнении из университета кандидата Василия Красова», л. 2.

в темной будущности. Пускай судьба правит моим кормилом... теперь я вступаю в этот новый мир, — в мир самобытной деятельности. Курс университетский кончен, кончена жизнь университетская. Товарищи разлетелись, общий интерес исчез. Там была цель близкая, были сотрудники-товарищи, жили бесечно под опекою начальства — теперь все кончено. Я стою один, как развалина. Странно, многие радовались окончанию, я ни минуты не мог этого сделать. «Как, — был первый вопрос моего духа, — ты кончил приготовление к деятельной жизни? Что ж ты будешь делать и готов ли ты? Какой подвиг избереешь в деле отчизны, испытал ли, сознал ли свои силы...?» Уныние было ответом, я был не весел, — теперь моя жизнь — длинная дорога, теряющаяся за дальними горами, река, текущая в океан вечности...»¹.

Красов горит желанием служить родине, с радостью готов погрузиться в «мир изящной деятельности, мир самоуглубления, мир искусства». Он с упоением читает Шиллера, избирая его своим другом, товарищем, наставником; вместе с друзьями отдыхает за городом, бывает со Станкевичем в Архангельском, считая, что ничто не воспитывает так чувства прекрасного, как дружба с природой.

Окончание университета не внесло, однако, каких-либо существенных перемен в жизнь Красова. Его обеспеченные друзья, нередко приходившие на помощь, разъезжались по своим имениям, «прошлый мир товарищества» рушился, благим надеждам юного поэта не суждено было осуществиться, и он начинал утрачивать возвышенную мечту о лучших временах. Красов тяжело переживал материальную необеспеченность своих родителей, постоянно просивших о помощи. Как вспоминает П. Анненков, «по выходе из университета он жил бедно»², все больше терял и без того подорванное нуждой и постоянными лишениями здоровье.

До нас дошли весьма скудные сведения о жизни поэта в это время. Третьего июня 1834 года Станкевич сообщает о предполагаемом отъезде Красова из Москвы «на неделю», но в июле и в августе пишет ему в Москву из Петербурга и из деревни, просит прочитать пись-

¹ Красов В. И. Сочинения. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982, с. 132.

² Анненков П. В. Указ. соч., с. 387.

мо Белинскому, передать почтение и поклоны Строеву, Ефремову, Бодянскому, Бееру, Оболенскому, Ключникову, «Аксакову и всему почтенному его семейству»¹. Может быть, к этому времени и относится сообщение Герцена: «Красов, окончив курс как-то поехал в какую-то губернию к помещику *на кондицию*, но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел назад в Москву, *с котомкой за спиной*, зимою, в обозе чьих-то крестьян»². Оно подтверждается и словами другого современника, хорошо знавшего Красова: «Вскоре по окончании курса он получил место домашнего учителя в Малороссии, и тут, живя среди народа, столь богатого песнями, он получил новый толчок к поэтическому творчеству»³. Во всяком случае, Красов на этот раз ненадолго покинул Москву. Зимой 1835 года, полный новых поэтических планов, он вновь был среди своих друзей, пребывал в мечтах, фантазировал, писал стихи⁴.

Профессор М. А. Максимович, всего год тому назад назначенный ректором вновь открытого Киевского университета, просил старого друга М. П. Погодина, проезжавшего через Киев, найти ему адъюнкта на кафедру словесности. Вскоре по возвращении в Москву М. П. Погодин рекомендует на это место Красова, известного Максимовичу по Московскому университету. «Я нашел тебе адъюнкта — Красова, — писал Погодин 16 ноября 1835 года. — Он хорошо знает по русски, ретив и обещает вполне следовать твоим наставлениям, трудиться усердно. Если хочешь, напиши — и он явится немедленно к тебе и будет держать магистерский экзамен».

Максимович однако долго колебался, очевидно, сомневаясь в Красове. Погодин в своих письмах убеждал, что рекомендуемый им Красов «очень хорош»⁵. Но Максимович и после этого продолжал затягивать дело, долго не сообщал своего решения.

Неустроенный Красов между тем кочевал по квартирам своих московских друзей и летом 1835 года, так и не дождавшись назначения, уехал в деревню, в семью

¹ Переписка Н. В. Станкевича, с. 438, 439, 398—404.

² Герцен А. И., т. IX, с. 44.

³ Воспоминания Фридриха Боденштедта, с. 427.

⁴ Анненков П. А. Указ. соч., с. 388.

⁵ Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу. СПб., 1882, с. 9, 11.

Ладыженских. Совсем больного проводил его из Москвы Станкевич и, получив вскоре письмо от своего друга, радовался тому, что письмо это «исполнено пламенных благородных мечтаний, как и все беседы его»¹. Не поскупившись в письме на похвалы семейству Ладыженских, Красов однако вскоре бежал «из этой почтенной компании» в Москву.

Истинно поэтическая натура, чуждая житейским расчетам и праздной жизни светского общества, Красов всем своим добрым сердцем тянулся к тем, кто мог разделить его надежды и мечтания, но взаимоотношения с некоторыми из прежних друзей уже дали серьезные трещины, а тяжело больной Станкевич, часто отсутствуя в Москве, не в силах был скрепить своим влиянием одружество университетских товарищей. Иные из них вовсе не склонны были разделять его философские увлечения, стояли далеко от идиллического «прекраснодушия» своего друга и, находясь в постоянной борьбе с житейскими невзгодами, искали своих путей.

Сближение Станкевича и его друзей с властным, самолюбивым М. Бакуниным еще более осложнило взаимоотношения товарищей, способствуя разложению кружка². М. Бакунин вскоре вступает в конфликт с Белинским, пытается поссорить Красова с Беерами, внушая им, что Красов не достоин доверия сердца³.

В это время Красов наиболее сблизился с Белинским, к которому тянулся духовно. Активное участие как поэт он принимал в «Телескопе», издание которого после отъезда Надеждина за границу перешло в руки Белинского.

Вольнолюбивые мотивы героико-патриотических стихотворений Красова сочетаются с раздумьями поэта о мироздании, с раскрытием переживаний лирического героя во всем богатстве его внутреннего мира.

Элегическая лирика Красова середины тридцатых годов впитывала в себя и выражала атмосферу мучительных противоречий своего времени — глубинные, психологически сложные процессы духовных исканий «мо-

¹ Переписка Н. В. Станкевича, с. 442.

² Архангельский К. П. Из истории кружка Н. В. Станкевича, с. 37.

³ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1934, т. 1, с. 172—173.

лодой России», мечтавшей о лучшей доле и уже начинавшей осознавать пассивность своих мечтаний, переживать горечь разочарований.

Углубляется в себя, замыкается в одиночестве и лирический герой Красова. Поэт, рожденный, как и его герои, «для слез любви, для упоенья, для нежной пламенной мечты», постоянно сталкивался с холодным равнодушием общества к лучшим человеческим чувствам и стремлениям. Он тоскует и томится среди блеска ликующей толпы. Ему тяжело и душно в мире обмана и клеветы. Поэт уже хорошо знает, что «холодный свет святого не оценит», и с горечью восклицает:

Какая-то разгневанная сила
От юности меня страданью обрекла:
Огнем страстей мне сердце воспалила,
А сердцу счастья не дала!

В одной из первых своих элегий («Я скучен для людей») Красов с душевной болью говорит, что он хотел любить людей, хотел «назвать их братьями своими», «жить для них, как для друзей», но никто не разделил его юношеских стремлений. Отсюда — чувства несбывшихся мечтаний и надежд, «неразделенного братства», которые начинают определять поэтический облик Красова. Он готов погрузиться в мир «властительных дум», уйти в безмолвную тихую обитель желаний, своей взволнованной мечты:

Тогда бегу людей; боюсь их приближенья
И силуясь затаить и слезы и волненья,
Чтоб взор лукавый клеветы
Не оскорбил моей мечты...

Уже в это время Красов обнаружил себя как поэт примечательного лирического дарования. Стихи его привлекали свежестью и непосредственностью чувства, задушевностью, искренностью интонации, безыскусственной простотой формы.

По душе пришлась молодому поэту романтическая судьба «властительного певца» Байрона, лира которого гремела для Красова сильнее «господнего гнева». Но ближе всего ему были национальные традиции русской поэзии.

Холодной весенней ночью 1837 года в простой, запряженной парой кибитке Красов выехал из Москвы в дальний по тем временам путь — в Чернигов, где ему была обещана должность старшего учителя гимназии. Больше двух недель длилось это томительное путешествие. Изнуренные клячи едва тащили кибитку, превращенную извозчиком с помощью рогож в подобие дилижанса. Требуя отдыха, они часто останавливались, и даже ложились в грязь. Заботливому извозчику приходилось на руках переносить из кибитки в какую-нибудь крестьянскую избу совсем больного и обессиленного Красова.

Многое передумал поэт за эту «ужасную дорогу»; проделанную им с тоской о счастье, которое «узнал не вполне, — и которое тем дороже, что оно невозвратно и далеко»¹.

Утопавший в садах Чернигов своим живописным местоположением произвел поначалу на Красова отрадное впечатление.

«...На лучшем месте стоит гимназия, — писал он М. А. Бакунину. — Возле нее на горе была когда-то крепость, где до сих пор лежат три пушки, но где теперь роются одни свиньи, которым здесь нет числа.

Это высокая, отвесная гора, под которой бежит Десна со своим песчаным левым берегом. Я очень часто хожу сюда. В первый раз в жизни я встречаю такой ландшафт. С правой и с левой стороны города обширные луга, оканчивающиеся лесами, и верст за десять с обеих сторон сверкает то светлая, то темная река и желтеют пески. Прямо за рекою твой взгляд теряется в синей дали, где изредка мелькают хутора и горят на солнце озера»².

Восхищаясь красотой окружающей природы, Красов, однако, был удручен бездеятельностью обывателей этого бедного городишка, сплетнями и невежеством, царившими здесь. Проводя свободное время в имении Рашевского под Черниговым, в кругу учителей гимназии, ставших его новыми товарищами, Красов много сил отдает своим ученикам, которых он любит

¹ Красов В. И. Сочинения, с. 133—134.

² Там же, с. 137.

как братьев, но гимназия кажется ему слишком тесным кругом, для деятельности ему мало «одних книжнок 18 века». Тоскуя в черниговской глуши, Красов вовсе не намерен сгибаться перед жизнью и ждать, когда она нанесет последний удар. Он готов пить до дна чашу жизни, его не покидает надежда на кафедру в университете. С друзьями делится он и самым сокровенным: «Мне кажется, я еще бы сделался поэтом».

В Чернигове наш поэт долго не задержался и вскоре был переведен в Киев. 29 сентября 1837 года он занял должность адъюнкта (помощника профессора) по кафедре русской словесности в Киевском университете.

Открытый с пышной торжественностью в июле 1834 года университет имел всего лишь два факультета, далеко не полный состав профессоров и мало чем отличался от гимназии¹, из которой вырос. Студенты пока еще робко поступавшие в него «горько разочаровывались в своих надеждах» и, аккуратно посещая принудительные лекции, не находили «полного удовлетворения своей пытливости»².

Кафедру русской словесности занимал ординарный профессор М. А. Максимович. Будучи магистром физико-математических наук, он занимался раньше ботаникой. Не имея специального филологического образования, Максимович не решался братья за «теорию красноречия» и поручил чтение этого курса своему новому адъюнкту. Красову же пришлось читать на следующий год и теорию поэзии. Сверх того он «упражнял студентов в русском слоге»³.

Максимович, занимавшийся преимущественной историей древней словесности, оказался самым нерадивым преподавателем и очень часто, «прочитавши то, что было приготовлено, вынужден был сказываться больным, чтобы иметь досуг приготовиться далее»⁴. Нередко и Красову приходилось вести историю русской сло-

¹ Шульгин В. История университета св. Владимира. СПб., 1860, с. 190.

² Воспоминания М. К. Чалого. — Киевская старина, 1889. т. XXVII, с. 257, 258.

³ Шульгин В. Указ. соч., с. 123.

⁴ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира. Киев. 1884, с. 499—500; Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета св. Владимира. Киев, 1884, т. 1, с. 239.

весности за больного Максимовича. Чрезвычайно перегруженный занятиями, поэт писал Белинскому: «...теперь много работы: диссертация и лекции»¹.

Как профессор Красов оказался типичным воспитанником московской школы словесников. Подобно своему учителю Н. И. Надеждину, он восторженно импровизировал, обнаруживая «врожденное чувство изящного и дар слова», и этим увлекал студентов. Лекции его были «оживленны и поэтичны»². Историк Киевского университета проф. В. Шульгин, имевший возможность слушать лекции Красова в свои студенческие годы, вспоминает, что Красов читал «под влиянием минуты с необыкновенным жаром, но без обдуманного плана и предварительного приготовления»³. По его словам, Красов своей неподдельной восторженностью и поэтическим вдохновением, благородством и душевной теплотой производил яркое впечатление, особенно на студентов, только что поступивших в университет.

Не чуждался он и общества профессоров, собиравшегося по вечерам чаще всего у писателя А. Н. Мицкевича, брата знаменитого польского поэта, или у профессора римской словесности М. Ю. Якубовича. На торжественном университетском акте Красов выступил с речью «О торжественном направлении просвещения вообще и преимущественно в России». Им было задумано составление «Руководства к словесности для гимназий», включая в него риторику, теорию поэзии и красноречия. Активное участие принимал Красов и в издании альманаха «Киевлянин».

Во второй половине тридцатых годов Красов становится также одним из наиболее активных сотрудников руководимого Белинским «Московского наблюдателя». Его стихи, вместе с песнями Кольцова, занимают центральное место в этом журнале. Белинский поддерживает тесные связи с поэтом, покинувшим круг московских друзей, заботится о том, чтобы Красов, вступив на путь профессорской деятельности, не ушел из поэзии.

В лирике Красова этих лет разворачиваются мотивы, характерные для всего творчества. Все громче звучит тоскующий голос рано познавшего невзгоды жизни

¹ Красов В. И. Сочинения, с. 142.

² Статьи по новой русской литературе акад. Н. П. Дашкевича. Пг., 1914, с. 636.

³ Шульгин В. Указ. соч., с. 123.

и уже уставшего от нее лирического героя. Поэт не находит места в мире лести и обмана, он видит, как гибнет «прелесть бытия», срывается «надежды цветов». Только вдали от праздного света отдыхает его утомленная душа. Познав «незванную печаль», герой Красова рвется из «душных городов», блуждает по свету, подобно одинокому, гонимому облаку. С тоской обращает поэт свой отуманенный взор на север:

О! когда ж туда — в дорогу?..
Там — прошедшее давно, —
Там без надписи так много'
Мной надежд погребено!..
Не сбылись же! обманули!..

Поэт с радостью вспоминает о том времени, когда он, полный стремительных сил, «смело сзывал на главу непогоды, мятежные бури любил». Теперь же житейское море рвет его последний парус, топит ладью. Правда, герой красовской лирики еще борется с невзгодами жизни:

Звезда любви моей, тебя затмили тучи!..
Вперед, хоть без надежд! — не все же жизнь
взяла:
Да, жизнь, она могла терзать меня, измучить,
Но задушить покамест не могла...

Постоянно обманываясь в своих лучших надеждах, Красов еще не утрачивает возвышенных мечтаний. Мечта для него была спасительной защитой, самообманом. В стихотворении «Мечта» он так и писал:

И горе мне, когда тебя утрачу,
Мечта высокая, прекрасная моя!
При ней молчат жестокие сомненья,
Мой темный путь надеждой озарен...
И мне ясней мое предназначенье,
Доступней тайна бытия;
Душа полна и сил и упоенья!..
Не оставляй меня, отрадное виденье,
Мечта высокая, прекрасная моя!

Поэзия Красова — поэзия чувства, настроения. Поэту удается проникновенно раскрыть душевное волнение своего современника, его тревоги и переживания, тоску о непознанных радостях жизни. Его лирического героя нельзя упрекнуть в душевной пустоте. Монолог поэта эмоционально насыщен, богат оттенками, полон веры

7

в чистоту человеческих отношений, жажды счастья. Любовь у Красова почти всегда отягощена грустью и тоской, сердечными муками и страданиями. Именно так раскрывается любовь в его знаменитом стихотворении «Клара Моврай», в стихотворениях «Панна», «Известие», в элегиях и песнях. Но в некоторых стихотворениях Красов утверждает «буйство радостей» земной жизни («Сара», «Тени»). В пляске теней-дев, никогда не моливших «о спасении в грехах», поэт узнает и славит «ту же жизнь безумной младости, ту же грешную любовь».

По своим основным мотивам поэзия Красова пассивно романтична, в основе ее — лирическое выражение тревожных поисков «тайны бытия». «Желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, которое бог знает в чем состояло», «любовь, которая питается грустью и которая без грусти не имела бы чем поддержать свое существование», — все эти отмеченные Белинским особенности такого романтизма в большой мере присущи и Красову. За этими романтическими мотивами и формулами, за их традиционными поэтическими образами у Красова пробивалось живое чувство, эмоционально и психологически насыщенное, реалистически выразительное.

Красов оставался всегда чужд загадочной таинственности и абстрактности, свойственных многим романтикам. Как поэт он рос на русской почве, его лирические темы обретали национальную окраску. Он добивался живой конкретности поэтических образов, искал в народной песенной традиции искренние, задушевные интонации, мелодические формы выражения человеческих чувств и настроений. В этом отношении Красов продолжал лучшие традиции своих предшественников.

Будучи в Киеве, Красов много сил и энергии отдавал докторской диссертации, в которой он решил раскрыть основные направления в развитии немецкой и английской поэзии с конца XVIII столетия и влияние «их на нашу отечественную поэзию». Правда, в процессе работы он отказался от второй части, представив на степень доктора общей словесности диссертацию «О главных направлениях поэзии в английской и немецкой литературах с конца XVIII века». Рассмотрев ее 20 октября 1838 года, факультет нашел рассуж-

дение автора «достаточным свидетельством знакомства Красова с словесностью немецкою и английскою и способности в литературной критике и в самом способе изложения удовлетворительным для получения степени доктора»¹. Решено было допустить Красова одновременно с его товарищем адъюнктом В. Ф. Домбровским к публичной защите диссертации.

24 декабря 1838 года состоялся диспут. Аудиторию заполнили студенты, было и много посторонних. Занял свое место ректор К. А. Невалин, сухой черствый человек, славившийся деспотическим обращением с подчиненными. Явился неприменный участник диспутов пресвященный Иннокентий. Приготовили свои возражения оппоненты — профессора М. А. Максимович и О. М. Новицкий.

Развертывая тезисы диссертации, Красов горячо говорил, что «народность есть необходимое условие всякого великого поэта», подчеркивал гениальность Шиллера, рассматривал Байрона как идеал лирического поэта, а Гете как идеал драматического поэта, отмечал влияние романов Вальтера Скотта «на ход литературы в Европе», доказывал, что «Фауст» Гете и «Дон Жуан» Байрона «суть создания художественного гения, более всех выразившие собою прошлый век»².

По словам Н. Л. Бродского, Красов блеснул «свежими теоретическими взглядами на современную литературу»³.

После выступлений оппонентов со всех сторон посыпались вопросы.

„Ректор Невалин спросил Красова:

— Что такое изящное?

— Вообразите, — восторженно отвечал Красов, прибегая к примерам и сравнениям, — море во время бури, нависшие над пропастью скалы, озаренные блеском молний... Прочтите стихотворение Пушкина:

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами...

¹ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира, с. 330.

² Там же.

³ Бродский Н. Л. Поэты кружка Станкевича. — Известия ОРЯС ИАН, 1912, т. 16, кн. 4, с. 40.

— Одним словом, — сказал в заключении Красов, — прекрасного определить невозможно, его только можно чувствовать!

— Нельзя же, господин Краеов, быть доктором чувствительности, — с ядовитой улыбкой заметил Неволин, заключаая прения”¹.

Факультет отозвал Красову в докторской степени, найдя, что «он при защищении тезисов хотя и обнаружил несомненное эстетическое чувство и знакомство с произведениями главнейших поэтов Германии и Англии и хотя на предлагаемые ему оппонентами возражения покушался давать правильные ответы, однако его ответы были неудовлетворительны, потому что состояли большей части из общих и неопределенных мыслей»².

Сам Красов несколько иначе расценивал причины отказа ему в докторской степени. «...Я держал на степень доктора словесных наук, — сообщал он Станкевичу, — написал диссертацию, долго... с нею возился; но наши университетские киевские клячи не дали мне степени по диспуту, хотя признали диссертацию вполне достойною степени. Они, мерзавцы, не дали потому, что сами были все только магистры, — и когда просили у министра, чтоб и им, то есть *ординарным* профессорам (здесь я разумею Максимовича, Новицкого — профессоров нашего факультета), позволено было без всякого экзамена, только написав диссертацию, искать докторской степени — им министр отказал наотрез. Они торжественно дали слово не сделать и нас докторами — так и сделали»³.

Вскоре в университете начались студенческие волнения. Чтение лекций прекратилось, студенты арестовывались и переводились в другие учебные заведения. Многие профессора увольнялись. Взаимоотношения Красова с Максимовичем и другими профессорами еще больше обострились, и он весной 1839 года заявил ректору о своем увольнении из университета. В просьбе о переводе в Петербургский университет из-за отсутствия вакансии ему было отказано. Оставшись без каких-либо средств к существованию, Красов покидает Киев.

¹ Воспоминания М. К. Чалого, с. 263—264.

² Владимирский-Буданов М. Ф., с. 219—220.

³ Красов В. И. Сочинения, с. 144—145.

Зимой 1840 года с попутным обозом, в ветхой шинелишке, питаюсь по пути чем попало, он около месяца пробирался в Москву. Старые московские друзья радушно встретили Красова, приютили и отогрели его. «На днях сюда приехал Красов... — писал Грановский Станкевичу в феврале 1840 года. — Все тот же. Зажмурит глаза и читает стихи»¹. А Михаил Бакунин сообщал Белинскому: «Ты не знаешь, как я был рад приезду Красова, — он обновил во мне старые, святые воспоминания»².

VII

Начало сороковых годов совпало с наступлением нового, самого зрелого этапа в творчестве Красова. В это же время подводятся и весьма грустные итоги минувшего десятилетия.

Потеряв кафедру в Киеве, наш поэт вернулся в Москву с тайной надеждой на поэтические успехи, полный творческих планов, новых замыслов и опять же — несбыточных фантазий. Не покидала его и давняя мечта образовать себя за границей, последовать туда за своими обеспеченными друзьями. И в Петербурге хотелось побывать, а может быть, и обосноваться в столице.

Красов прощался с молодостью, но душа рвалась к встречам с друзьями юности. Многих из них не оказалось в Москве, с кем-то произошли неузнаваемые перемены. Станкевич — самый близкий, самый душевный друг — угасал от чахотки в Италии. Белинский переехал в Петербург и взвалил на себя тяжкую ношу — «Отечественные записки», работал надрываясь, из последних сил. Константин Аксаков уходил к своим новым друзьям — славянофилам. Встречи с Михаилом Катковым не доставляли радости. И в Иване Ключникове Красов нашел такие перемены, что стало «грустно его видеть»³. А о Бакунине и говорить нечего. Не прошло и месяца со времени первой встречи с Красовым, а он уже брюзжал: «...болтовня его была мне сначала мила, но потом уж надоела»⁴.

В это же время происходило многое из того, что определило дальнейшую творческую судьбу поэта. Новые

¹ Т. Н. Грановский и его переписка. М. 1897, т. II, с. 377.

² Красов В. И. Сочинения, с. 181.

³ Там же, с. 153.

⁴ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем, т. 2, с. 417.

встречи с Кольцовым переросли в настоящую дружбу. Особое внимание Красова приковал Лермонтов. Его стихи он ищет в каждом номере «Отечественных записок», восхищается образностью и энергией его поэзии.

«Что наш Лермонтов? — спрашивает Красов А. А. Краевского. — В последнем номере «Отечественных записок» не было его стихов. Печатайте их больше. Они так чудно-прекрасны! Лермонтов был когда-то короткое время моим товарищем по университету. Нынешней весной перед моим отъездом в деревню, за несколько дней, я встретился с ним в зале благородного собрания — он на другой день ехал на Кавказ. Я не видел его десять лет — и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо... Он был грустен, и, когда уходил из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце — так мне жаль его было»¹.

Вскоре по возвращении в Москву Красов сближается с В. П. Боткиным, переселяется к нему в дом на Маросейку, много и жадно работает как поэт. Одно за другим выходят из-под пера стихотворения «Время», «Воспоминание», «Песня Лауры», «Флейта», «Соседи», новые песни, элегии, стансы. Печатались они почти в каждом номере «Отечественных записок».

Красов готовит к печати книгу своих стихотворений, Боткин помогает ему отобрать для книги лучшее. В это же время возникает замысел большой поэмы, и Грановский снабжает поэта книгами из университетской библиотеки. Но жизнь под опекой друзей не могла продолжаться долго, снова пришлось давать уроки в богатых московских домах. Красов порывался даже покинуть Москву, хотел отправиться в Петербург и хлопотать о месте инспектора гимназий в родных своих северных губерниях, но Белинский посоветовал не делать опрометчивого шага и не покидать город, в котором его знают.

Красов продолжает оплакивать утраченное прошлое, считая, что «горячая молодость» его поколения «выкипела чуть ли не до дна, что лучшие силы души растрачены «безумно и жалко». «Если посмотреть на прошедшее, — писал он Белинскому, — там столько есть о чем грустить, что лучше уж вовсе не грустить. И все-таки

¹ Красов В. И. Сочинения, с. 160.

оборачиваешься назад невольно, и все-таки любишь горячо и горестно все могилы без надписей, где погребли мы столько надежд, фантазий, незабвенных образов. Все-таки —

Мы походим на солдата,
Что вдали под тучей стрел,
Под скалою Арарата
Песню русскую запел»¹.

Настроения Красова этих лет полнее всего выразились в его «Стансах к Станкевичу», откуда последнее четверостишие он и цитирует в письме к Белинскому. Буря жизни унесла все надежды и мечтанья поэта, обнажила обман возвышенной мечты его поколения. Разочаровываясь, тоскуя и страдая, Красов повторяет себя, перепевает старые мотивы. Для красовского героя «вся жизнь, весь рай его в стране воспоминаний, и для него грядущего уж нет». По-прежнему остается центральным в лирике Красова образ несчастливо любившей женщины, пережившей немало «немых страданий» («Известие», «Стансы К***», «Мелодии», «Недаром же резвых подруг...» и др.). Жизнь злобно осмеяла чистые искренние чувства самого поэта, он охладел «мечтой и сердцем» и живет теперь тихо меж людей «для мук любви окаменелый».

Красов никогда не торговал своим талантом. Даже в трудное для себя время он просил Белинского не печатать его «литературное старье», его ранние «стишонки», казавшиеся ему теперь выражением «жизни слишком ненормальной, идеально-плаксивой». Он мало писал и еще меньше того печатался, не желая иметь дело с цензурой, нередко калечившей его стихи. «Если уж печатать, — считал Красов, — так печатать прилично, — как если уж ехать в общество, так не с расстегнутым бантом и с небритым подбородком»².

Стихи у него часто рождались «так же легко и нечаянно, как грибы», поэту не хватало терпения шлифовать «свои поэтические грехи»³. Белинский хорошо видел это и был очень недоволен торопливостью, поспешностью своего друга, ему решительно не нравились такие стихотворения, как «Стансы к Дездемоне» («О, ты — добра, ты — ангел доброты!»), «Прости навсегда».

¹ Красов В. И. Сочинения, с. 153—154.

² Там же, с. 149.

³ Там же, с. 156, 157.

Правда, почти в это же время Белинский выделял «Флейту», «Песню Лауры», отличавшиеся не только легкостью формы, но светлым настроением, отсутствием навязчивой элегической тоски. Мало того, именно в это время Белинский вступил в полемику с реакционной журналистикой, нападавшей на Красова. Великий критик считал, что «в большей части стихотворений г. Красова всякого, у кого есть эстетический вкус, поражает художественная прелесть стиха, избыток чувства и разнообразие тонов». «Отечественные записки», — писал Белинский, — никогда и не думал называть г. Красова великим поэтом; но они видят в нем поэта с истинным и примечательным дарованием...»¹

В творчестве Красова сороковых годов наряду с романскими интонациями, проникновенно передававшими настроение лирического героя («Я трепетно глядел в агат ее очей». «Опять пред тобой я стою очарован», «Свой век я грустно доживаю» и др.) появляются анакреонтические мотивы. Стремясь забыть невозвратное прошлое, поэт славит мимолетные радости («Веселая песня»).

Большая любовь к природе позволяла поэту ярко и сочно рисовать родные русские пейзажи, прелесть поздней осени («Октябрьский день»), картину надвигающейся грозы («Взгляни на тучу! Слышишь гром?»), вечерней мглы («Вечер»).

В стихотворении «Октябрьский день» Красов пишет:

Октябрьский день, но чудная природа,
Звучит кристалл днепровских синих вод;
Повеял жар с лазоревого свода,
По улицам везде шумит народ;
Открыт балкон, забыта непогода —
И музыка, и громкий хоровод,
Природа-мать зовет на пир богатый,
Хоть тополь без листов, цветков без аромата.

Поэт достигает подчас большой художественной силы в выражении своих чувств и мыслей. Яркий пример тому — стихотворение «Ожидание», которое можно с уверенностью отнести к числу лучших лирических стихотворений того времени:

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 180, 187.

Встречай, моряк, в равнинах океана
С отрадою веселый островок;
Верь, мусульман, за книгою корана,
Что заповедал твой пророк:
Я — весь томление, я жду, как талисмана,
Еще вчера обещанных мне строк.

Особое место в поэзии Красова занимают его русские песни. Богатый песенный репертуар северян, с которым поэт познакомился еще в детстве, владение приемами народной песенной поэтики наложили, несомненно, отпечаток на эти его произведения. Кроме того, в начале сороковых годов Красов сблизился с Кольцовым и высоко оценил песенную простоту и сердечность его поэзии. «Я люблю его задушевно», — писал Красов Белинскому¹.

Русские песни Красова, создавшиеся почти одновременно с песнями Кольцова, напоминают лучшие стихи этого народного поэта. Но до нас дошла лишь часть этого поэтического наследия Красова. Известно, что он работал¹ над целым циклом российских песен, куда входили песни царевны, ямщика, новгородского удальца и где, по словам поэта, «должна кипеть вся широкая богатырская отвага древней Руси»². В своих песнях Красов глубоко раскрывает яркое проявление чувств простых людей, воспекает ту же сильную, страстную любовь («Уж я с вечера сидела», «Русская песня», «Старинная песня»), поднимается до изображения социального протеста («Уж как в ту ли ночь»).

Поэт все больше проникался горестями и печалью народными. Его русские песни обретали совершенные формы в их строгой простоте и доверительности, идущей от народной поэзии интонации. Красов в это время не только расставался со своей молодостью, романтическими мечтами и страданиями рефлектирующего лирического героя, но и черпал в обращении к народной поэзии глубоко содержательные мотивы.

VIII

Талант Красова воспринимался Белинским не только в связи с могучим самородным талантом Кольцова, но связывался и с именем Лермонтова. Во мнении кри-

¹ Красов В. И. Сочинения, с. 153.

² Там же, с. 157.

тика этих поэтов сближали мотивы одиночества лирического героя, разлада со своим временем. Видел Белинский и тягу Красова к образной выразительности, к художественной энергии лермонтовского стиха.

Однако, не получая новых жизненных импульсов и не поднимаясь до высот художественности Лермонтова, поэзия Красова стала в какой-то мере оскудевать. Поэт начал терять веру в свои способности, сомневаться в своем поэтическом призвании. Его стихи в эти годы все реже появлялись в печати.

О жизни Красова в сороковые годы до нас дошли весьма скудные сведения. Но известно, что, не имея ни крыши над головой, ни постоянных занятий, Красов едва сводит концы с концами на средства, добытые частными уроками в богатых московских домах. Такая нищенская жизнь подрывала силы поэта.

В 1843 году Красов делает попытку вновь поступить на службу и с шестого марта начинает преподавание русского языка и словесности во 2-й московской гимназии, но уже 29 августа оставляет это занятие. В этот же день он пишет свою «Последнюю элегию», которая становится его последним стихотворением на страницах «Отечественных записок».

Кольцов и Лермонтов, рядом с которыми печатался в этом журнале Красов, ушли из жизни, связи с Белинским порвались. Стихи Красова и Ключникова, занимавшие раньше великого критика «как вопросы о жизни и смерти», теперь не могли увлечь его. Не волновала Белинского и поэзия Фета и Огарева, пришедших на страницы «Отечественных записок». Он способен был теперь перечитывать и высоко оценивать только Лермонтова, «все более и более погружаясь в бездонный океан его поэзии»¹.

Еще при жизни Белинского Красов напечатал в «Москвитянине» (1845) «Романс Печорина», в котором как бы подводил итог основным мотивам своего творчества:

Годы бурей пролетели!
Я не понял верно цели,
И была ль она?
Я б желал успокоенья...
Сила сладкого забвенья
Сердцу не дана.
Пусть же рок меня встречает,

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 129.

Жизнь казнит иль оболщает —
Все уж мне равно.
Будь то яд или зараза,
Али бой в скалах Кавказа, —
Я готов давно.

В этом же ключе пишутся стихотворения «Мечтой и сердцем охладелый», «Свой век я грустно доживаю», «Как звуки песни погребальной». И совсем уже мрачное, самое трагическое стихотворение «Как до времени, прежде старости» Красов создает на исходе оборвавшейся невзгодами творческой жизни. Стихотворение, хотя это — поэтический памятник трагической судьбе «несчастливого поколения», оставалось до наших дней неопубликованным. Поэт оплакивает в нем безвременно растраченную жизнь, сожженные дотла радости своей молодости:

Хоть и кровь кипит, у нас силы есть,
А мы отжили, хоть в могилу несть.
Лишь в одном у нас нет сомнения:
Мы — несчастное поколение,
Перед нами жизнь безотрадная, —
Не пробудится сердце хладное.
Нам чуть тридцать лет, а уж жизни нет, —
Без плода упал наш весенний цвет.

Обрекая себя как поэта на долгое молчание, Красов не утрачивает интереса к литературе и поощряет своих учеников к творчеству, с присущей ему восторженностью отыскивая среди них будущих Лермонтовых, с большим увлечением собирая материалы из устной народной поэзии и сообщая их Ф. Буслаеву. Живо интересовался он и русской историей, и даже выступил в «Москвитянине» с полемическими замечаниями по одной из статей историка С. Соловьева о Смутном времени.

Последние годы жизни Красов целиком отдавался преподавательской деятельности. Неизлечимо больной и отягощенный заботами о своей большой к тому времени семье, он преподавал русский язык в I Московском кадетском корпусе, а с 7 декабря 1851 года — в Александринском сиротском военном корпусе.

В 1854 году, 27 июля, в возрасте двадцати восьми лет умерла его жена Елизавета Алексеевна Красова. Эта смерть тяжело отозвалась в сердце поэта. Он немало пережил жену: 17 сентября этого же года в

крайней бедности, забытый своими друзьями, Красов скончался в одной из московских больниц. «Он скончался от чахотки, которою страдал в течение последних лет, — сообщал в редакцию «Москвитянина» товарищ Красова по службе, проводивший его на Ваганьковское кладбище. — Жестокий удар, им понесенный, ускори́л его кончину: недель за шесть перед этим он лишился жены, нежно им любимой, и теперь осталось после него шестеро сирот, из которых старшей дочери девять лет. Он жил своими трудами и не оставил детям ничего, кроме доброго имени и благословения»¹.

Красов не сделал того, о чем мечтал и что мог сделать. Ежедневная борьба за существование, нищенская жизнь свели поэта в могилу. Мрачная действительность не дала возможности развернуться его духовным силам, расцвести его большому поэтическому дарованию.

¹ О кончине В. И. Красова (письмо в редакцию). — Москвитянин, 1854, ч. 5, с. 118.

НАРОДНЫЙ ПЕЧАЛЬНИК

I

Пара крестьянских лошадемок не спеша тащила поскрипывающую телегу землемера Феофана Верюгина по пустынной дороге. С обеих сторон ее широко простирались свежие пашни — казалось, нет им конца и краю.

Серенький весенний день смеркался. Над вспахан-ными полосами с глухим карканьем кружилась стая ворон. Вдали виднелась одинокая фигура крестьянина, который, пошатываясь, шел за сохой, а впереди медленно брела усталая кляча...

Устроившись в телеге поудобнее, путник временами подремывал, а когда открывал глаза, видел ту же картину: «серое небо, серую землю, стаю ворон над полем и мужика, шатавшегося за сохой...» И тут Верюгин вдруг понял, что «куда бы он ни ехал, куда бы ни заехал, над ним везде и всюду вечно будет висеть это же самое серое, беспросветное небо, будет расстилаться та же серая земля... будут чернеть все те же вспахан-ные полосы, над ними станут кружиться стаи ворон, а по полю станет все ходить и ходить Вечный Мужик за своей сохой. Верюгину стало даже жутко, дрема мигмом слетела с него. «В самом деле, не эмблема ли это земли русской! — с усмешкой подумал он, позевывая и протирая глаза. — Куда ни глянь, — все он со своей сохой, да с жалкой клячей»¹.

Так открывается роман Павла Засодимского «По градам и весям». И образ Вечного Мужика, идущего за своей сохой по полям России крестьянина-пахаря, да еще — крестьянина-сеятеля с лукошком становится основным героем писателя, посвятившего все свое творчество изображению народной жизни конца шестидеся-тых—восемидесятих годов прошлого века. Недаром в этом же романе он наделяет своего героя Верюгина чертами портретного сходства с автором и разделяет с ним самые близкие свои переживания и чувства. Каждая его строка пронизана громадным уважением к кре-

¹ Засодимский П. В. (Вологдин). Собр. соч. СПб., 1895, т. II, с. 298—299.

стьянину, извечному труженику русской земли, кормильцу своего народа.

«Не нахожу нужным скрывать, — обращался Засодимский к читателям своих сочинений, — да и излишне распространяться о том, что все мои горячие симпатии всегда были и остались на стороне бедных, обездоленных, на стороне рабочих масс. Ни в одной строке, написанной мною, читатель не найдет ни единого выражения, которое противоречило бы этой основной идее моей жизни и деятельности»¹.

По словам современников, жизнь и творчество Засодимского «представляют собой редкое по красоте и гармонии единство». Превыше всего в жизни он ставил борьбу за истину. Мягкий и деликатный по натуре, писатель обладал большой душевной стойкостью, нравственной цельностью и гражданской смелостью. Человек кристальной чистоты, доброй отзывчивой души, Засодимский был для современников образцом порядочности и принципиальности. А. И. Эртель преклонялся перед своим старшим товарищем и пережил под его влиянием нравственное перерождение². Высоко ценили Засодимского за душевную чуткость и отзывчивость и в семье Шелгуновых, считавших, что никакие соблазны материального благополучия не могут заставить его поступиться своими убеждениями³.

Да и внешне П. В. Засодимский был весьма колоритной фигурой. Вот каким впервые предстал уже пожилой писатель перед своей юной родственницей: «...навсегда в моей памяти запечатлелся образ высокого, стройного, красивого старика с длинными, вьющимися, совершенно седыми волосами, большой белой бородой и светло-голубыми глазами. Запомнилась его бархатная темная куртка (эти куртки шила и дарила ему моя родная бабушка Софья Александровна), высокие, заходившие за колени сапоги»⁴.

Засодимскому чаще всего доводилось жить и работать в самых тяжелых условиях, переживать «черные дни», скитаясь «по градам и весям» нищей России. При-

¹ Засодимский П. В. (Вологдин). Указ. соч., т. 1, с. III.

² Эртель А. И. Письма. М., 1909, с. 18, 28.

³ Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. СПб., 1901, с. 305—306.

⁴ Морозова Т. Г. У Павла Владимировича Засодимского. Рукопись.

ходило спешить с завершением начатых романов и повестей, рассказов и очерков, рецензий и обзоров, и писатель нередко нес их в редакции журналов с тяжким чувством неудовлетворения. Плодом «безмолвной, скрытой, тягостной драмы» было для Засодимского почти каждое его произведение.

И все же не всегда нужда душила мысли и чувства писателя, не всегда «черные дни» угнетали его, и тогда Засодимский оттачивал свои произведения и достигал порой высокой степени мастерства. Так родился его первый рассказ для детей, жизнеутверждающий «Заговор сов», чудесная «Восточная сказка», безукоризненный по форме очерк «Веретьев», талантливые рассказы «Однажды вечером», «Перед потухшим камельком» и другие.

Засодимского как писателя ценили многие близкие ему литераторы — Гл. Успенский, А. Левитов, А. Эртель, И. Оммулевский... С некоторыми из них он был связан дружескими отношениями. Уже в самом начале творческого пути Засодимский познакомился с Н. В. Шелгуновым, затем сблизился с Глебом Успенским. Постепенно литературные связи его ширились, в круг его литературных отношений входили такие известные писатели своего времени, как Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. Д. Минаев и Н. С. Курочкин, А. Н. Плещеев, Вс. Гаршин...

Самые взыскательные художники хорошо отзывались о творчестве Засодимского. «Мне всегда нравится то, что вы пишете,— откликнулся Лев Толстой на роман Засодимского «Грех»,— и большей частью то, что не нравится либералам...»¹. Высокую оценку Л. Толстого заслужили и повести Засодимского «Черные вороны» и «Весь век для других». «Последняя особенно хороша», — считал Л. Толстой². Восхищался он и рассказом Засодимского «Перед потухшим камельком». «Я получил Ваш рассказ, — писал он автору, — и тотчас прочел про себя и другой раз своим домашним, так он мне понравился. Это то самое искусство, которое имеет право на существование. Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердце. Вы спрашиваете о слабых сторонах. Слабого нет, все силь-

¹ Л. Н. Толстой о литературе. М.: Гослитиздат, 1955, с. 263.

² Там же, с. 217.

но... Рассказ очень, очень хороший и по форме и по содержанию...»¹.

Поистине творческим взлетом явился для Засодимского его роман «Хроника села Смурина». Это произведение приковало внимание самых широких читательских кругов и, по словам современников, «еще более возбуждало их в стремлении посвятить свои силы «делу народа», призывало к борьбе за народные интересы. Недаром царское правительство наказывало за распространение «Хроники» «таким же заключением в тюрьме, как за распространение брошюр и прокламаций»².

Своеобразие личности писателя, характерные особенности его времени выразились и в других книгах Засодимского. До конца жизни автор «Хроники села Смурина» оставался поборником правды, писателем-реалистом, певцом и печальником своего народа.

Материал для своих книг писатель черпал из живой русской действительности и всегда ставил перед современниками «проклятые» вопросы, выдвинутые ходом общественного развития России. «Яркость колорита не давалась ему, — писала о Засодимском критик М. Цебрикова, — окраска образов его переходит иногда в серые тона гравюры или рисунка карандашом, но и в этих серых тонах видна жизненная правда»³.

Трезвая правда жизни, от которой никогда не отступал писатель, протест его против социальной несправедливости, непримиримая вражда к наживе, к всяческой эксплуатации человека, поиски путей к лучшему будущему — все это явно выделяет Засодимского из среды писателей-народников, делает его произведения значительными для современного читателя.

Во второй половине своего творческого пути Засодимский, по его же словам, «немало поработал и для детей». «Однажды летом 1870 года, ночью, экспромтом, — вспоминает писатель в автобиографии, — написал я сказочку «Заговор сов». Утром, перечитав ее, я заметил, что она не годится ни для толстого журнала, ни для газеты. Переписав, я отнес ее в журнал «Детское чтение» (под редакцией известного педагога-писа-

¹ Толстой о литературе, с. 253.

² Исторический вестник, 1912, № 6, с. 1077.

³ Цебрикова М. Беллетрист-народник. — Русская мысль, 1896, № 2, с. 66.

теля Ал. Ник. Острогорского). Я был вовсе не уверен, что моя сказочка пригодится и для детского журнала, но вопреки моим ожиданиям А. Н. Острогорский принял ее и даже просил меня сотрудничать. Так, случайно, можно сказать, я сделался писателем для детей. В течение тридцати лет мною написано около семидесяти повестей, рассказов и сказок для детей. Я помещал их в журналах «Игрушечка», «Детское чтение», «Родник», «Юный читатель» и «Детский отдых». Почти все эти рассказы изданы сборниками...»¹

Книги Засодимского «Задушевные рассказы», «Бывальщины и сказки», «Свет и тени», «Дедушкины рассказы и сказки» за короткое время выдержали несколько изданий и пользовались громадной популярностью. По словам читательницы того времени, рассказы и сказки Засодимского «вводили в большую и настоящую жизнь, в повседневный и вместе с тем незнакомый нам быт русской деревни и городской бедноты. Написанные для детей, они рассказывали не только о детях, но и о взрослых, об их серьезных горестях и заботах. Проникнутые искренним чувством любви к простому человеку, чаще печальные, чем радостные, они трогали сердце и закладывали в детском сознании основы глубокой человечности»².

II

Весной 1874 года в редакции журнала «Отечественные записки» появился молодой человек, начинающий писатель П. В. Засодимский. За его плечами было лишь несколько повестей, опубликованных в журнале «Дело», но он уже обладал большим жизненным опытом. Засодимский принес Н. А. Некрасову рукопись своего первого романа, который вскоре был принят к печати и по совету М. Е. Салтыкова-Щедрина назван «Хроника села Смурина».

«Хроника» Засодимского вышла в свет под псевдонимом Вологдин, которым писатель «впоследствии часто пользовался». Псевдоним этот как бы подчеркивал

¹ Рукописи. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 93, оп. 3, д. 529, л. 7об.

² Морозова Т. Г. У Павла Владимировича Засодимского. Рукопись.

связь автора с вологодской стороной, где он «с малых лет жил среди народа, узнал его и полюбил».

Родился Павел Владимирович Засодимский 1 ноября 1843 года в Великом Устюге в небогатой дворянской семье. Из Устюга родители перевезли мальчика в Никольск, где отец будущего писателя был на казенной службе. Здесь, в небольшом уездном городке, и прошли первые десять лет жизни писателя. «Никольск в ту пору, — вспоминает Засодимский, — был маленький, глухой городок, затерявшийся посреди лесов, одним словом, такой милый городок, до которого, по словам Гоголя, «хоть три года скачи, — не доскачешь». При мне, помню, с улыбкой говаривали: «Дальше нашего Никольска и почта не ходит!»

Дом Засодимских смотрел прямо на мрачное здание острога. Голодные, исхудалые, бритые арестанты в однообразно серой одежде часто проходили по пыльной улице мимо их дома. Павлуша нередко выпрашивал у матери гроши и, заслышав на Соборной площади звяканье цепей, бежал встречать «колодников». Он наивно уже тогда решил про себя, что, став взрослым, непременно выпустит на волю всех этих несчастных людей.

Перед самым окном детской комнаты протекала быстрая река Юг. Оттуда доносился стук топоров, голоса поденщиков, выполнявших тяжелые работы. Нередко целые дни проводил Засодимский на реке вместе со своими друзьями, деревенскими ребятами.

Перед глазами пытливого мальчика проходили безрадостные дни каторжников и поистине каторжный в то время труд лесогонов, сплавщиков. Впоследствии эти впечатления наложили отпечаток и на произведения писателя, рано познавшего «отвращение к злу, насилию и сострадание к несчастью», никогда не устававшего говорить о торжестве правды и справедливости, высказывать самые горячие симпатии к трудолюбивому одаренному русскому народу.

С малых лет Засодимский так увлекся чтением, что иногда целыми днями просиживал в отцовской библиотеке. Читал он много, без разбора, все, что попадалось под руку. Больше других полюбился Пушкин. «Капитанской дочкой», «Повестями Белкина» он зачитывался, а многие стихотворения великого поэта остались в памяти на всю жизнь.

Сильно развитое детское воображение, питавшееся впечатлениями тяжелой жизни народа, заставило Засодимского рано обратиться к творчеству. В одиннадцать лет он уже автор пьесы и участник домашнего спектакля, поставленного с привлечением юных друзей.

«...Когда мне минуло девять лет, — рассказывает писатель, — в нашей семейной жизни произошли большие перемены. Отец мой оставил службу и с матерью, со всеми чадами и домочадцами, со всем скарбом переселился из Никольска в усадьбу».

Небольшая усадьба матери писателя — Миролубово находилась на «большой» Архангельской дороге, в четырехстах верстах от Никольска. Мимо усадьбы по многолюдному тракту шли на север усталые, изможденные ссыльные, медленно передвигались закованные в цепи каторжники; собирая подаяние, тащились нищие, калеки, слепцы, юродивые; проходили в поисках поденной работы крестьяне, вконец разоренные недородами. Изредка в нарядном экипаже проезжал важный барин или спешил на ярмарку подгулявший купчик, покрикивая на прохожих.

«И весь этот люд, — пишет Засодимский в одном из своих рассказов, — проходивший мимо меня по «большой дороге», странный и жалкий люд, едва прикрытый грязными, рваными лохмотьями, с босыми, до крови наколотыми ногами, — не однажды заставлял меня в детстве горько плакать».

Засодимский и раньше проводил в Миролубове лето, а теперь с этим «родным уголком» стала связана вся его жизнь: то пропадал он на гумне, то в лесу, то на скотном дворе, а зимние вечера проходили за чтением книг, купленных у коробейника. Постоянным спутником, лучшим товарищем его детства был сын кучера, умный рассудительный мальчик Сашка Родионов.

Когда Засодимскому исполнилось двенадцать лет, на семейном совете решили, что пора отдавать мальчика в учение. И в феврале 1856 года Павел Засодимский был зачислен в дворянский пансион при Вологодской гимназии.

Огромное здание гимназии смотрело массивными колоннами на серый и унылый «плац-парад», вымощенный булыжниками и поросший травой. Целыми днями

здесь муштровали солдат местного батальона. С полной выкладкой маршировали они по площади. По вечерам при тусклом свете фонарей разводили караулы, а из просторных окон губернаторского дома лился мягкий свет и доносились звуки мазурки.

Мало чем отличалась от солдатской муштры и казарменной обстановки жизнь в стенах Вологодской гимназии. «В этих стенах, — вспоминал Засодимский, — прошли семь лет моей жизни, — семь лет из того возраста, когда все впечатления бывают так живы и яркие, и понятно, что незатейливая полуказарменная обстановка пансионской залы, как топором зарубленная, глубоко врезалась в моей памяти. Много было пережито в этих стенах... Здесь я узнал и горе новичка, тоску по родному дому, по деревенской свободе, и блаженные минуты горячих признаний в дружбе и в братской любви, и радость по случаю удачно сданных экзаменов и близких каникул, и темные страхи перед единицами и двойками, и дух захватывающие опасения угрожающих наказаний...».

Юношу угнетали жестокие и грубые нравы, царившие в пансионе, мучительные дни без обеда, стояние у стены, карцеры и розги, которыми жестоко наказывали гимназистов. «Гувернеры, как говорится, походя расточали направо и налево увесистые подзатыльники и драли за уши, — с горечью рассказывает Засодимский. — Немец-гувернер однажды в пылу раздражения увлекся до того, что даже надорвал ухо воспитаннику. Инспектор наказывал розгами, невзирая на возраст...»

Не проходило недели, чтобы несколько человек не осталось без обеда, без завтрака или без чая; не проходило дня без того, чтобы несколько человек не постояло у стены или на коленях; не бывало такой субботы в течение учебного времени, чтобы не высекли человек 10—15. Одним словом, не бывало такого дня, чтобы кто-нибудь из «маленьких» горько не плакал от истязаний начальства или от побоев своих же товарищей». А зимой на льду реки Вологды, у Красного моста, устраивались кровавые побоища между семинаристами и гимназистами, которые стеной на стену выходили друг против друга.

Светлые воспоминания сохранил Засодимский о преподавателе русской словесности Н. П. Левицком. Под

его руководством гимназисты читали статьи Белинского, изучали Пушкина, Гоголя, Лермонтова, зачитывались Некрасовым, Гончаровым, «Губернскими очерками» Щедрина и в особенности романами Тургенева. «Его Лаврецкий, Рудин, Базаров захватывали за живое и кружили головы», — вспоминает Засодимский. С первых же классов гимназии юноша увлекался сочинениями Герцена, его статьями «Социализм и Россия», «С того берега», воспоминаниями «Былое и думы». В руках юного гимназиста побывали даже отдельные номера «Колокола». «Позже, наряду с Герценом, — рассказывает в автобиографии Засодимский, — сильное влияние оказали на мое умственное развитие и на склад моих убеждений Чернышевский и Добролюбов»¹.

К гимназическим годам относится еще одна попытка обратиться к литературному творчеству. Засодимский начал сочинять повесть... из испанской жизни. Герой ее устраивает заговор против инквизиции. Заговор кончается печально: заговорщиков сжигают на костре, а их возлюбленные уходят в монастырь. Дописать эту «печальную повесть» юноше так и не пришлось, слишком ограничен он был в своих знаниях и опыте.

Еще в детстве, а затем и в годы обучения в гимназии Засодимский нередко гостил под Вологдой в имении своего деда по матери, богатого помещика П. М. Засецкого. «Его главная резиденция — Фоминское², — рассказывал позже писатель, — с громадным двухэтажным домом с гигантскими колоннами, окруженным цветниками, садами, рощами, прудами, теплицами и оранжереями, со множеством различных построек и с белою церковью на горе, считалось в ту пору одним из лучших подгородных барских имений»³.

Загородный особняк был с залами для парадных приемов, с гостиной, картинной и портретной галереей, с изразцовыми печами, с книжными шкафами в кабинете деда. Особняк утопал в парке из липовых, березовых, сосновых, пихтовых и еловых аллей.

Чаще всего многочисленные родственники съезжались на дедушкины именины в конце июня, и будущий писатель мог наблюдать разительные контрасты барской

¹ Голос минувшего, 1913, № 5, с. 146.

² Ныне — Молочное.

³ Засодимский П. В. Дедушка Павел Михайлович. — Исторический вестник, 1893, LI, с. 712.

и крестьянской жизни. Приезжал в Фоминское гимназист Засодимский и на похороны девяностолетнего деду. Это было уже в то памятное, по словам писателя, «многозначительное время, когда рушился наш старый «крепостной» строй и навсегда сдавался в исторический архив...»¹.

В июне 1863 года Засодимский окончил гимназию и с радостью покинул «тесный, замкнутый мирок» пансиона. Несмотря на давнее желание отца видеть своего сына чиновником, Засодимский твердо решает поступить в Петербургский университет.

В самом начале сентября был нанят неуклюжий крытый тарантас. Миновав городскую заставу, он едва тащился по непролазным вологодским дорогам под однотонный звон развязанного ящиком колокольчика. Моросил дождь, сгущались сумерки, когда продрогшие путники остановились перед тускло освещенным подъездом грязовецкой гостиницы. На другой день Засодимский был уже за пределами своей родной губернии.

Но куда бы ни бросала его судьба, никогда не забывал он «покинутый родной дом, знакомые поля, леса, серые убогие деревушки» родной вологодской стороны. «Со своими дремучими беспросветными лесами и трущобами, — писал Засодимский, — она представляется для меня самым лучшим краем на белом свете».

III

Всем своим творчеством Засодимский был прочно связан с вологодской «лесной стороной». Лирические, окрашенные чувством любви к родине картины северной природы щедро насыщали произведения Засодимского, придавали его романам и повестям своеобразный колорит.

«Большую часть года, — пишет Засодимский в деревенской летописи «Пропал человек» (1883), — лес стоит темен и мрачен, то гудит и стонет, то стоит молчаливо нахмурившись».

В записках «Из жизни лесной стороны» (1883) писатель опять рисует глухую северную сторону: «Сосновые и еловые леса всю ее прикрыли своей дремучей тенью и, как живую зеленую стеной, отделили ее от городов, — не хуже каких-нибудь гор высоких или песков сыпучих. Поля у нас небольшие: растут на них только рожь и яч-

¹ Засодимский П. В. Дедушка Павел Михайлович. — Исторический вестник, 1893, LI, с. 721.

мень, да и то плохо. Мы уж давно бы все померли с холоду да голоду, если бы не лес. Он, кормилец, питает нас, поит, одевает».

Уже будучи известным писателем, Засодимский не только не порвал связей с родным краем, но и продолжал черпать здесь богатый и разнообразный материал для своего творчества, обогащая свои детские и юношеские впечатления.

«Искрещивая Вологодскую губернию, — пишет Засодимский в статье «Лесное царство» (1878), — едучи по уездам: Кадниковскому, Тотемскому, Никольскому, Устюгскому, путник на каждом шагу живо чувствует и сознает, что кругом него настоящая коренная Русь... Он слышит русский говор, несколько тягучий и сильно упирющийся на «о»... Он видит лица русского типа; он видит избы с разукрашенными оконцами; видит и бедные, классические «курные хатки», уже без всяких прикрас — и все на одну стать. Он видит, наконец, обычный ход полевых работ... мужик, слегка наклонившись, широко размахивает своею длинною косой или баба жнет, согнувшись в три погибели».

Всякий раз, бывая в родных краях, писатель находил здесь перемены и воочию убеждался, что все хуже живет крестьянину. Нищета и запустение властно вторгаются в деревню, строятся и процветают кабаки и питейные лавки, кулак душит крестьян, его цепкие костлявые пальцы хватают деревенскую бедноту за самое горло.

Весной 1888 года после долгого отсутствия писатель вновь побывал в родных никольских краях. «Много перемен я нашел в деревне... — писал он в «Истории одной уставной грамоты». — Деревня показалась мне такой жалкой, такой убогой, какой я никогда еще не видел ее. Я увидел покривившиеся избы с подслеповатыми оконцами, бревенчатые стены, почерневшие от недавнего дождя, серые полусгнившие соломенные крыши, поразметанные ветрами, грязную улицу... У некоторых изб двери и окна были наглухо заколочены досками».

Засодимскому так и не удалось закончить юридический факультет Петербургского университета, куда он поступил после окончания Вологодской гимназии. Так как родные не в состоянии были помогать ему, учебу пришлось оставить и взять место домашнего учителя в Саранском уезде Пензенской губернии.

Начались скитания, во время которых Засодимскому довелось многое увидеть и перенести. В странствованиях прошла вся жизнь писателя. Он бывал в деревнях Петербургской и Воронежской, Новгородской и Тамбовской, Тверской и Уфимской, Вологодской и Пензенской губерний. Приходилось жить и в курной хате и есть «лебедовый» хлеб, и ночевать где-нибудь в овине или в землянке на берегу Волги, и сживать с крестьянами в лесу у разведенного костра.

Засодимский не «ходил в народ». Общение с ним было постоянной и естественной потребностью писателя. Оно обогащало его творчество, раздвигало рамки его произведений. В конце своей жизни писатель по праву мог сказать, что он не только вырос в деревне, но и не порывал никогда с ней связей: «Безошибочно можно положить, что половину моей жизни я провел в деревне, среди народа».

Засодимский знал и любил деревню, радовался встречам с одаренными простыми людьми. В крестьянской среде он находил яркие характеры, служившие прототипами героев его книг. Нередко и быт самого писателя был близок к жизни сельского жителя. Высланный из Петербурга за речь на похоронах Н. В. Шелгунова, он жил одно время в Любани, и навещавшим его родственникам запомнилась простая, но чистая крестьянская изба, деревянная кровать, табуретка у кровати и грубо сколоченный стол, за которым работал писатель.

Засодимскому нередко приходилось не по своей воле надолго покидать своих столичных друзей, оставлять литературную среду, жить и работать вдаль от Петербурга, чаще всего в родных краях. Прожил Засодимский в Вологде и большую часть 1891 года. Здесь он организовал сбор средств для голодающих Поволжья, в помощь им подготовил на средства вологжан выпуск сборника «Помочь», для участия в котором пригласил видных литераторов.

В местном театре состоялась премьера спектакля по пьесе Засодимского «Волчиха», на которой присутствовал и сам автор. «Волчиха» была недурна, — писал он в воспоминаниях, — хорош был и Н. Корсаков в роли Митюхи, и А. Федоров в роли молодого ямщика. Публика дружно вызывала артистов и автора, — автора-то, вероятно, не за пьесу, а просто из чувства патриотизма, как земляка...»

В январе 1892 года к совершенно больному Засодимскому, жившему тогда в гостинице «Золотой якорь», явился околоточный и объявил под расписку о запрещении ему жить в столице. Вологодский полицмейстер учредил надзор за писателем и завел специальное «Дело о состоящем под негласным надзором полиции литераторе Павле Владимировиче Засодимском»¹.

Оказавшись в положении ссыльного, Засодимский выехал в Кадниковский уезд. Здесь на живописном холме, у самого берега реки Двиницы, расположилась небольшая усадьба Горка, принадлежавшая родственнице писателя — Елизавете Павловне Даниловой. В рябиновой аллее, там, где она расширялась, стояли простая деревенская скамья и рабочий стол Засодимского, за которым он трудился в летнее время, а с наступлением холодов перебирался в пустовавший флигель горкинского дома.

«Горка мне очень памятна, — писал Засодимский, — и самые воспоминания о ней для меня дороги и милы. Я знал ее с малых лет, там каждый куст, каждая тропинка мне знакомы... Я жил в Горке и мальчиком, и юношей-гимназистом, и студентом, здесь же я провел первое лето в деревне с молодой женой. И под старость сюда же, под тень старых лип, я скрывался на лето для отдыха от суеты и треволнений петербургской зимы.

Я любил этот тихий, уютный уголок... Здесь в тиши и на свободе написаны мною: «Степные тайны», «По градам и весям», «Семейство Подошвиных», «Пропал человек», «Грех», «Из жизни лесной стороны», «Лесное царство», воспоминания из детских лет и целый ряд рассказов для детей. Здесь, на Горке, я отдыхал и, набравшись сил, здесь же много, усиленно работал».

Наступила осень 1892 года. Ночи стали темные, уныло завывал ветер, а разрешения на жительство в Петербурге все еще не было. Лишь в середине октября становой привез долгожданную «бумагу», позволявшую Засодимскому отправиться в столицу. Распрощавшись с Горкой, на тройке «рыжих» он едет в Кадников, затем в Вологду и оттуда — в Петербург.

Это была последняя осень, проведенная писателем на родине.

¹ ГАВО, канцелярия губернатора. 17 декабря 1891 г. — 13 марта 1892 г., л. 1.

Летом 1867 года в Болгарии вспыхнуло народное восстание против турецкого ига. В русских газетах появились многочисленные корреспонденции о кровавых истязаниях турками жителей мирной славянской страны. «До глубины души волновали меня корреспонденции из Болгарии, — вспоминал Засодимский, — страшные кровавые сцены мерещились мне, не давали покоя. Меня возмущало безучастие, равнодушие цивилизованных народов в виду совершавшихся злодейств».

Как и другие передовые представители русской общественности того времени, Засодимский не мог молчать: 20 июня 1867 года в газете «Голос» было опубликовано «Воззвание в пользу болгар» — его первое печатное слово. С негодованием писал автор «Возвания» о безучастном равнодушии Европы в то время, когда кровь болгарского народа льется ручьями. «Не равносильно ли такое молчание преступному одобрению действий турецкого правительства? — гневно спрашивал он. — Или, может быть, Европа столь наивна, что верит обещаниям Абдул-Азиса умиротворить своих подданных?.. Можно ли ожидать от Турции исполнения подобных хороших обещаний?..»

Совсем еще молодой автор «Возвания в пользу болгар» горячо призывал заявить протест турецкому правительству, с юношеской наивностью полагая тогда, что можно добиться бескровного освобождения болгарского народа.

Голос молодого писателя был услышан в Болгарии. Через десять лет, когда ее освобождение было куплено дорогой ценой — десятками тысяч жизней героических сынов русского и болгарского народа, имя Засодимского стало популярно в этой полюбившейся ему славянской стране. Его произведения переводились на болгарский язык, издавались отдельными книгами и сборниками, печатались в газетах. Однажды писателю даже предлагали переселиться в Болгарию. «Хотя эта крестьянская страна мне симпатична, но я отказался оставить Россию, — писал Засодимский, — я родился на русской земле, жил и страдал с русским народом, с ним и останусь до конца».

Первую свою повесть «Грешница» Засодимский писал быстро, с увлечением, и, закончив ее в 1867 году,

отнес в редакцию журнала «Дело». Этим же летом он начал писать стихи, и они вскоре появились в «Иллюстрированной газете» за подписями Горацио и Скиф-эпикурец. Но средств к существованию молодой литератор по-прежнему не имел: за стихи ему как начинающему автору не платили, публикация повести в журнале «Дело» затягивалась. Пришлось снова давать уроки и опять за гроши.

Когда в начале апреля 1868 года Засодимский приехал в Вологду, он уже был постоянным сотрудником журнала «Дело». Жизнь в Вологде — наиболее плодотворный период в раннем творчестве писателя: здесь он завершил повесть «Волчиха», задумал и отчасти написал третью повесть — «Темные силы». Здесь же он сблизился с находившимся в ссылке революционным демократом Н. В. Шелгуновым, которому посвятил впоследствии повесть «Темные силы».

В перерывы между работой встречи Шелгунова и Засодимского были особенно частыми. Завязывались долгие оживленные беседы о положении крестьян, о задачах литературы. «То Шелгунов, бывало, взбирался ко мне на антресоли, — вспоминает Засодимский, — то я отправлялся к нему «за реку»... Помимо сотрудничества в одном журнале и сходства в наших воззрениях, к Шелгунову меня привлекали и его симпатичная личность и тот ореол, которым для меня была окружена вообще его деятельность, как бывшего сотрудника «Русского слова» и друга М. И. Михайлова».

Если статьи Герцена, Чернышевского и Добролюбова оказали сильнейшее влияние на формирование мировоззрения Засодимского в гимназические годы, то Шелгунов как продолжатель дела революционных демократов закрепил эти убеждения у молодого, только еще вступавшего в литературу писателя. Сильное влияние Чернышевского и Добролюбова, а затем и Шелгунова несомненно сказалось на творчестве Засодимского, всегда остававшегося верным тем идеям освобождения народа, за которые боролись лучшие люди шестидесятих годов.

Подобно Гл. Успенскому, автору знаменитых «Нравов Растеряевой улицы», Засодимский начал свой творческий путь с изображения жизни мещан, мелких чиновников. Заглянув в лачуги Болотинска и Мутноводска,

он увидел там дикость нравов, пьяный разгул, провинциальное мещанское прозябание.

Героиня повести «Грешница» Маша томится в мещанской среде и всей своей чистой душой рвется к правде. Но ей так и не суждено добиться счастья; — Маша погибает в омуте жизни, как и героиня рассказа «А ей весело, — она смеется». Погибли они потому, что «в этом омуте щепки и тина плавают по верху, а золотой слиток и алмаз идут ко дну», потому, что в омуте мещанской жизни «высокое, благородное, чистое часто осмеивается, зовется безумием», а «низкое, грязное и подлое величается достоинством, умом».

Мещанскую жизнь Засодимский рисует во всем ее неприглядном мраке, со всем ее невежеством. Повесть «Темные силы» — это хроника семьи мещанина Никиты Долгого. В однообразной и томительно долгой его жизни нет светлого дня, они проходят в беспробудном пьянстве и истязаниях жены Катерины Степановны, надрывающей свои силы в труде. Горька жизнь их дочери Насти, выданной насильно за нелюбимого мужа, невыносимо существование ее братьев Алексея и Степана, отданных «на обучение» лавочнику и сапожнику, в смрадной обстановке озверения и нищеты страдает их младший брат Андрюша, мальчик чуткий и сердечный.

Звериные инстинкты и нравы царят не только в семье Никиты, они засасывают обывателей всего Болотинска, губят их, лишают возможности думать об иной, счастливой и свободной жизни. Мещанское болото, стоячие, грязные, смрадные лужи заливают не только улицы Болотинска, они воздействуют и на его обывателей. «Добродушные болотинские обыватели, — с иронией замечает Засодимский, — держались того убеждения, что солнце сгонит снег и высушит грязь без всякой человеческой помощи».

Ранние повести Засодимского чаще всего кончаются трагической гибелью их героев. Всем содержанием своих произведений писатель протестует против темных сил, оправдывающих примирение с застойной и затхлою мещанской жизнью. В повести «Старый дом» Засодимский поднимается до сатирического обличения этих «темных сил». Он рисует самые различные типы мещан-чиновников и обывателей, едко высмеивает жильцов «старого дома», погрязших в сытом покое, в мелких делишках

и страстях, олицетворяющих пошлость и тупоумие, застой и примирение с жизнью грязной, мелкой, без надежд, без мечты, без большого счастья.

Эти «маленькие смешные лилипуты», как ракушки, облепили Василия Кремнева, полного молодых порывов, и потянули его на дно. Он недолго сопротивлялся канцелярским чинушам и мещанам, недолго противостоял матери, гнавшей его на службу, так и не поняв, что его враг — *«сама, плохо слаженная, жизнь с ее мелочными узкими, личными интересами»*.

Кремнев испугался упорной борьбы с нуждой, лилипутики-мещане надломили его. «Старый дом», этот символ торжества «темных сил», все крепче и крепче засасывал его.

V

В шестидесятые годы, по словам Чернышевского, «единственным предметом всех мыслей, всех разговоров» был крестьянский вопрос. С еще большей силой этот же вопрос продолжал волновать общественную мысль России и в последующие десятилетия, в те годы, когда Засодимский уже активно выступал в литературе. Первый свой роман «Хроника села Смурина» (1874), напечатанный в органе русской революционной демократии — «Отечественных записках», писатель посвятил изображению пореформенной деревни, судеб русского крестьянства тех лет.

В условиях глубокого кризиса феодального строя царское правительство, сильно ослабленное в Крымской войне 1853—1856 годов, напуганное все возраставшими крестьянскими «бунтами» и боявшееся освобождения «снизу», вынуждено было пойти на отмену крепостного права. Но пресловутая «крестьянская реформа» 1861 года была половинчатой, крепостнической, буржуазной по своему характеру.

«Освобождаясь» из-под власти помещика-крепостника, крестьянин попадал под власть денег, оказывался в полной зависимости от капитала, бурно нарождавшегося тогда в России. «Пресловутое «освобождение», — писал В. И. Ленин, — было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»¹. «Эпоха реформ» шестидесятых го-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

дов ничего не изменила в жизни и положений крестьянина.

О том, как жилось «освобожденным» крестьянам, рассказывал наряду с другими писателями-современниками и Засодимский в своих повестях и романах, в своей «Хронике села Смурина».

Роман этот задуман в 1872 году. Получив от журнала «Дело» задание исследовать состояние крестьянских молочных артелей Тверской губернии, писатель «много ходил пешком по деревням». А с октября 1872 года в течение трех месяцев Засодимский учительствовал в Боровичском уезде Новгородской губернии. «Окружавшее в ту пору, — рассказывает писатель, — дало мне материал для создания некоторых образов и сцен в этом первом моем романе; отчасти также материал дали мне для этого романа кузнечные артели, с которыми я ознакомился в начале же 70-х годов, во время моих странствований по Тверской губернии для изучения артельного дела вообще...»¹

Отдельные факты и обстоятельства, почерпнутые в тверских кузнечных артелях и из деятельности тверского земства помогли писателю воспроизвести не только историю создания кузнечной артели в селе Смурине. Они послужили материалом для целого ряда сцен и образов романа. Неслучайно М. Е. Салтыков-Щедрин, хорошо изучив Тверскую губернию, узнал в романе Засодимского одного из тверских земцев.

А детали образа «доброй барыни», по инициативе которой устраивалась школа в селе Большие Мегдецы Боровичского уезда, история открытия этой школы во флигеле барской усадьбы, конфликты с соседней школой, где учительствовал родственник местного священника, участие учителя в ночном крестьянском сходе по поводу переплаты налога, составление коллективной жалобы и многие другие конкретные ситуации заимствованы писателем из действительности Новгородской губернии. Засодимский, однако, утверждал, что никогда специально не изучал жизнь народа, никогда «не смотрел на народ, как на объект, подлежащий исследованию», никогда «не подходил к народу с заранее выработанной программой «для собирания сведений», как это делали народники.

¹ Засодимский П. В. Из воспоминаний. М., 1908, с. 259.

«Я пришел в школу, — пишет Засодимский, — уже в то время, когда знал деревню, когда народ со всем его складом духовной и внешней жизни, с его взглядами и мировоззрением, с его нуждами и потребностями, с его радостями и горем не был для меня таинственным неизвестным, каким он был и остался для многих моих сверстников и коллег.

...Я никогда не смотрел на людей из народа, как на каких-нибудь замечательных козявок, которых нужно рассматривать чуть не под микроскопом, а затем, уехав в Москву или Петербург, писать в журналах по поводу их глубокомысленные трактаты или весьма легкомысленные повести и рассказы»¹.

Засодимский «жил среди народа, узнал его и полюбил, узнал его слабость и мощь, — одним словом, узнал его настолько, насколько возможно узнать его человеку, по своему общественному положению стоящему вне крестьянской среды».

Замысел романа, созданные в нем образы освещались этим его знанием народной жизни, в том числе впечатлениями детства и юности.

Первые наброски романа из деревенской жизни, названного вначале «Печать антихриста», Засодимский сделал в конце 1872 года, в то время, когда учительствовал в Новгородской губернии. Но тогда писатель мог работать лишь урывками, по ночам. Впоследствии роман писался и в Петербурге, и в Москве, и в Усмани, и в селе Никольском-Кабаньем во время странствований писателя по России. Особенно напряженно Засодимский работал над романом в течение 1873 года и закончил его в начале марта 1874 года. К этому времени сотрудничество Засодимского в журнале «Дело» прекратилось, так как, по его словам, он «принципиально разошелся с Благодетелем (по вопросу о тогдашнем общественном движении)». Решив предложить свое сотрудничество «Отечественным запискам», Засодимский в начале апреля явился в редакцию этого журнала и отдал рукопись Некрасову. Сообщая, что «Отечественные записки» будут печатать роман, М. Е. Салтыков-Щедрин писал 20 мая Засодимскому, что к редактированию рукописи он «еще не приступил»: «Но прошу Вас быть уверенным, что я в ущерб ей ничего не сделаю. Об одном считаю

¹ Засодимский П. В. Из воспоминаний, с. 264.

долгом предупредить Вас: времена тяжелые наступили, и 5 № «Отеч. записок» арестован и, вероятно, будет сожжен. Рукопись Вашу я беру в деревню, куда выезжаю в субботу. Мы думаем начать печатать ее с августовской книжки»¹.

В связи с развитием революционного движения в стране, правительство усилило надзор за журналами прогрессивного направления, и особенно за «Отечественными записками». Цензура и раньше указывала на криминальные статьи журнала, а в майском его номере отметила целых семь таких статей. Это привело к тому, что в июле 1874 года книга была приговорена к сожжению. «Тяжелые времена», усилившийся цензурный надзор заставили редакцию тщательнее редактировать материалы, публиковавшиеся на страницах «Отечественных записок». Об этом и предупредил Засодимского Салтыков-Щедрин, желая спасти его роман от участи пятого номера журнала.

В конце мая Засодимский случайно встретился с Салтыковым-Щедриним и Некрасовым на платформе Николаевского вокзала, и они еще раз ободрили автора «Хроники». Вскоре после этой встречи, в самом конце мая Засодимский уехал на родину, в Вологодскую губернию, а Салтыков-Щедрин — в свое Витенево. Некрасов проводил лето на Чудовской Луке и оттуда в письме к А. М. Скабичевскому от 13 июля 1874 года просил, не теряя времени, набрать восьмой номер журнала и в том числе начало романа Засодимского «Хроника села Смурина»².

Так роман Засодимского увидел свет в «Отечественных записках».

«Хроника села Смурина» — это хроника нищеты и горя, темноты и забитости деревенского человека. В ней правдиво изображена пореформенная деревня, остро поставлены «проклятые» вопросы современности.

Обремененный семьей, тихий и смиренный, приниженный и запуганный крестьянин Василий Кряжев, попадая в зависимость к мироеду Прокудову, в воловьем труде напрягает свои силы. Но не выбиться ему из

¹ Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Письма. М.: Гослитиздат, 1937, т. XVIII, с. 285.

² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.: Гослитиздат, 1952, т. XI, с. 324.

нужды, не погасить недоимки, несчастье за несчастьем приходит в его дом.

«Потрясающую картину глубокой насущной скорби представляла теперь эта несчастная семья, — пишет Засодимский. — Она лишилась своей последней коровы-кормилицы... Что теперь, кроме квасу с луком, станут они хлебать в скоромные дни? На чем они в праздники будут печь овсяные рогульки? Чем замаслят они себе кашницу? Что без удобрения вырастит им поле?»

Автор «Хроники» не склонен однако идеализировать крестьянина. Он сознает сложность самого процесса переделки крестьянской психологии, не только видит, но и показывает пассивность, разобщенность крестьян, темноту их сознания, мешавшую правильно понять свое истинное положение. Освобождаясь от рабства крепостника-помещика, крестьяне попадали в кабалу к тому же помещику и к тем, кто приходил ему на смену. «Прямо сказать, вышло как-то так, — пишет Засодимский, — что крестьяне, переставши быть графскими, очутились чирковскими... Дали им было волю... а ночью тайком прокрался к ним Кузьма Иванович, сцапал у них эту волю, зажал в свой кулачище, да и был таков. От воли и живого духу не осталось».

Крупного землевладельца, хищника-купца Кузьму Ивановича Чиркова писатель называет «героем нашего времени». Этот «новый герой» с почтенной бородкой и бычьим затылком живо прибирал к своим рукам земли разорявшихся помещиков, скупал крестьянский хлеб на корню и в зернах, тысячами пудов сплавлял его, заставляя работать на себя весь уезд. Все крепче завязывал Чирков мертвый узел на шее крестьян, все чаще поглядывал заплывшими глазами на образа и рассуждал о кротости и смирении. Его хутора и поселки, как грибы после дождя, росли по всему уезду. «Много за последние годы повыросло на Руси, — пишет Засодимский, — таких поселочков, обнесенных частоколом, словно крепостной стеной, как поселочек почтенного Кузьмы Ивановича. Теплятся в них большущие лампадки и озаряются их красноватым сиянием тяжелые серебряные оклады образов и чуть ли не пудовые восковые свечи зажигаются перед ними в праздники. И на железных сундуках, втихомолку потряхивая мошной, сидят в этих поселочках толстые, бородатые люди, — новые люди, жирные и кровожадные, как клопы...»

Засодимский видел, как «местное кулачье», словно «стая жадной мелюзги облепила добычу», дотла обирает крестьян. «Хроника» открывается выразительным сатирическим портретом смуринского богача Григория Прокудова. Писатель рисует его портрет, используя для этого момент, когда Прокудов разглядывает в пузатом самоваре свою расплывшуюся приплюснутую физиономию: «Невозмутимое спокойствие и довольство отражалось в ту пору на этой жирной, красной роже, из которой, казалось, при малейшем давлении, сало так и готово было брызнуть». Показывает Засодимский Прокудова и в то время, когда тот занимается любимым делом—подсчетом барышей, поглаживая «себе брюшко с таким видом, как будто бы он один зараз проглотил весь дневной запас пищи, потребной для прокормления всего Смурина».

Крепко держал Прокудов в своих цепях смуринских крестьян, туго набивал он свою мощну, пользуясь людской нуждою, бессовестно обсчитывал и обирал бедняков на каждом шагу. Не упускал случая нажиться и его зять Антон Кудряшев, владелец питейных заведений, мрачно взиравший на мир «неподвижными выцветшими глазками». По всему уезду рассовал он свои кабаки, его целовальники проникали в самые глухие углы, спаивали крестьянский люд на всех дорогах, больших и малых.

Иным патриархальным способом обирал крестьян кулак старого закала Андрей Беспалый. Копил и скряжничал он всю жизнь, с неохотой пускал деньги в оборот, хранил их под полом и вовсе обезумел от жадности, когда деньги его мыши изгрызли. С тех пор не может видеть он мышей, а завидев, «весь затрясется, задрожит и дышит так тяжело, как будто бы с версту бегом пробежал, глаза дико выкатываются из орбит и следят за серою тенью, а седая голова все наклоняется и наклоняется вперед...».

Но хитрее Лисина не было кулака в Смурина: «Его серые глазки так и бегали, так и метались туда и сюда, как загнаннные мыши... Мягкая улыбочка мелькала на его тонких губах и словно молвить хотела: «мы себе на уме». Кошачьей походкой, то и дело озираясь по сторонам, ходил он, ловко заигрывая с крестьянами, «редко выпускал когти, но всегда почти добивался своего». Не брезгуя никакими средствами, Лисин втирается в дове-

рие к крестьянам. В кузнечной артели, устроенной смуринцами, он видит хорошую добычу и прибирает ее к своим рукам. Лисин — не простой хищник, он ловко рядится в овечью шкуру, прикрывает свои волчьи намерения лисьими повадками. Не желая отстать от времени, он готов прослыть «либералом» и тут же приспособиться к новым способам ограбления мужика.

Как бы ни были различны эти способы и приемы обогащения, они объединяют смуринских мироедов в единых стремлениях. На их стороне и мировой посредник и поп, волостной старшина и становой, кабатчики и писаря. Представители растущего капитала, «чумазы», как их выразительно называл Салтыков-Щедрин, все прочнее смыкаются с правительством, безнаказанно эксплуатируют крестьян, устраняют с дороги всякого, кто мешает вершить им грязные дела.

Под тесовыми и железными крышами, за высокими заборами, обособившись от смуринцев, живут кулаки-мироеды на берегу Вожицы — в Закручье. Не в их дома приходит горе, не на их плечи падает бремя податей. Зато в их амбары ссыпают крестьяне последние меры овса и хлеба, в их кабаки несут свои лохмотья. «Грозен и немилостив закручевский бог! Он последний сарайшко раскатит, последнюю овцу со двора сведет, последний тулуп с плеч стащит...»

Засодимский хорошо видел не только рост «чумазов» за счет обнищания крестьян. Писатель показывает, как капиталистические отношения пагубно влияют на крестьянство, несут с собой обман и ложь, пьянство и разврат. «И старики правду говорят, что ныне в смуринской стороне пошло такое распутство, какого они не запомнят, какого даже при барах не бывало. Отцы обирают, а сынки на те же деньги наложниц себе покупают».

В отличие от либеральных народников Засодимский понимал, что в условиях крепостнического режима никакими частными, дозволенными правительством средствами не изменить положения народа. К земским либеральным деятелям писатель относится с иронией.

В сером, низеньком, словно приплюснутом, домике под вывеской «Земская управа» вяло отбывают свои сессии черешинские земцы. Слушают они томительно длинные, нудные отчеты и доклады, ведут пустопорожние разговоры, обнаруживая свое бессилие и неспособ-

ность защитить интересы народа и, ничего не сделав, разбредаются по домам. «Черешинское земство до сих пор не слишком отличалось деятельностью, — пишет Засодимский. — Сначала, правда, благих намерений очутилось вдруг так много, что ими можно бы было выместить весь дантовский ад, и дело стало лишь за деньгами. В настоящую же пору, когда увлечение прошло своим путем, Черешинское земство, как говорится, ни богу свечка, ни черту огарок, действует бесследно и таким таинственным образом, как будто бы оно привидение».

Беспочвенным либеральным деятелем предстает в романе Вальд. Этот сонливый, уставший «аристократ» с вялыми движениями и ленивой походкой выдает себя за радетеля о народном благе. Кажется ему, что крестьяне будут блаженствовать в райских общинах. Но сам он вряд ли серьезно верит в свои слова. Весь его вид словно говорит: «Уйдите от меня, пожалуйста! Оставьте меня в покое!»

Рисует Засодимский и образ «доброй барыни» Лизаветы Петровны Водяниной, полной либерально-народнических иллюзий. Вначале она, кажется, искренне хочет помочь крестьянам, посвятить им свою нескладную жизнь. Ее белая барская рука протягивает помощь ссудо-сберегательному товариществу. Участвует Водянина и в организации смуринской школы, и в открытии общественной лавки. Но очень скоро она осознала свою беспомощность, и теперь все чаще «барыня о чем-то грустила, сидела задумавшись» и все менее интересовалась крестьянскими делами. Даже Дмитрий Кряжев, вначале идеализировавший «добрую барыню», убедился в неспособности ее отдать свои силы народу.

В центре «Хроники» стоит образ «крестьянского радетеля» Дмитрия Кряжева, выдвинутого народом из своей среды. Засодимский симпатизирует этому смелому, бывалому человеку, вступающему в борьбу с кулачеством за интересы смуринских крестьян. Дмитрий Кряжев «духом был горд и самостоятелен». Обогащаясь знаниями, он до многого доходит своим умом и все глубже начинает понимать истинное положение крестьян. Он знает и ценит народ лучше, чем «многие ученые, специально посвятившие себя разработке вопроса об улучшении быта сельского населения».

Сохраняя чувство человеческого достоинства, Дмит-

рий Кряжев отдает все свои силы односельчанам, стремится вырвать их из-под зависимости богатеев-закручевцев. Мечта о лучшей жизни никогда не покидает его. Преодолевая звериное кулацкое сопротивление, вступая в открытую борьбу с мироедами, Кряжев горячо участвует в организации ссудо-сберегательного товарищества, в открытии школы и общественной лавки, в создании кузнечной артели. Правда, на этом пути он испытывает горечь поражения, но не унывает, не опускает рук, продолжая верить, что не всегда будет праздник на улице закручевцев — придет он и к крестьянам.

Попытка Дмитрия Кряжева вести борьбу с мироедами народническими средствами оказалась несостоятельной. Кулаки перестали враждовать с крестьянской кассой, охотно записывались в нее и брали деньги для своих сделок, бедным же касса выдавала средства скупно. Общественная лавка оказалась не в состоянии тягаться с закручевскими магазинами, «чуть ли не торговавшими даже птичьим молоком». В кузнечную артель проник кулак Лисин и завладел ею. Закрыли в Смурина и школу.

Все содержанием «Хроники села Смурина» Заседимский утверждал бесплодность попыток либеральных народников улучшить крестьянскую жизнь дозволенными средствами: организацией товариществ и общинных артелей. К этой же мысли писатель приводит и своего героя Дмитрия Кряжева, переживающего горечь поражения, испытывающего разочарование от того, что лучшие годы его жизни ушли попусту, ничего не изменив в положении родных ему смуринцев.

Кряжев сознает, что «одной кассой, лавкой, а либо артелью тут горю не помочь! Бери выше, хватай глубже!». Он видит, что людям по-прежнему «жить тесно, душно», но не знает еще путей борьбы. Как слепой, бродит Кряжев по нехоженным дорогам. Так и не добившись задуманного, он покидает родную деревню, свой дом и уходит в город.

Народническая критика далеко не восторженно встретила «Хронику села Смурина». Идеализируя стихийного бунтаря Аггушку, выдвигая в качестве положительного героя «добрую барыню» Водянину, она пыталась приглушить смысл исканий Дмитрия Кряжева. Так М. Протопопов опубликовал на страницах «Русского богатства»

фельетон, в котором издевался над размышлениями Кряжева о том, что нужно идти другим путем, «брать выше, хватать глубже».

Популярность своего романа объективнее всего объяснял сам писатель: «Роман читался и имел большой успех — не эфемерный, не искусственно раздутый, но *действительный* успех: имя автора («Вологдин») решительно ничего не говорило читателям, не подкупало их; ни журналы, ни газеты не рекламировали роман; критика даже не нашла нужным пояснить причины популярности моего романа. По моему же мнению, его успех объясняется тем, что я первый в живых образах вывел перед читателем народившийся тип деревенских кулаков различных оттенков (Прокудов, Лисин, Кудряшев, Беспалый, Чирков) и борьбу с ними наиболее развитого, энергичного крестьянства»¹.

VI

На следующих этапах своего творчества Засодимский оставался верным правдивому изображению жизни. Судьбы русской деревни продолжали волновать писателя и в восьмидесятые годы. Этой проблеме он посвятил наиболее крупные свои произведения: романы «Степные тайны» (1880), «По градам и вёсям» (1885), «Грех» (1893).

Идейный распад народничества в восьмидесятые годы Засодимский переживал тяжело. В повести «Песня спета» (1888) он с горечью рассказывал о том, как пагубно действует на опустившегося писателя Пестерева тупое равнодушие к вопросам общественной жизни, отказ от служения народу, боязнь за «свою школу».

На последнем этапе своего творчества, в девяностые годы, Засодимский продолжал клеймить бездеятельных дворян, ноющих интеллигентов, предпринимателей-хищников, вконец разоряющих деревню. Но, противопоставляя им образы трудящихся людей, писатель начинает идеализировать патриархальную жизнь крестьянства, рисовать, по словам Горького, кроткого мужика, «чрезвычайно похотжего по свойствам психики своей... на мужиков Толстого, Тургенева...».

¹ Рукописн. отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 93, оп. 3, д. 529, л. 40б.

Засодимский так и не увидел революционной силы пролетариата, способного сокрушить самодержавный строй и уже вступившего на путь борьбы. Однако М. Горький справедливо считал, что Засодимский никак не укладывается в рамки народничества, хотя его и принято считать «чистым народником». Сам писатель точнее сказал по этому поводу: «Меня называют иногда писателем-народником. Не протестую против такой клички, ибо ничего дурного в ней не вижу, но я — не вполне то, что подразумевается под «народником»¹.

Социальные противоречия современной ему действительности писатель вскрывал смело, решительно осуждая рабское покорство. Он мучительно искал лучших путей к счастливой доле народа, искренне верил в то, что «заря пленительного счастья» взойдет над его Родиной.

В 1908 году Засодимский покинул столицу и поселился в Новгородской губернии, в имении Жадины под Боровичами, а потом купил небольшой дом с мезонином в Опеченском Посаде на берегу быстрой Мсты — пять окон к реке, увитая зеленью веранда... Засодимские жили теперь тихо и уединенно. Писатель продолжал работать над детскими рассказами, которые в это время часто переиздавались, над книгой литературных воспоминаний (1908), а жена писателя Александра Николаевна зарабатывала на скромную деревенскую жизнь составлением календарей для И. Д. Сытина, попечительствовала над местной школой и вместе с мужем опекала крестьянских ребятишек. В последние годы жизни Павел Владимирович увлекся также разработкой исторической проблематики. Кроме двух брошюр — «Урок народам» и «Два эпизода из жизни Франции», он написал книгу «Деспотизм» (1911), в которой убеждал, что власть одного человека вырождается в тиранию и несет несчастья и страдания народам.

Вечера Засодимские проводили дома за чтением. Изредка навещала писателя местная интеллигенция. Но круг старых друзей по литературному труду с каждым годом становился все уже, и Павел Владимирович тяжело переживал уход из жизни близких людей. Да и сам он теперь все чаще прихварывал, недомогал...

¹ Цит. по кн.: Якушин Н. По градам и весям. Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1965, с. 67.

Размышляя по поводу кончины Н. Н. Златовратского, с которым Засодимский долгие годы вместе «шел по тернистому, безрадостному литературному полю», он приходит к широким обобщениям о грустной судьбе русского писателя: «Да, забывчивы русские люди и мало дорожат теми жертвами, которые приносят им... Другим теперь заняты они. Потерян какой-то нравственный критерий. Отечество наше напоминает сейчас в нравственном отношении острова, населенные людоедами, хотя у нас налицо показная культура: телеграфы, телефоны, железные дороги, кинематографы, есть даже общество покровительства четвероногим животным — лошадям, собакам, кошкам. До того ли, чтобы помнить о каких-нибудь писателях!»¹

Один из современников Засодимского, с которым он особенно был близок в последние годы своей жизни, вспоминает, что писатель на склоне лет отдавался «созерцательному настроению деревенской жизни»: «Деревню он любил еще с детства. Эти хвойные деревья — сосны и лохматые ели, ярко запечатлелись в живом детском воображении и навсегда остались его любимыми деревьями. Однажды он сказал:

— Люблю я север, люблю широкие, быстрые реки, его дремучие леса, его зимы... Помните:

Снег и снег, все один вечно девственный снег,
Да, узоры лиловые скованных рек,
Да сосновые темные боры...
Север спит... Усыпил его лютый мороз,
Убаюкала буйная вьюга...»²

Писатель мечтал вернуться на родину, в Вологодскую губернию. Но этой мечте уже не суждено было осуществиться: 4 мая 1912 года Засодимский умер в местечке Опеченский Посад Новгородской губернии.

На другой день на страницах большевистской газеты «Правда» появилась небольшая заметка:

«Вчера скончался известный писатель-народник П. В. Засодимский.

Покойный является последним из славного кружка русских беллетристов, где он работал наряду с Глебом Успенским, Златовратским и другими.

¹ Цит. по кн.: Якушин Н. По градам и весям, с. 289.

² Степаненко Н. Из воспоминаний о П. В. Засодимском. — Голос минувшего, 1913, № 5, с. 152.

Широкую литературную известность П. В. Засодимский приобрел своею «Хроникой села Смурина», печатавшейся в «Отечественных записках»¹.

Засодимский прожил жизнь, полную лишений и нужды. Чуткий и восприимчивый к страданиям народа, он отдавал служению ему все свои силы и знания. «Человек, живущий для себя, — говорил писатель, — никогда не может чувствовать себя удовлетворенным. Только в борьбе за общечеловеческое дело можно найти счастье». Этой борьбе за народное дело Засодимский был верен до конца своей жизни.

¹ Дооктябрьская «Правда» о литературе и искусстве. М.: Гослитиздат, 1937, с. 135.

Многочисленные друзья и приятели В. А. Гиляровского называли его шутя, а потом и всерьез, но всегда тепло и любовно — дядя Гиляй (одно время он подписывался «В. Гиля-й»). А. П. Чехов так и писал ему: «Милый дядя Гиляй!»

Милый дядя Гиляй!.. В этих чеховских словах выражена сердечная любовь современников к человеку большой русской души, неукротимой энергии, бесшабашной отваги и удали, как бы олицетворявшего собой неисчерпаемую талантливость русского народа, широту и цельность его натуры.

Общительный и веселый, щедрый и добрый, всегда полный необыкновенного любопытства к жизни и бурный в проявлении своих чувств, он и внешне был яркой фигурой, натурой широкого склада — богатырское сложение, крупные черты лица, большие умные пронзительные глаза, седые пышные усы запорожца. Знать, билась в нем кровь дальних его предков, запорожских казаков! Недаром же Репин писал с Гиляровского одного из своих запорожцев, а Андреев лепил с него фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве.

Гиляровский обладал огромной физической силой, сгибал пальцами большие медные пятаки, шутя ломал серебряные рубли, разгибал подковы, легко мог завязать узлом железную кочергу. Это был человек неистощимый в своих мальчишеских проказах, выдумках и шутках. Его биография полна удивительных приключений. Он никогда не терялся и не сгибался ни перед какими ударами жизни. Она закалила его и воспитала как человека разностороннего и трудолюбивого.

Кем только не был Гиляровский — волжским бурлаком, кручником, цирковым наездником, борцом, табунщиком, актером, знатоком конного спорта и пожарного дела, знаменитым газетчиком — «королем репортеров». Он гордился значком «почетного пожарника», за храбрость в войне с турками имел солдатского Георгия, за участие в Олимпийских играх — Большую золотую медаль.

Гиляровский, по словам его друга писателя Н. Телешова, в одно и то же время охотно дружил «с худож-

никами, знаменитыми и начинающими, писателями и актерами, пожарными, беговыми наездниками, жокеями и клоунами из цирка, европейскими знаменитостями и пропойцами Хитрова рынка, «бывшими людьми». У него не было просто «знакомых», у него были только «приятели»¹.

Не зная усталости, он вечно куда-нибудь спешил, на ходу расточая экспромты, остроумные шутки, тут же весело похлопывал по серебряной табакерке, с которой никогда не расставался, предлагая «всем окружающим, знакомым и незнакомым, понюхать какого-то особенного табаку в небывалой смеси, известной только ему одному».

Большое человеческое обаяние Гиляровского привлекало к нему лучших людей того времени. Двери его дома в Столешниках всегда были гостеприимно открыты для друзей, для писателей и художников, артистов и журналистов, знаменитых и только еще вступающих в жизнь. Заходили сюда Л. Толстой и М. Горький, бывали Глеб Успенский и Мамин-Сибиряк, Репин и Левитан, Куприн и Бунин, Шалапин и Собинов, Брюсов и Леонид Андреев, Маяковский и Есенин, Демьян Бедный и Алексей Толстой. Обогреть и накормить приводил к себе Гиляровский знаменитого Саврасова в последние годы его жизни. С просьбой оказать протекцию, смущаясь, заглядывал к нему молодой Качалов. В уютной столовой Гиляровских, где происходили встреча выдающихся людей своего времени, и сейчас еще висит большой портрет великого Л. Толстого с дарственной надписью «Владимиру Алексеевичу Гиляровскому. Лев Толстой. 7 дек. 1899 г.».

«Есть люди — считает К. Паустовский, — без которых не может существовать литература, хотя они сами пишут немного, а то и совсем не пишут. Это люди — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный сок. Неважно — много ли они или мало написали. Важно, что они жили и вокруг них кипела литературная жизнь своего времени, а вся современная им история, вся жизнь страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Алексеевич Гиляровский — по-

¹ Телешов Н. Записки писателя. Рассказы о прошлом и воспоминания. М.: Сов. писатель, 1950, с. 23.

эт, писатель, знаток России и Москвы, человек большого сердца — чистейший образец талантливого нашего народа»¹.

Трудно представить литературу конца XIX и начала XX века без Гиляровского, нет почти ни одной книги воспоминаний о литературной жизни этих лет, в которой имя «дяди Гиляя» не было бы упомянуто с любовью. Он был душою многих собраний и встреч. Сам полный сил и горения, он и других заставлял гореть, увлекаться тем, что увлекало его. «С тобой и умирать некогда», — говорил ему Чехов. Даже старого Льва Толстого удавалось ему вытаскивать в общество, возить зимой на репетиции чеховского «Медведя».

Гиляровский находил время рассказывать Глебу Успенскому о бродяжничестве, вдохновенно читать Горькому своего «Стеньку Разина», водить Станиславского и Немировича-Данченко по притонам Хитрова рынка, знакомить Чехова с провинциальными актерами, возить его за город к крестьянину Никите, прототипу «Злоумышленника», поддерживать начинающего Валерия Брюсова, увлекать атлетикой Куприна.

И писатели отвечали ему взаимной привязанностью, радовались его успехам в литературе, искали с ним встреч. «Вчера я был у Гиляя, — пишет Чехов, — и отнял у него очень маленький рассказ, который он готовил не то в «Развлечение», не то в «Будильник». Рассказ совсем осколочный. Удался и формой и содержанием, так что трудно было удержаться, чтобы не схватить его...»².

А 23 марта 1903 г. Чехов писал Гиляровскому из Ялты: «Милый дядя Гиляй, твои «Люди четвертого измерения» великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец, дядя!»³

«Видел на днях Гиляровского, — сообщает Горький Чехову. — Ну, фигура! Понравился он мне...»⁴

«...Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец в литературе и атлетике, скорее я воображу себе Москву без

¹ Паустовский К. Дядя Гиляй. — В кн.: Гиляровский Вл. Москва и москвичи. М.: Московский рабочий, 1955, с. 8.

² Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем. М.: Гослитиздат, 1948, т. XIII, с. 189.

³ Там же, т. XX, 1951, с. 75.

⁴ Горький М. и Чехов А. Переписка. Статьи. Высказывания. М.: Гослитиздат, 1951, с. 50.

царя-колокола и царя-пушки, чем без тебя»¹; — отзывается о нем Куприн.

Как писатель Гиляровский стал известен изображением жизни «трущобных людей», босяков и нищих, быта московского «дна», большим знатоком которого он был. Московская беднота любила Гиляровского за смелость и великодушие, за то, что он понимал их горе и не раз защищал простых людей, выброшенных бесправием за борт жизни.

Гиляровский дорог литературе как яркий бытописатель старой Москвы, одинаково хорошо знавший жизнь дворцов и трущоб древней русской столицы, ее быт и людей. «В своих книгах, — писала о Гиляровском «Правда», — он вскрывал пороки капиталистического строя и с любовью, с большим знанием жизни правдиво писал о простых людях»².

II

Владимир Алексеевич Гиляровский родился 26 ноября (8 декабря) 1853 года в глухом лесном хуторе за Кубенским озером, в сямских лесах Вологодской губернии. «Часть детства своего, — рассказывает писатель, — провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся. В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи, куда доступ был только зимой, по тайным зарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось... Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших»³.

В этой лесной глуши и прошло раннее детство будущего писателя. Отец его, Алексей Иванович, сам белоцер, служил тогда помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева. Управлял имением казак Петр Иванович Усатый, сын запорожца, бежавшего на Кубань после разгрома Сечи, участник кавказских походов, человек недоужинной физической силы. На его

¹ Нева, 1956, № 12, с. 173.

² Правда, 1953, 9 дек.

³ Гиляровский Вл. Мои скитания. Повесть бродяжной жизни. М.: Федерация, 1928, с. 5—6.

шестнадцатилетней дочери, Надежде Петровне, и женился отец Гиляровского.

Дух казачьей вольности жил в этой семье. Вольнолюбивые песни, запрещенные стихи Рылеева, тетрадь с которыми хранилась у отца еще с семинарских времен, стихи Пушкина и Лермонтова рано стали дороги и близки мальчику Гиляровскому. «Бабка и дед, — вспоминает писатель, — рассказывали о привольной и боевой казачьей жизни, а их дочь, моя мать, прекрасно пела песни чудные и читала по вечерам Пушкина, Лермонтова, а отец запрещенные стихи Рылеева. Я, пятилетний, со слуха знал наизусть кусочки из произведений Войнаровского»¹.

Когда мальчику исполнилось пять лет, дед привез с сельской ярмарки азбуку и сам начал обучать внука грамоте. Физическим воспитанием мальчика занимался давний друг отца и деда беглый матрос Китаев, бывший крепостной крестьянин с реки Юг. Он обладал сказочной силой, с ножом ходил на медведя один на один, жонглировал бревнами, ударом ребра ладони разбивал на руках камни. Этот беглый матрос и воспитывал в Гиляровском «удалого охотника», заставлял его лазить по деревьям, обучал гимнастике, борьбе, плаванию, верховой езде.

Семья Гиляровских жила дружно и скромно. Отец и дед были завзятые рыбаки и первые медвежатники на всю округу, крепко дружили с крестьянами и пользовались всеобщим уважением. «За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, — с гордостью пишет Гиляровский, — никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались... Дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов»².

В 1860 году Алексей Иванович получил место чиновника в губернском правлении, вся семья переехала в Вологду и поселилась за рекой, на Калашной улице. На лето отправлялись в небольшое имение Светилки, стоявшее на берегу Тошни, в тех же глухих и непроходимых

¹ Гиляровский Вл. Мои семьдесят пять лет. — Огонек, 1928, № 46, с. 7.

² Гиляровский Вл. Мои скитания, с. 12—13.

домшинских лесах. Гиляровскому минуло восемь лет, когда умерла его мать, и мальчик еще больше привязался к беглому матросу Китаеву, целыми днями пропадая с ним на охоте.

Вскоре умер дед, отец женился на Марии Ильиничне Разнатовской, и мальчик перестал бывать в сямских и домшинских лесах, а гостил под Вологдой, в Несвойском, и в Деревеньке, небольшой усадьбе родовитых, но уже разоряющихся дворян Разнатовских. Даже здесь не расставался он со своим воспитателем Китаевым. «Моя мачеха, — вспоминает Гиляровский, — добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость... но «светские» манеры после моего «гувернера» Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик! Допекали меня милые тетеньки»¹.

В августе 1865 года Гиляровский поступил в первый класс вологодской гимназии и в первом же классе остался на второй год».

В гимназии царили те же грубые и жестокие нравы, что и в годы обучения здесь П. В. Засодимского — в ходу были линейки, подзатыльники, карцеры, применялись по традиции и розги. Гимназистов учили «чему-нибудь и как-нибудь», поэтому у Гиляровского о том, что он учил и о тех, кто учил, «осталось в памяти мало хорошего». Во главе гимназии стоял брат известного поэта Василия Красова, Иван Иванович Красов, человек вялый и сонный, и в его времена гимназия страдала от засилия чопорных и важных иностранцев. Учитель французского языка Ранси оказался крайне бездарным: на родине он был парикмахером и вряд ли знал хорошо даже свой язык. Немец Робст, по словам Гиляровского, «производил впечатление самого тупоголового колбасника». Гимназисты, зная, что он совершенно не пони-

¹ Гиляровский Вл. Мои скитания, с. 14.

мают по-русски, читали ему вместо утренней молитвы — «Чирик, чирик, где ты был», за что многие из них, в том числе и Гиляровский, не миновали карцера.

В гимназические годы Гиляровский начал писать стихи. Первыми его опытами были злые эпиграммы, «пакости на наставников», за которые обиженные учителя тайно и зло мстили юному «стихоковыряле». «Но, кроме «пакостей на наставников», — вспоминает Гиляровский, — я писал и лирику, и переводил стихи с французского, что очень одобрял учитель русского языка Прохницкий»¹.

В Вологде Гиляровский впервые попал в театр, впервые приобщился к цирку. Тогдашние знаменитости провинциальной сцены произвели на него большое впечатление, «заставили полюбить театр». Как-то осенью на городской площади за несколько дней выросло круглое, высокое здание с загадочной манящей рекламой «Цирк араба-кабила Гуссейн Бен-Гамо». Юноша немедленно проник туда и в два года постиг «тайны циркового искусства», «стал недурным акробатом и наездником».

Вологда в то время была, по словам Гиляровского, полна политических ссыльных, которых местные обыватели называли одним словом — нигилисты. Здесь были революционные демократы, народники, ссыльные по делу Чернышевского и по делу «Молодой России», жили здесь Н. В. Шелгунов и П. Л. Лавров, были и участники польского восстания 1863 года. На улице то и дело можно было встретить «нигилиста» в широкополой шляпе, в небрежно накинутом на плечи пледе или народника в красной рубахе, в поддевке и простых сапогах.

Ссыльные бывали частыми гостями и в доме Гиляровских. Народники, неразлучные братья Васильевы, не только репетиторствовали, но и просвещали юного гимназиста по части политики. Жили они большой колонией в маленьком флигельке у самой гимназии. Гиляровский посещал их вечеринки, слушал оживленные споры, распевал песни о Стеньке Разине. В августе, когда родные жили еще в деревне, кружок ссыльных собирался у Гиляровских в глухом саду.

Однажды один из ссыльных принес гимназисту Гиляровскому запрещенную книгу, роман Чернышевского

¹ Гиляровский Вл. Мои семьдесят пять лет. — Огонек, 1928, № 46, с. 7.

«Что делать?». Юноша залпом прочитал книгу, и она произвела на него сильное впечатление. Неведомый Рахметов, ходивший в бурлаки, спавший на гвоздях, чтобы закалить себя, стал мечтой смелого юноши, давно уже полюбившего свой народ. Гиляровский решил последовать примеру Никитушки Ломова и в июне 1871 года, после неудачного экзамена в гимназии, без паспорта, без денег ушел из родного дома на Волгу, в бурлаки.

Начались скитания под чужим именем, началась бродяжная жизнь...

III

Из Вологды в Ярославль Гиляровский добрался пешком. На Волге уже свирепствовала холера, безжалостно косившая волжский люд, крючников, рабочих причалов. У пристаней дымили пароходы, буксиры, деловито тянули длинные караваны барж, но не видно было старинных бурлацких расшив, попасть на которые особенно хотелось под влиянием только что прочитанного романа. В поисках их Гиляровский долго бродил по берегу, любуясь большим русским городом, живописно раскинувшимся на Волге. Какой-то случайно встреченный старик указал на загорелых оборванных людей, выходивших из кабака. Это были чуть ли не последние на Волге бурлаки. Один из них по пути в Ярославль умер от холеры прямо в лямке, а заменить его было некем. Может быть, потому так охотно приняли бурлаки Гиляровского в свою семью.

— Прямо говорить буду, деваться некуда, — хитрил он, скрывая свое прошлое, — работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

— А на кой ляд он нам?.. Айда с нами, на заре выходим, — пригласили бурлаки.

Кто-то указал на сапоги, посоветовал:

— Коньки брось, на липовую машину станем!

Сапоги пропили, купили на базаре онучи, три пары липовых лаптей, и с рассветом Гиляровский уже тянул лямку в расшиве, шедшей на Рыбинск.

Никакие превратности судьбы не пугали его: кончилась путина — работал крючником, лихо справляясь с девятипудовыми кулями муки. Набив железные мускулы, оказался в солдатской казарме; исключили из юн-

керского училища — поступил истопником в школу военных кантонистов. Не имея зимой пристанища, пошел на белильный завод купца Сорокина в Ярославле, а с первыми пароходами подался в низовья Волги и очутился на рыбных промыслах. Скитаясь по волжским пристаням, нанялся в Царицыне табунщиком, перегонял породистых персидских жеребцов в задонские казачьи степи, арканил и объезжал лошадей на зимовниках. Оказавшись в шумном Ростове, поступил наездником в цирк, разъезжал с ним по российским городам: из Ростова в Воронеж, из Воронежа в Саратов.

Проскитавшись так до 1875 года, Гиляровский в Тамбове отстал от цирка и, став совершенно случайно актером, связал с тех пор значительную часть своей жизни с театром: выступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Саратова.

Нелегкой была жизнь провинциального актера в то время: вечное недоедание, нужда, скитание по городам. Ютились кто прямо на сцене театра, закутавшись «в небо и море», кто на пустых ящиках или на соломе где-нибудь в подвале под домом антрепренера. В летнее время некоторые устраивались на ночь прямо в садовой беседке. Ели из общей чашки. Уходя в город, занимали друг у друга платье, пальто, сапоги. Странствовали по Руси пешим путем, по шпалам.

Как-то однажды труппа, в которой служил Гиляровский, шла из Моршанска в Кирсанов за телегой, нанятой для актрис. Кто-то из актеров предложил старику-антрепренеру купить хотя бы картошки.

— Помилуйте-с? — удивился он. — Где же это видано, чтобы в августе месяце картошку покупали? Ночью сами в поле накопаете.

И труппа, не торопясь, двинулась в путь. Как вспоминает Гиляровский, «делали привалы и варили обед и ужин, пили чай, поочередно отдыхали по одному на телеге», а ночевали на земле, под телегой, на рогожах и театральных коврах.

В перерывы между сезонами Гиляровский в поисках «простора и разгула» оказывался то где-нибудь на Дону, то поднимался на Эльбрус, то снова скитался по волжским пристаням, то вновь поступал в театр и играл в Саратове в труппе А. И. Погонина вместе с В. П. Далматовым, В. Н. Давыдовым, В. Н. Андреевым-Бурлаком,

а свободное время проводил среди «галаховцев», обитателей ночлежки Галахова.

Летом 1877 года Гиляровский добровольно вступил в солдаты, и вся труппа провожала его на Кавказ, на войну с турками. Через несколько месяцев он был уже среди пластунов-охотников и, рискуя жизнью, как кошка, ползал по горам, пробирался в неприятельские цепи, добывая «языка».

Прослужив после отставки несколько сезонов вместе с В. П. Далматовым в Пензе, Гиляровский в 1881 году поселился в Москве, работал в театре А. А. Бренко. К этому времени за плечами у него была уже богатая жизнь, знание людей, опыт. Куда бы ни бросала судьба, какие бы лишения ни испытывал Гиляровский в годы своих скитаний, он никогда не раскаивался, что покинул отцовский дом, гимназию, сонную тихую жизнь в семье. Он был искренне благодарен автору романа «Что делать?», который окунул его в жизнь, заставил узнать свой народ, разделить с ним его тяготы и потом рассказать о нем в своих книгах.

IV

Интерес к литературе, пробудившийся у Гиляровского еще в гимназические годы, не затухал и во время скитаний. Он посылал отцу пространные письма, в которых живо рисовал бродяжную жизнь. В годы скитаний рождались и его первые стихи. Исписанные ими листы серой бумаги также отсылались отцу, который бережно сохранял и стихотворение «Бурлаки» (1871), и очерк из жизни рабочих «Обреченные» (1874) и другие рукописи сына.

Рассказывая позже о своем прошлом, Гиляровский любил читать друзьям «Бурлаков» и удивлялся тому, что цензура изъяла их из «Забытой тетради». А очерк «Обреченные» Гиляровский считает своим самым первым прозаическим произведением, хоть напечатан он был по настоянию Глеба Успенского лишь в 1885 году.

С влажными от волнения глазами слушал Глеб Успенский этот очерк еще до его опубликования. «Ведь это золото! — говорил он автору. — Чего ты свои репортерские заметки лупишь. Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что

видел... Ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет... Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набивал, и сознают это и умирают тут же. Этого до тебя еще никто не сказал»¹.

В этом очерке Гиляровский без прикрас нарисовал картину мрачного быта, жестокой эксплуатации пролетариев. Хмуро, неприветливо выглядит белильный завод купца Копейкина, словно крепость обнесенный высоким грязным забором. Острожным холодом веет от него. С разных концов России в поисках заработка стекались сюда нищие, голодные, бездомные — обреченные люди. Свинцовая пыль забиралась в легкие, чернели лица рабочих. Вскоре они начинали задыхаться, кашлять. У них оставалась одна дорога — в могилу: больше двух-трех лет не выживали даже самые крепкие люди.

Каторжный труд на хозяина, надрывал силы рабочих. Медленно росло сопротивление. Тяжело переживая смерть каждого товарища, рабочие гневно грозят хозяину: «Погоди уже ты!»

Очерк «Обреченные» — это действительно «зарисовка с натуры», потому что автор его на себе испытал адские условия каторжного труда на свинцово-белильном заводе в Ярославле. Это был живой человеческий документ. Очерк Гиляровского появился в «Русских ведомостях» в то время, когда общественность России занимал вопрос о развитии капитализма в стране, когда народники типа Н. К. Михайловского не хотели замечать русского пролетариата и его жалкого существования. Глеб Успенский заметил, что до «Обреченных» никто еще так смело не говорил о пролетариях, не показывал их бедствий и эксплуатации.

Когда Владимир Гиляровский впервые после долгих скитаний приехал в Вологду в 1878 году, отец, поощрявший занятия сына литературой, преподнес ему подарок. Это была книжечка, вышедшая в Вологде еще в 1873 году, а в ней — гимназическое стихотворение Гиляровского «Листок», напечатанное его учителем Прохницким. «Это еще больше, — вспоминал позднее Гиляровский, — зажгло во мне уверенность писать...» Но в новых скитаниях и мытарствах не было времени для литературы, поэтому вплоть до 1881 года создать что-нибудь

¹ Гиляровский Вл. Москва и москвичи. М.: Московский рабочий, 1955, с. 379.

значительное не удавалось. Лишь изредка, от случая к случаю, выходили из под его пера небольшие стихотворения, песни, остроумные эпиграммы, но и они писались «для себя» и нигде не печатались.

Как-то в театре, где служил Гиляровский, появился редактор «Будильника» Н. П. Кичеев, и Андреев-Бурлак заставил своего друга прочесть только что написанные стихи о Волге. Стихи понравились, и 30 августа 1881 года Гиляровский, жадно вдыхая запах свежей типографской краски, читал в «Будильнике» свои строки:

Все-то мне грезится Волга широкая,
Грозно-спокойная, грозно-бурливая,
Грезится мне та сторонка далекая,
Где протекла моя юность счастливая.
Помнится мне на утесе обрывистом
Дубы высокие, дубы старинные,
Стонут они, когда ветром порывистым
Гнутся, ломаются ветви их длинные...

Осенью этого же года, воодушевленный первыми успехами, он «окончательно бросил сцену и отдался литературе». Сначала печатал всякую мелочь в «Русской газете», а потом перешел на постоянную работу в «Московский листок», где и проходил суровую репортерскую школу. Работа в этой газете требовала большой энергии, выносливости, смелости и находчивости. «Трудный был этот год, год моей первой ученической работы, — рассказывает Гиляровский. — На мне лежала обязанность вести хронику происшествий, — должен знать все, что случилось в городе и окрестностях и не прозевать ни одного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда»¹.

И Гиляровский, обгоняя извозчиков, носился по Москве, с убийства на разбой, с пожара на крушение, лазил по крышам вместе с пожарниками, проникал в притоны, трущобы, сидел в трактирах, бродил по ярмаркам, во все взглядываясь, ко всему прислушиваясь, и всегда был в курсе городских новостей. Вскоре он приобрел огромную популярность и стал, по общему признанию, «королем репортеров».

В 1882 году «Московский листок» напечатал его корреспонденции из Орехова-Зуева о громадном пожаре на фабрике Морозовых, во время которого пострадали сотни

¹ Гиляровский Вл. Мои скитанья, с. 257.

рабочих и члены их семей. Хозяева и полиция тщательно скрывали причины пожара, но Гиляровский, переодевшись в рваный пиджачишко, в стоптанные сапоги, проник на фабрику, под видом рабочего толкался в очередях по найму, в пивных и трактирах и выяснил истинную причину трагедии — отсутствие элементарных жилищных условий в рабочих казармах. Его корреспонденции в «Московском листке» об этих событиях вызвали брожение среди рабочих. Перепуганные фабриканты жаловались на газету генерал-губернатору. Тот приказал арестовать и выслать автора корреспонденций. Издателя с большим трудом удалось скрыть имя «своего человека», наделавшего столько шуму и доставившего большие неприятности фабрикантам.

Вскоре после этих событий, в июне 1882 года, Гиляровский, оказавшись в компании с управляющим Московско-Курской железной дорогой, случайно узнал о большом крушении под Орлом, ставшем вскоре известным благодаря его корреспонденциям под именем Кукуевской железнодорожной катастрофы.

...Ночью страшным ливнем была размыта насыпь, образовалась громадная подземная пещера, в которую вместе с людьми рухнул почти весь поезд. Грязь засосала трупы людей и обломки разбитого состава. Все это держалось в строгом секрете, корреспонденты к месту события не допускались, но Гиляровский незамеченным проник в специальный поезд, в котором ехало на расследование железнодорожное начальство, и «Московский листок» был единственной газетой, впервые известившей своих читателей о трагических событиях, стоивших жизни сотням людей.

Две недели прожил отважный репортер в этой страшной могиле, присутствовал на раскопках даже ночью, дремал, сидя на обломках. При каждом показавшемся из земли трупе его будили, и о каждом шаге работ он извещал свою газету, посылая телеграммы о Кукуевской катастрофе. За эти дни Гиляровский пропах трупным запахом, оброс, загорел дочерна так, что брат Всеволода Гаршина, оказавшись на месте раскопок, ужаснулся, увидев его и тотчас же увез отдыхать в Спасское-Лутовиново, имение И. С. Тургенева.

За время многолетней работы в газетах имя Гиляровского не раз прогремело на всю Россию, а газеты, где печатались его статьи, нередко раскупались нарас-

хват, так как там сообщалось то, что нигде нельзя было прочитать.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов съехалось на коронацию Николая II в 1896 году. «И я был единственным из всех... — не без законной профессиональной гордости вспоминает Гиляровский, — в самом пекле ходынской катастрофы среди многотысячной толпы, задыхавшейся и умиравшей на Ходынском поле».

Вечером, накануне коронации, он отправился на Ходынское поле. Там уже собирался народ, не только горожане и подмосковные крестьяне, но и жители дальних от Москвы мест пришли за грошовыми лакомствами — пряниками, орехами, пирогами, за коронационными кружками. С вечера поле уже было плотно усеяно народом. Когда начал светать, людей еще прибыло. И все шли и шли со всех сторон...

«Вдруг загудело. Сначала вдали, а потом вокруг меня, — рассказывал о происходившем Гиляровский. — Сразу как-то... Визг, вопли, стоны... И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки... Толкотня, давка, вой... А там, впереди, около будок по ту сторону рва вой ужаса: к песку и глине вертикального обрыва выше роста человека прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, как к стене, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплоченную массу воющих людей... Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползали по головам и плечам народа».

Оказавшись в этой спрессованной массе людей, Гиляровский уже начал терять сознание, но последними страшными усилиями все же вырвался из воющей, обезумевшей толпы. Через некоторое время на пожарных фургонах, собиравших трупы, он вновь был на Ходынском поле и своими глазами видел ужасные последствия катастрофы: многие сотни раздавленных, изуродованных до неузнаваемости людей. А вокруг начинался, как выразился Гиляровский, «праздник над трупами»: раздавались подарки, на эстрадах выступали хоры, гремели оркестры.

Единственная статья о Ходынке, которая появилась на другой день, была статья Гиляровского в «Русских ведомостях». Ее заглавие было набрано крупными бук-

вами — ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА. Она, что называется, успела проскочить вовремя: другим газетам тотчас же запретили писать об этих событиях. Но Гиляровский уже сказал свое слово, и иностранные корреспонденты один за другим устремились на его квартиру: интервьюировали, фотографировали его, восхищались им.

Работа журналиста требовала от Гиляровского не только громадного физического напряжения, но и исключительной находчивости, сметки, оперативности. И «король репортеров» искусно выполнял свою трудную, подчас очень опасную работу. Об одном из таких случаев живописно рассказывает в своих воспоминаниях Н. И. Морозов¹.

...Однажды сотрудник газеты «Русское слово» Гиляровский, словно предчувствуя что-то важное для журналиста, явился на бал к нефтяному королю Шамси Асадулаеву, у которого собралась вся московская знать. Гиляровский догадывался, что свежие новости должны быть непременно и почти весь вечер держался ближе к телефону. В полночь раздался продолжительный тревожный звонок. Гиляровский снял трубку. Кто-то взволнованно просил позвать московского градоначальника.

— Сию минуту, — отвечал Гиляровский и, поразмыслив, через время, подражая голосу градоначальника, сказал в трубку: — Я слушаю!

— Ваше превосходительство, — заговорил неизвестный торопливо и подобострастно, — в Лосиноостровской злоумышленники пытались ограбить банк, но были замечены охраной, сейчас идет перестрелка...

— Виноват, простите, — перебил Гиляровский. — Вы кого просили позвать к телефону?

— Московского градоначальника, — послышался в трубке недовольный голос.

— Сейчас я приглашу генерала Андрианова.

Пока лакей приглашал градоначальника к телефону, Гиляровский уже мчался на лихаче к Ярославскому вокзалу. Оказалось, что самый ближайший поезд не останавливается в Лосиноостровской. Но Гиляровский все-таки решается ехать. У самой Лосинки, в холодную

¹ Морозов Н. И. Гиляровский — писатель и журналист. — Лит. Вологда, 1956, кн. 2, с. 225—227.

вьюжную ночь, он соскакивает на полном ходу с поезда. Через несколько минут, пробившись через толпу народа, окружившего банк, он уже беседует с очевидцами, начальниками, что-то записывает, а с первым же поездом возвращается в Москву и — прямо в редакцию. Назавтра эта новость появилась лишь в одной газете — в «Русском слове» И. Д. Сытина.

Гиляровский-журналист никогда не испытывал недостатка в свежем материале. Завзятые московские газетчики отказывались соревноваться с ним в оперативности. Он всегда был в курсе самых неожиданных событий, всегда был начинен самыми свежими фактами жизни и всегда соглашался на самые рискованные предложения редакций тогдашних газет.

В 1899 году Гиляровский заведовал московским отделом газеты «Россия». Как-то его пригласили в Петербург на важное редакционное совещание, во время которого Амфитеатров сказал:

— Гиляй, нам для газеты позарез нужно сенсацию. Вся надежда на тебя.

— Все, что интересное будет в Москве, не прозеваю.

— Нет, надо что-нибудь эффектное, крупное, — что Москва!

И Гиляровский предложил объехать дикую в то время Албанию, где еще нога европейца, по его словам, не ступала. Предложение было принято с восторгом. Сейчас же отпустили средства на покупку оружия и лошади, необходимых для такого путешествия. Вернувшись в Москву, Гиляровский получил заграничный паспорт и через три дня выехал на Балканы.

Будучи председателем «Русского гимнастического общества», обладателем Большой золотой медали «Наибольшему витязю Душана Сильного», полученной во время Олимпийских игр в Сербии в 1897 году, Гиляровский решил по пути заглянуть в Белград к своим друзьям, членам сербского атлетического общества. Как раз в это время, 24 июня, в Белграде было произведено покушение на сербского короля Милана. Кто-то прямо на центральной улице города выпустил в него четыре пули. В Сербии свирепствовал террор, улицы патрулировались, город был объявлен на осадном положении. Радикалы и все, кто держался русской ориентации, арестовывались немецким ставленником королем Миланом.

Жители, объятые паникой, боялись сказать друг другу слово.

«Мне было бесконечно жаль видеть, — писал Гиляровский, — в таком терроре Белград, который так недавно я видел ликующим. Мне до слез было жаль сотни арестуемых... И знал я, и видел, что Милан воспользуется обстоятельствами и передумит все лучшее. А что сделать?!» И Гиляровский с риском для своей жизни принимает решение — разоблачить немецкого ставленика Милана перед лицом мировой общественности.

Он составляет текст телеграммы, переписывает ее латинскими буквами и посылает в редакцию своей газеты: «Милан придумал искусственное покушение с целью погубить радикалов. Лучшие люди Сербии арестованы, ожидают казни, если не будет вмешательства держав». На Белградском почтамте телеграмму задержали, и автору ее грозила короткая и суровая расправа.

В ночь на 29 июня 1899 года во время страшного тропического ливня друзья из атлетического общества помогли Гиляровскому бежать, переправив его через бушевавший Дунай на венгерскую землю. С первой же венгерской пристани Гиляровский снова телеграфировал на родину:

«Оршава. 29 июня... В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии закованы в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты «Одъек», находящаяся в оппозиции с Миланом, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газеты частью из страха, частью из низкого расчета поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, начнутся казни. В. Гиляровский».

Уже на другой день телеграмма за подписью Гиляровского появилась на страницах газеты «Россия», а затем обошла европейскую прессу и вызвала «полное презрение к Милану». Иностранные державы действительно вмешались. Сам Милан вскоре после этих разоблачений навсегда исчез из Сербии. «Король московских репортеров» действительно вывел «на свежую воду» сербского короля, раскрыл его интриги. В эти дни благодаря корреспонденциям Гиляровского газета «Россия» имела исключительный успех, а его самого чествовали

на специальном обеде за этот «всемирный газетный бум», изменивший историю Сербии репортерской телеграммой.

Необычайно занятый газетной работой, Гиляровский не уставал расширять круг своих литературных интересов и знакомств, печатался в «Русской мысли», сотрудничал в юмористических изданиях («Осколки», «Будильник», «Развлечение»). При всем этом он оставался прежде всего газетчиком. Чехов, начинавший вместе с Гиляровским почти в одних и тех же изданиях, уже в 1885 году считал, что его друг, как он его шутливо называл, «московский оберзнайка», сделался «в последнее время царьком московских репортеров»¹. В одном из писем Чехов писал о Гиляровском: «Из этого человечины вырабатывается великолепный репортер»².

Как журналиста, Гиляровского всегда привлекали судьбы простых людей, он не уставал выступать в их защиту, всегда интересовался социальной стороной дела и показывал подлинное лицо истинных виновников трагических для народа событий, поэтому его газетные выступления все чаще приобретали гражданское звучание, острый публицистический характер и привлекали внимание широкой общественности.

«Московский листок», в котором начал свою работу Гиляровский, не мог стать трибуной для журналиста, нередко выступавшего с резкими обличениями современных порядков.

Однажды в подмосковном селении Гуслицы и в некоторых деревнях, Рязанской губернии Гиляровский столкнулся с кустарными артелями, производившими спички. Производство их было организовано примитивно, без всякой охраны труда и вредно сказывалось на здоровье рабочих: у них кровоточили десны, выпадали зубы, гнили и отваливались пальцы. Люди отравляли свой организм и погибали, но никто не обращал на это внимания. Гиляровский сам испытавший на себе вредный труд на белильном заводе, был крайне возмущен таким бесчеловечием. Он решил непременно выступить в печати с обличением хозяев этих предприятий. Но редактор «Московского листка»

¹ Чехов А. П., т. XIII, с. 127.

² Там же, с. 141.

не решился печатать статьи в защиту рабочих. Молодой журналист не успокоился на этом. Свои статьи он опубликовал в другой газете и все-таки добился запрещения спичечного производства таким варварским способом.

В конце концов Гиляровский вынужден был покинуть «Московский листок». Стремясь вырваться на просторы большой литературы, он становится в 1884 году сотрудником «Русских ведомостей», газеты, в которой печатались лучшие русские писатели. Позже Гиляровский сотрудничал в газетах «Россия», «Русское слово», но именно здесь, в «Русских ведомостях», он приобрел к настоящей литературе и начал с очерка «Обреченные» публиковать свои беллетристические произведения.

V

Когда Гиляровский примчался на лихаче к Сущевке, здесь уже пахло гарью, снег вокруг был покрыт сажей, и ветер разносил клочья обгорелой бумаги. С заднего двора полицейской части поднимался густой дым — жгли тираж книги, запрещенной цензурой.

Измятый, тронутый огнем лист, с оторванным «на самокрутку» углом, попал в руки автора. На нем было напечатано: «Вл. Гиляровский. Трущобные люди». Это была его первая книга, подготовленная с большим трудом и любовью. С тех пор прошло около ста лет... Книга набранная и отпечатанная в одной из московских типографий еще в 1887 году, увидела свет лишь в наши дни¹.

Одно название этой книги «Трущобные люди» — могло, по словам Чехова, напугать цензуру, а в книге было собрано пятнадцать рассказов и очерков — «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар», «Потерявший почву»... Все они печатались раньше в газетах и журналах, но собранные вместе приобретали обобщающий смысл, составляли цельную и мрачную картину бедствия и нищеты народа, униженного и задушенного эксплуатацией, выброшенного «на дно» жизни, в трущобы.

А. П. Чехов, знакомясь с уцелевшим у автора экземпляром «Трущобных людей», говорил Гиляровскому: «В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки,

¹ Гиляровский Вл. Трущобные люди. Этюды с натуры. М.: Гослитиздат, 1957, 128 с.

а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное... Все гибнет и как гибнет!»¹.

Книга о «трущобных людях» открывается очерком «Человек и собака», в котором писатель повествует о тяжелой участи совсем одинокого, бездомного, потерявшего свое имя старика-бродяги из холодной северной губернии. Опустившись на дно, в трущобы старой Москвы, он, подобно горьковскому Клецу, еще надеется подняться, вырваться из подвалов, приютивших его. Но Гиляровский не видит выхода для людей, смирившихся с бродяжной жизнью.

Единственного друга старика-бродяги собаку Лиску поймали ловчие и поместили в собачий приют. Некому теперь, как раньше, греть ноги совсем одинокому бездомному старику, не с кем ему и словом перемолвиться. Но, тоскуя, он счастлив тем, что другу его живется тепло и сытно. Так и замерз бродяга на льду Москва-реки с нехитрыми своими мечтами.

«А кому нужен этот бродяга по смерти? — спрашивает писатель, заканчивая рассказ. — Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмётренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» — могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет: «Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!» Хуже собаки!...»

Бездомный бродяга из рассказа «Человек и собака» — одна из многих жертв нищеты и бесправия, бесчеловечных социальных отношений, царящих в буржуазном обществе. Не находя выхода, гибнут и другие герои «этюдов с натуры» Гиляровского. Сливается лакей Спирька («Спирька»), вышиблен из жизни талантливый актер Ханов («Балаган»), жертвой трущобы становится бывший военный Иванов («Потерявший почву»), попадает в публичный дом Екатерина Казанова («Грезы»), на одиночество и скитания обречен солдат Воронов («Без возврата»). Печальна и судьба нищего вологодского крестьянина Никиты Ефремова («Один из многих»), отправившегося на заработки в Москву, так как

¹ Гиляровский Вл. Москва и москвичи, с. 456.

«дома хлебушка и без его рта не хватит до нового». Раздетый и голодный, бродил он долго в поисках места, ночевал в зловонных притонах, несправедливо был обвинен однажды в воровстве и посажен в тюрьму.

С суровой реалистичностью, с большим знанием жизни и быта народных низов рисует Гиляровский московские трущобы и их обитателей, раскрывая те социальные условия, которые морально опустошают человека, порождают босячество. Проследившая судьбы своих героев, писатель показывает трагическую безысходность их нищенского существования, обездоленность народных низов в мире капиталистической наживы. Герои его рассказов и очерков — жертвы эксплуатации, произвола, унижения человеческой личности. Положение этих людей поистине беспросветно. Жизнь уродует их, ломает, опустошает, и люди падают и гибнут под ее жестокими и неумолимыми ударами. Это уже «бывшие люди», «трущобные люди». Но даже «на дне» они не утрачивают подлинно человеческих качеств. Сила обличения сочетается у писателя с горячей симпатией к трудолюбивому, талантливому русскому человеку, с показом его мужества и человечности, веры в будущее.

«Радуюсь за Гиляровского, — писал А. П. Чехов. — Это человечина хороший и не без таланта... Книжку его конфисковали еще в ноябре за то, что в ней все герои — отставные военные — нищают и умирают с голода. Общий тон книжки уныл и мрачен...»

Судьба «сожженной книги» тяжело отозвалась на судьбе Гиляровского как писателя. Н. Телешов вспоминает: «Он рассердился, что писателю не дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл контору объявлений и разразился по тем временам необычайной рекламой¹. На пролетках извозчиков, в окнах магазинов, даже в Кремле на царь-пушке появились яркие круглые объявления, извещавшие о конторе Гиляровского. Не зная куда девать энергию, он основал «Русские гимнастическое общество», где показывал чудеса ловкости и своей редкостью, исключительной силы.

Испытав неудачу с изданием книги рассказов, Гиляровский решил выступить как поэт. Он собрал стихи разных лет и в 1894 году издал сборник «Забутая тетрадь», со страниц которого опять-таки вставал образ

¹ Телешов Н. Записки писателя, с. 22.

поэта-бродяги. В стихотворении «Бродяга» Гиляровский пишет:

Не смейтесь, что все я о воле пою:
Как мать дорогую, я волю люблю...
Не смейтесь, что пел я о звуке оков,
О скрипе дверей да о лязге штыков...
О холоде, голоде пел, о беде,
О горе глубоком, и горькой нужде.

Жажда свободы, мотивы желанной вольности определяют содержание лучших стихотворений Гиляровского. Их герой тоскует по воле, рвется из душного каменного города на широкие степные просторы, на берега раздольной могучей Волги и вольного тихого Дона.

Особенно часто Гиляровский обращается к темам казачьей вольницы, любясь непокорностью, удалью и отвагой русского народа. В поэме «Запорожцы» он рисует своих отважных свободолюбивых предков из Запорожской Сечи.

С детства был близок и дорог поэту образ народного борца и заступника Степана Разина. Он вставал перед ним особенно часто в годы бурлачества и скитаний по Волге и Дону. Здесь сама природа остро напоминала о Разине. Уже тогда складывались строфы поэмы «Стенька Разин», завершённой Гиляровским в 1888 году, но полностью опубликованной лишь в советское время. Поэт не склонен поэтизировать стихию разинского движения, он видит и силу его и слабости. Но, открывая поэму прологом, Гиляровский указывает на осознанность решения Разина расправиться с царями, недругами народа, угнетателями. Разин у него полон решимости и бескорыстия в борьбе за свободу.

Поэма о Разине принадлежит к числу лучших поэтических произведений Гиляровского. Однажды во время прогулки на пароходе по Волге, он прочел Горькому всю эту поэму, а потом прислал из Москвы сборник «Забятая тетрадь», где были опубликованы две главы поэмы, случайно пропущенные цензурой. «Разин — здорово! и красиво»¹, — писал в ответ Горький.

Во многих своих стихотворениях из «Забитой тетради» Гиляровский мечтает о приходе солнца и счастья на его землю, верит, что наступит желанное время и «разгонит мрак нависших туч». Но вместе с тем чувства усталости и неверия иногда берут над ним верх, и поэт

¹ Гиляровский Вл. Москва и москвичи, с. 440.

признается, что былые мечтания «разбились в прах», что он разучился мечтать о счастье. «Дальше оказывается, — писал Горький, — что у г. Гиляровского нет

В мозгу ни дум, ни веры, ни сомнений»¹

Стихи Гиляровского к тому же не обнаруживали са-мобытного поэтического дарования. Горький дал отрицательную оценку второму изданию «Забывтой тетради», да и сам Гиляровский вряд ли был удовлетворен своей поэтической работой. Не она определяла его творческое лицо, его поиски и возможности.

Отдавшись с новой силой репортерству, он метался в поисках живого жизненного материала: то слал с берегов Дона в «Русские ведомости» корреспонденции о свирепствовавшей там холере, то объезжал гоголевские места на Украине. Собрав там интересный материал, Гиляровский издал книгу «На родине Гоголя» (1902).

В качестве корреспондента «Русского слова» Гиляровский отправился на Балканы и печатал статьи о торжествах по случаю 25-летия со дня русско-турецкой войны, а потом выпустил книгу «Шипка прежде и теперь» (1902). Писал он и гневные статьи о русско-японской войне, разоблачая царских интендантов, наживавшихся на бедствиях народа.

Работа журналиста требовала колоссальной энергии и почти не оставляла времени для беллетристики. И все же в 1900 году Гиляровский выпустил книгу своих рассказов — «Негативы», а затем в 1909 году другой сборник — «Были», вобравший в себя рассказы за три пятилетия его творческой работы.

Посылая «Негативы» одному из вологодских знакомых, Гиляровский писал:

Здесь все: тревоги и мечтанья,
Порывы прежних бурных дней,
Народа горькие страданья
И беды юности моей!

В «Негативы», как и в «Были», писатель включил значительную часть автобиографических рассказов, связанных с воспоминаниями детства, с годами скитаний по России («Надюшины цыплята», «Дядя», «В огне»,

¹ Горький М., т. 23, с. 80.

«Преступление»), но эти рассказы были далеки от его основных творческих интересов. Цензурные условия не позволяли делать то, что было по душе писателю, поэтому приходилось смягчать откровенные выражения в ранее опубликованных рассказах, давать их под нейтральными названиями («Человек и собака» — «Бродяга», «Обреченные» — «Свинец», «Без возврата» — «Часовой», «Один из многих» — «Обыкновенный случай», «Потерявший почву» — «Некуда»). И тем не менее Гиляровский постоянно стремился писать о народных страданиях и бедствиях, о «трущобных людях», выброшенных за борт жизни.

В рассказе «На плотях» (1888) писатель показывает быт плотовщиков, их тяжелый труд, прослеживает на судьбе багорщика Никиты разорение деревни, бедственное положение крестьянина. Еще недавно Никита жил своим хозяйством, а теперь распалась его семья, младшие дети умерли «от горла» и «от живота», старший сын ушел в город и погиб в его трущобах. И сам Никита, уйдя в плотовщики, чтобы прокормить себя и старуху, оставляет значительную часть заработка в московских трактирах. Он уже тоже на пути в трущобы.

Рассказы Гиляровского о судьбах обездоленных, выброшенных из жизни людей, раскрывающие отчаяние психологически надломленного человека, окрашиваются настроениями грусти, тоски. Но в 1912 году в Москве вышла еще одна книга дяди Гиляя — «Шутки», в которой писатель собрал рассказы иного плана. Это — «осколочные» зарисовки шуточного, подчас фельетонного характера. Гиляровский дает в этой книге бытовые сценки из жизни купцов и московских обывателей, военных и полицейских, актеров и газетчиков. Он раскрывает невежество купечества («Рассказ купца о «Фаусте», «Лукоперия Грандифлера»), глупость полиции и царских чиновников («Следствие», «Макарка»), наглое обирательство со стороны торговцев («Готовая обувь») и дворников («Старший дворник»). Но Гиляровский не ограничивается бытовыми зарисовками, он дает и едкие сатирические картины. Рассказ «Доморощенный Треф» — довольно злая сатира на мещанский быт полустанка Терпиловка Новозапахайловской железной дороги, на это болото трясиное, которому нет конца краю. Здесь никто никогда не читал газет и не интересовался тем, что происходит за полустанком. Слышали как-то

случайно о какой-то забастовке, но знать о ней не хотели, потому что «своего горя было много — у кур в это время была повальная болезнь, от которой они крутились по двору и падали мертвыми». «Сама же Новозатихайловская дорога не бастовала, — с иронией пишет Гиляровский, — и продолжала возить щепной товар и молоко. Попались случайно несколько номеров газеты от проезжих пассажиров, но в них были напечатаны такие страшные вещи, что жандарм и начальник станции предали их уничтожению, почти не читая»¹.

В рассказе «Лукоперия Грандифлера» высмеивается кичливый купец Костыгин, ошеломляющий своих посетителей «научными» названиями цветов. Названия эти он сочиняет на ходу, а один из цветов сада в честь своей дородной супруги, «купчихи неохватной» Лукерьи он громко назвал «Лукоперия Грандифлера».

«Осколочные», «шутейные» рассказы дяди Гиляя насыщены меткими жизненными наблюдениями. Чуткий к живой разговорной народной речи, Гиляровский умел подслушать ее и заботливо сохранял в своих рассказах сочные и острые народные выражения и диалоги.

Вскоре грянула первая мировая война, и Гиляровский вновь выступил как поэт. Он издал три книги стихов: «Казаки» (1914), «Год войны» (1915), «Грозный год» (1916). Но вошедшие в них «ультрапатриотические» стихи не были оригинальны ни по форме, ни по содержанию.

Как беллетрист Гиляровский не мог развернуть свой талант в жестоких условиях царской цензуры. Он то переключался на поэзию, то совсем замолкал. Только Великая Октябрьская революция дала ему возможность откровенно рассказывать о том, что он видел за годы своей жизни.

VI

Задолго до революции в одном из стихотворений Гиляровский писал:

Не бойтесь, хоть ветра напевы унылы...
Надейтесь — воспрянут могучие силы,
Весна золотая придет!

¹ Дядя Гиляй. Шутки. М., 1912, с. 17—18.

Вера в могучие народные силы, ожидание «весны золотой», знание истинного положения обездоленных людей — все это и привело Гиляровского к горячему восприятию Октябрьской революции. Начался самый плодотворный период в его творческой жизни. Гиляровский напряженно работал даже в суровые годы гражданской войны. В декабре 1917 года он закончил и читал друзьям поэму «Петербург», а вслед за этим начал готовить к печати поэму о своем любимом герое Степане Разине.

Автор этой поэмы, по словам К. Паустовского, встретил революцию как «разворот русского бунтарского духа» и «искал ее истоки в разинщине, пугачевщине, в крестьянских бунтах и «красных петухах»¹. Это одностороннее восприятие революции и нашло отражение в его поэтических работах этих лет, и особенно в поэме «Петербург».

Несмотря на преклонный возраст, Гиляровский был полон молодой энергии, горячо приветствовал новую жизнь и активно сотрудничал в советской печати («Известия», «Вечерняя Москва», «Прожектор», «Огонек» и др.). За день он успевал иногда побывать в нескольких редакциях — то сдаст статью, то расскажет о старой Москве, то одобрит начинание нового поколения литераторов.

Вездесущий старик появлялся в редакциях, как вспоминает К. Паустовский, неожиданно, перекрывая всех своим гремящим хрипловатым голосом: «Молокососы!.. — кричал он нам, молодым газетчикам. — Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Курдюкова... От газетного листа должно разить таким жаром, чтоб его трудно было в руках удержать. В газете должны быть такие речи, чтоб у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите! Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ. Он вам еще покажет, где раки зимуют!.. Можно, конечно, делать политику и за дамским бюро на паучьих ножках. И проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужичьего слова всех вас схватит кондрашка! Тоже народники! Прощайте! Другим разом найду. Сейчас что-то неохота с вами балакать»².

¹ Паустовский К. Собр. соч. М.: Гослитиздат, 1958, т. 3, с. 604.

² Там же, с. 602—603.

И он уходил устраивать очередной разгром в другой редакции. Газетная молодежь любила Гиляровского «за его шумную талантливость, неистощимую выдумку». Он был для нее живым олицетворением русского размаха и доброты, народной смекалки и лукавства.

Гиляровский не мог жить только воспоминаниями о прошлом, он смело шел навстречу новой жизни, искренне радовался ей, был чуток и отзывчив на все современное. «Все еще лихой, бравый, — вспоминает В. Лидин, — гордый своей не поддающейся времени выправкой, с суковатой палкой в руке, он тянулся к молодым, он не хотел отставать... не сдавался: он шел туда, где были люди, он еще шумел, похохатывал, рассказывал случаи из долголетней своей жизни, «одалживал» табачок, иногда сгибал руку, чтобы пощупали мускулы, — весь в сегодняшнем дне и меньше всего в прошлом»¹.

Старый писатель спешил сделать то, что не успел сделать за многие годы своей бурной и беспокойной жизни. Не зная отдыха, он отдавал теперь свои последние силы только литературе. В доме Гиляровского и на даче, как и прежде, собирались его давние и новые молодые друзья. На этих задушевных встречах он рассказывал о жизни, о тех, с кем свела его судьба, с кем он работал рядом, бок о бок. Эти рассказы доставляли и автору и слушателям большое удовольствие. Оставаясь один, Гиляровский записывал их почти теми же словами, как рассказывал. Все, что сохранила его удивительная память, все, что когда-то было записано на ходу, иногда даже на крахмальных манжетах, — все это нужно было теперь восстановить и привести в систему. «Я просто беру людей, события, картины, как их помню, — говорил Гиляровский, — и подаю их в полной неприкосновенности, без всяких соусов и гарниров». Но в этих его словах еще не вся правда. Он никогда не был «кабинетным писателем», но эта работа требовала большой усидчивости, тщательной шлифовки слова.

Одна за другой выходили из-под пера Гиляровского книги — «От Английского клуба к музею Революции» (1926), «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928). «Записки москвича» (1931), «Друзья и встре-

¹ Лидин Вл. Люди и встречи. М.: Сов. писатель, 1957, с. 58.

чи» (1934). Книги, над которыми он работал в последние годы жизни, ему уже не суждено было увидеть. «Люди театра» (1941) вышли после смерти Гиляровского, а «Записки репортера» еще долгое время оставались неопубликованными.

Все эти книги очень тесно связаны между собой. Они близки тематически, сближают их и общие герои, и переплетающиеся события. Это книги об одной эпохе, и в центре их — образ летописца этой эпохи, самого Гиляровского. Кроме того, и создавались эти книги почти одновременно, а не одна за другой: по мере накопления близких по замыслу и по теме очерков писатель объединял их под общим названием и издавал.

Гиляровский считал себя москвичом и гордился этим. Но он был не просто жителем Москвы, а и великолепным знатоком древней русской столицы, ее бытописателем. Память писателя вобрала и сохранила для поколений любопытнейшие истории о людях Москвы, об ее улицах и площадях, бульварах и парках, художественных и артистических кружках, великолепных особняках и грязных трущобах, булочных и парикмахерских, банях и рынках; дворянских клубах и шулерских притонах, «дворцах обжорства» и захудалых трактирах.

Еще в книге «От Английского клуба к музею Революции» Гиляровский обратился к изображению московского быта. Эта тема постоянно волновала писателя и стала главной в его творчестве советских лет («Москва и москвичи», «Записки москвича»).

Гиляровский не был бесстрастным регистратором событий и бездушным бытописателем. Он видел социальное неравенство в мире наживы, показывал безудержный разгул дворянской и купеческой Москвы и все ужасы буржуазного города, гибель одаренных людей в его трущобах. С душевной болью писал Гиляровский о трагических судьбах «трущобных людей», обитателей ночлежек, жителей Хитрова рынка и Цветного бульвара, нищих мастеровых и ремесленников «Олсуфьевской крепости», спившихся драматургов и артистов из «Собачьего зала». В трущобах находили приют и «обратники», бежавшие из Сибири и из разных тюрем. Здесь жили семьями, любили, женились, растили детей. Отсюда уже не было выхода в иной мир: мальчики, подрастая, становились ворами, девочки — проститутками.

Гиляровский был частым гостем московских трущоб. Тысячи людей погибли здесь на его глазах, и велика была радость писателя, когда Советская власть навсегда покончила с этими гнойниками буржуазного мира.

Уходящая старая Москва, Москва Гиляровского — это для автора «Москвы и москвичей» фон, который должен оттенить величие новой, растущей Москвы. Словно перед пушкинским Пименом проходит перед ним минувшее. «На пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, — писал он, — я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал... Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы»¹.

Невиданные силы нужны были, чтобы старая Москва выросла в первый город мира. «Это стало возможно, — говорит Гиляровский, — только в стране, где Советская власть». Он считает, что новые поколения людей, не знавшие, «каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой», «должны узнать, какова была старая Москва и какие люди бытовали в ней». И сознание того, что его работа полезна и значительна, делало писателя молодым и счастливым.

Из всех книг, написанных Гиляровским, самой его любимой была автобиографическая «повесть бродяжной жизни» — «Мои скитания». Почти хронологически излагая свою биографию, писатель не ограничивается повествованием о себе. Рисуя яркие картины своего детства, гимназического быта, он показывает также политическую ссылку Вологды шестидесятых годов, горемычную судьбу последних бурлаков на Волге, тяжелый труд грузчиков и рабочих белильного завода, изнурительную службу солдат и скитания провинциальных актеров, военные события на Кавказе и быт столицы. «Мои скита-

¹ Гиляровский Вл. Москва и москвичи, с. 9.

ния» — это не только бродяжная жизнь Гиляровского, это — скитания многих людей, подобных ему. Автор повести не только ее главный персонаж — он еще и активный свидетель тех событий, которые описывает. Гиляровский пишет о своем времени. Со страниц книги встают образы простых людей — беглый матрос Китаев, бурлак Костыга, атаман Репка, солдат Орлов, нищие актеры, бедные газетчики, и у каждого из них своя судьба, свой путь в жизни.

В «Друзьях и встречах» сам рассказчик отодвигается на задний план. В этой книге Гиляровский создает яркие портреты Льва Толстого, Чехова, Глеба Успенского, Брюсова, Саврасова, пишет о людях, сыгравших свою роль в истории спорта, о различных типах газетчиков и о других знаменитых и неизвестных современниках.

Значительный период жизни Гиляровского был связан с театром. О своих театральных скитаниях, о тех, с кем встречался на этом пути, он рассказывал в книге «Люди театра», назвав ее «повестью актерской жизни». Ею он как бы продолжил «повесть бродяжной жизни».

«Люди театра, — писал Гиляровский, — это те, которые живут театром, начиная от знаменитых актеров и кончая театральными плотниками и даже переписчиками пьес и ролей, ютившимися в ночлежках «Хитровки»...

«Люди театра» — это повесть о действительных событиях, записанных по горячим следам в форме дневников или сохранившихся в памяти автора, представляющего собой одного из «людей театра».

Гиляровский рассказывает, что в старые времена в театр не поступали, а попадали, как попадают под суд, под поезд.

За кулисами актеры не делились на «великих» и «мелкоту». Несмотря на постоянную нужду и скитания, те и другие были убеждены в том, что они люди особенные — люди театра. На сытых обывателей актеры, по словам Гиляровского, смотрели с высоты своего призрачного величия.

«— Горд я, Аркашка, — говорил Несчастливцев, шагая пешком из Керчи в Вологду и встретив Счастливецва, шагавшего из Вологды в Керчь...»

И пошли вместе старые друзья Гиляровского — тра-

гик Николай Хрисанфович Рыбаков и комик Александр Дмитриевич Казаков, с которых писал Островский героев своего «Леса», — один огромный, в рваном плаще, перекинутом через плечо, в порыжевшей на солнце широкополой шляпе, другой — маленький, тощий, в женской кофте, в рваных ботинках, из которых пальцы наружу глядят.

С любопытством разглядывают их арестанты, встреченные на пути. Один толкает другого в бок:

— Глянь-ка, актеры! Гы... гы!

— Не смейся, щенок! Может, сам хуже будешь!

Гиляровский любил театр, жил им, знал и понимал тех, кто отдавал ему душу — всю жизнь. В его книге целая галерея людей от безвестных перелетных птиц — таких, как скромный, рядовой провинциальный актер Вася Григорьев, который охотно и добросовестно делал все, что ему поручали, до таких великанов, как В. Н. Андреев-Бурлак, А. И. Южин, К. С. Станиславский, М. Н. Ермолова. Тепло вспоминает Гиляровский и об известных провинциальных актерах М. П. Докучаеве, В. П. Далматове, Ф. К. Вольском и о столичных знаменитостях Михаиле и Прове Садовских, А. А. Бренко, М. И. Писареве, А. Я. Глама-Мещерской.

В январе 1935 года были написаны последние строки этой книги — предисловие к «Людям театра», и Гиляровский весь отдался новой работе: завершал «Записки репортера», писал большую поэму о В. И. Ленине, восторженные стихи о челюскинцах, о советской молодежи.

Последние годы жизни писатель с обостренной тоской вспоминал о русском Севере, о своей еще в молодости покинутой родине. Он искал встреч с северянами, с жадностью выслушивал их рассказы о прелестях родного края, мечтал съездить туда. «Буду отдыхать в первый раз в жизни целое лето без работы, — сообщал Гиляровский писателю-северянину А. Н. Зуеву в июне 1934 года, — в первый раз после 60 лет слишком непрерывной работы. И уже сейчас на этом первом письме тебе, которое само пишется, я отдыхаю. Мне грезится мое детство беззаботное среди северных вологодских лесов, радостно вспоминаются наши лыжные зимы и ягодные, жаркие и короткие лета... Судьба меня бросала на Волгу, в степи задонские табунные, на Дунай, на Балканы, на Кавказ...

И с той поры я больше не видел прекрасного, то тихого, то грозно-морозного Севера — и вот сейчас... предвкушая грядущее лето отдыха, полного отдыха, уже заранее охваченный поэзией, я вдохновляюсь воскресающими передо мной кусочками красочного детства и первых дней юности, картинами, которые сейчас перед тобой, в твоём Шенкурске...

Морошка золотом на солнышке сверкает,
Рубинами под осень искрится брусника,
Весной луга румянит земляника,
А летом по лесам благоухает
Неповторимая нигде на свете поляника,
Ей родина лишь севера холодная земля.
Что ананасов Сингапурские поля
В сравненьи с ней? Что пальмы? Что кокосы?
Лиан ползучих спутанные косы,
Лимоны, апельсины, в Ганге лотос свежий
Живое украшенье тропиков долины?!
Все это не сменяю я на след медвежий
В глуши родных лесов на зарослях малины!..
Там детство я провел. Там родина моя...¹

Тревожный, беспокойный характер не давал писателю отдыха, бросал его из конца в конец земли, и теперь, на закате дней, он тоскует, воскрешает в своей памяти поэзию детства, радуется, что его молодой друг еще застанет желтеющие северные луга и их, эти «золотые бубенчики, дикие розы холодного севера». Он просит поклониться от него родному краю, северному «солнышку и тучам, и лесам дремучим».

А в другом письме, уже незадолго до смерти, Гиляровский писал А. Н. Зуеву: «А я, дорогой мой, скучаю, ах как скучаю. Загляни на минутку. Вот сейчас ясный, светлый день, 2 часа, а я все-таки вижу все в тумане. Принесли газеты, но буду читать только заглавия — буквы мне не ясны!»² И тут же жалеет, что не может проехать на метро, и радуется, что был первым литератором, спускавшимся в его шахты.

Скованный болезнью, почти потерявший зрение, он «остался литератором до своего последнего часа»³. Вы-

¹ Из письма В. А. Гиляровского А. Н. Зуеву. Москва, 15 июня 1934 г. Вологодский областной краеведческий музей, 9794/1.

² Из письма В. А. Гиляровского А. Н. Зуеву. Москва, 1935. Вологодский областной краеведческий музей, 9794/2.

³ Лидия Вл. Люди и встречи, с. 60.

рабочая годами воля и перед смертью не отказала ему. Ночами, страдая жестокой бессонницей, почти восьмидесятидвулетний старик писал стихи, складывал бумагу гармошкой, нащупывал в темноте очередную складку, чтобы одна строка не наехала на другую.

В ночь на 2 октября 1935 года Гиляровский скончался... Образ этого цельного, подлинно русского по своему духу, чистого сердцем человека остался жить в его книгах. Большой знаток своего времени, связавший собою две разные эпохи, он талантливо рассказал в своих произведениях о времени и о себе.

ВРЕМЕН СОЕДИНЕНИЕ

«Колокола»... хороший шаг вперед от «Сиверко»... Читатель... почувствует, когда Вы ему покажете себя таким, каков Вы есть, — человеком, который одержим желанием показать людям горькую, страшную, смешную, жалкую, радостную и всяческую иную правду, как Вы ее видите, чувствуете.

*М. Горький, 13 мая
1926 г.*

Иван Евдокимов — вдохновенный певец революционного переустройства мира и воинствующий защитник искусства Древней Руси, большой знаток деревянного зодчества и живописи Русского Севера, известный советский искусствовед и писатель, и, наконец, талантливый биограф, создавший памятные портреты выдающихся русских художников... Кто знает теперь его имя, кто из современных читателей сможет назвать два-три известных хотя бы понаслышке произведения Ивана Евдокимова? Даже всезнающим краеведам не очень-то хорошо знакома монография «Север в истории русского искусства», ставшая в наши дни, можно сказать, библиографической редкостью... А кто читал романы, повести, рассказы Ивана Евдокимова, кто знаком с его книгами о Борисове-Мусатове, Врубеле, Сурикове, Репине, Крамском, Левитане?..

Литературное наследие Ивана Евдокимова во всем его объеме остается неизвестным даже знатокам советской литературы. А ведь есть еще немало других сфер его деятельности. Можно говорить о Евдокимове-издателе, стоявшем у самых истоков нового социалистического искусства, о его литературно-критической работе и попытках определить склад и облик рабочего-писателя. Особая и мало кому известная страница — Евдокимов-мемуарист, остро характеризующий литературный процесс двадцатых годов. Наконец не поставлен еще вопрос о характере взаимоотношений молодого, жаждавшего сказать свое слово о революции писателя со старшим поколением советских литераторов — с М. Горьким и

Д. Бедным, А. Луначарским и А. Воронским, С. Сергеевым-Ценским и М. Пришвиным, с литераторами, изображавшими революционные перемены молодой России и вносящими свой вклад в создание характера нового человека — с Д. Фурмановым, Ф. Гладковым, Вс. Ивановым, А. Веселым, Л. Леоновым, об особых симпатиях друг к другу Ивана Евдокимова и Сергея Есенина, об их творческой близости в изображении исторических судеб русского крестьянства, его путей в революции.

Расцвет творческой деятельности Ивана Евдокимова падает на вторую половину двадцатых годов, когда один за другим создаются и выходят в свет повесть «Сиверко», роман «Колокола», когда трудно разворачивается в цельное повествование трехтомный роман «Заозерье»... Это годы самого высокого взлета и небывалого успеха писателя, годы становления Евдокимова как бытописателя первой русской революции и, наконец, как певца города и деревни в бурные дни Великого Октября. В это время имя Евдокимова не сходило со страниц печати. Это был один из самых активно читаемых писателей. Высоко отзывалась о нем и тогдашняя придирчивая, малодоказательная, а часто и очень злая критика.

Успех этот сменился неудачами. Они начались с романа «Чистые пруды» и затянулись надолго, почти на целое десятилетие. Осень наступила в самом разгаре творческого лета.

Критика ожесточилась в своих оценках, и нельзя сказать, что она не была права в самой сущности. За «Чистыми прудами» следовал роман «Зеленая роща», затем повесть «Дорога», документальное повествование «Архангельск», автобиографическая повесть «Портрет Василия Мещерина», роман «Жар-птица»... Но критика как сменила милость на гнев, так и остановилась на этом. Вернее сказать, критический пафос даже возрос: начали появляться статьи фельетонного типа. В своих разносах критика не оставляла от писаний Евдокимова камня на камне.

В этих условиях писатель сначала возвращается к искусствоведческой деятельности и создает книгу «Суриков», затем разрабатывает жанр биографической повести — «Репин», «Левитан», «Крамской», а незадолго до смерти завершает работу над первой книгой большого биографического романа «Михаил Лермонтов»...

Можно ли доискаться причин такой сложной твор-

ческой судьбы писателя, который познал и стремительный взлет и большие неудачи. А затем наступило горькое и несправедливое забвение. Почти полвека книги Ивана Евдокимова не издавались. Имя писателя как автора широко известных в свое время произведений даже не упоминается в истории советской литературы.

История литературы знает не один пример, когда вслед за большим успехом бесконечные неудачи преследовали писателя. Особенно часты такие случаи у истоков советской литературы, среди писателей, в ряду которых начинал свой путь Иван Евдокимов. Хорошо известны теперь трудности, с какими шли к изображению нового мира Б. Пильняк, В. Шишков, И. Бабель, А. Веселый. Громадный успех повестей Л. Сейфуллиной в двадцатые годы сменился трудностями совмещения ее «творческого пульса» с развитием литературы в тридцатые годы. На высоты большого искусства не суждено было подняться в это время и Ивану Евдокимову, но его искания как художника у истоков советской литературы, вклад в ее развитие заслуживают самой высокой оценки.

Когда вскоре после окончания Великой Отечественной войны мне впервые довелось услышать имя Ивана Евдокимова, прочитать его знаменитую книгу «Север в истории русского искусства» и роман «Колокола», в Вологде еще жили люди, знавшие писателя лично. Некоторые видели его еще совсем юным на Зеленом Лугу, на рабочих окраинах, другие встречали уже студентом на городских бульварах. Можно было услышать рассказы о трудных годах гражданской войны, о совместной службе в Молочном. Но всякие мои попытки узнать подробности жизни писателя, особенности его личности оставались безуспешными. Мои собеседники или уклонялись от ответов или, вероятнее всего, немного знали. Больше говорили об отце писателя, о его необыкновенной предприимчивости в торговле, чем о таланте его сына. Мне даже показалось, что на жизнь семьи Евдокимовых в Вологде старались накинуть пелену загадочности, таинственности и этим бросали тень на творчество писателя. Даже старожилы, всегда с гордостью готовые вспомнить своих выдающихся земляков, охотнее всего говорили о неудачах Ивана Евдокимова, склонны были недооценивать его и как краеведа и как писателя. Монографию «Север в истории русского искусства» объ-

являли устаревшей книгой. Вспоминая роман «Колокола», сомнительно пожимали плечами и ограничивались рассуждениями о натуралистическом копировании вологодских реалий... Да, и здесь не повезло писателю. Земляки не пожелали оценить по достоинству то, что сделано было с любовью и вдохновением. Понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы по-настоящему понять Ивана Евдокимова как певца Русского Севера, как единственного, в сущности, художника, раскрывшего знаменательные процессы революционного обновления жизни в краю вологодском, сложные противоречия, терзавшие и деревню и город в эпоху революционной ломки.

II

Иван Васильевич Евдокимов всегда считал себя вологжанином, хотя родился в Кронштадте 4 февраля (22 января по ст. ст.) 1887 года, когда отец его проходил там сверхсрочную службу фельдфебелем 4-го флотского экипажа. Родители будущего писателя, деды и прадеды по отцу и по матери, — коренные вологжане с Кубенского озера, жители соседних деревень: отцовская — Котлово, материнская — Никулинская. Здесь они пахали землю, сеяли хлеб, ловили рыбу. Отсюда уходили на заработки плотниками, каменщиками, землекопами... «Дедушка Федор и отец мой, Василий Федорович, — вспоминает писатель, — работали землекопами в Рыбинске, на Онеге, на Свири, в Ладогe. Бабушка Афанасия — высокая, жилистая, суровая — вела хозяйство в деревне. Отец мой ходил на отхожие промыслы до самой солдатчины. Мать моя, Анна Васильевна, плела кружева, рыбачила со своим отцом и помогала ему на мельнице. У дедушки была ветряная мельница. Мельница эта препятствовала деревенскому роману моих родителей, так как дед и бабка мельницей своей гордились и желали для своей дочери более зажиточного жениха. Однако роман зашел далеко... По тем временам, да особенно в деревне, положение моей будущей матери было отчаянное. Отца сдали в солдаты и назначили во флот, в Кронштадт»¹.

¹ Евдокимов И. Автобиография. Собр. соч. М.; Л.: Земля и фабрика, 1928, т. 1, с. 9—10.

Раннее детство будущего писателя прошло на острове — в военно-морской крепости, а затем — в столичном Петербурге, куда перевели успешно продвигавшегося по службе отца. Прослужив целое десятилетие во флоте, Василий Евдокимов вышел в отставку и вернулся на родину, в свое Котлово. Это возвращение врезалось в память, писатель не однажды вспоминал о нем и рисовал такую сцену:

«— Папа, папа! — кричал Вася, не отходя от вагонного окна. — Какая высокая трава!

Отец недовольно поймал смех пассажиров-соседей и хмуро оборвал сына:

— Это — рожь, дурак, а не трава!

Марьюшка оправдывала мальчика перед вагонными попутчиками:

— В Кронштадте, на острове, ржи нет. Вася никогда не видел ржаного поля»¹.

Но не только сыновьям Василия Евдокимова не суждено было сполна познать хлеборобскую долю — и отец их навсегда порвал с крестьянским трудом. Сначала сколотил рыбацкий дуван на паях с котловскими и никулинскими мужиками, но дело оказалось неудачным — распродал за бесценнок купленные в Заозерье невода. Открыл в Никулинском мелочную и бакалейную торговлю в старом дедовском амбаре — через год опять прогорел. Но страсть к купеческим предприятиям, как червь, точила душу. Пришлось смирять себя, идти в приказчики к богатому кубенскому купцу, целовальником в кабаке на Сяме.

На родине своих родителей будущий писатель пережил радость общения с природой, познал первые рыбалки и охоту, ночное у костра, полюбил слушать дыхание огромного озера, часто угрюмого, в белых завитках грив, в крутолобых валах под низким хмурым небом. А вдали, среди волн, — маленький каменный островок с монастырем, будто плывущая в ясную погоду по озеру стайка лебедей.

Но лучшие, по словам писателя, «самые ласковые и прекрасные годы жизни» прошли на Сяме. Здесь и поселились на древнем Кирилловском тракте, саженьях в ста от огромных ворот Сямского монастыря с высокой

¹ Евдокимов И. Портрет Василия Мещерина. М.: ГИХЛ, 1934, с. 89.

оградой и башнями. Во всем этом местечке, кроме постоянного двора, двух лавок, кабака, амбаров и торговых рядов, ничего не было. А вокруг — монастырские земли, нищие деревни; прямо перед окнами, через поля — все то же Кубенское озеро с плывущим посередине древним каменным монастырем. «Обычно на Сяме было молчаливо и уединенно: только скакали мимо редкие тройки, тихонько ползли мужицкие обозы, правились с котомками после пасхи на заработки мужики и оставляли на тропках скорлупу от крашенных яиц, гнали рекрутов в ноябре, проносили чудотворную икону со сбора, да еще в монастырские помочи — жали монастырскую рожь — крутились в глазах цветные бабьи ситцы, и шла полуночная топотня у монастырских стыдливо закрытых ворот и на большой дороге». Но три раза в год, особенно на знаменитые конские ярмарки, оживало все в округе: запомнились карусели, гармонь и пахнущие бакалеей и мануфактурой торговые ряды, тысячи горластого и толкающегося народа, крики и песни, ржанье коней, колокольный звон. И не только запомнились. Именно из этого мира острых впечатлений детства черпал писатель многое и для своих рассказов, и особенно для живописных картин сельского быта в романе «Заозерье».

Учился будущий писатель сначала в земской школе, недалеко от Сямы, в соседней деревне Березники, куда ходил три зимы через речку Крутец, через поле, за монастырскую балку. Потом отец отвез его в большое село Новленское, в двухклассное министерское училище. Интересы к знаниям юноша не проявлял и доставлял немало хлопот отцу, мечтавшему дать своим детям образование, вывести их из «податного сословия» в люди. Но к книге будущий писатель потянулся уже в это время и перечитал всю школьную библиотеку, занимавшую порядочный шкаф. Читал все, что попадалось под руки и в монастыре. В это же время пробовал и сам сочинять коротенькие рассказы.

Начало XX века принесло новые перемены. Семья переехала в Вологду, и перед юношей открылся новый мир, мир заводской окраины небольшого, патриархального, древнего губернского города. Строилась в это время железнодорожная линия Вологда—Петербург, а рядом с ней — большие краснокаменные корпуса спортивных мастерских с высокой, черной в верхушке тру-

бой. У самой чугулки — рабочая слободка, в ней, на Кобылкинской улице, и поселилась в низком тесном флигельке разросшаяся к тому времени семья Евдокимовых.

«По Кобылке, — пишет И. Евдокимов в автобиографической повести «Портрет Василия Мещерина», — идут рабочие в кожаных и ватных и легких пиджаках, пахнут железом, маслом, ржавчиной. На Кобылке они живут. По Кобылке гуляют в праздники. Здесь пляшут, смеются, дерутся и плачут, валяются пьяные в грязи, сидят бабы рабочих на лавочках у ворот и щелкают семечки. Рваные, нищие, мазанные ребятишки запрудили улицу... На Кобылке — резиновые рогатки, змей, свайка на лугу...»

Этот особый мир рабочей городской окраины так врежется в память юноши, что в первой же своей повести «Сиверко» он изобразит его правдиво и сочно.

Хотя глава семьи с утра до ночи работал буфетчиком на старого хозяина, семья с трудом сводила концы с концами. Но и в это время Василий Федорович принимал немало усилий, чтобы образовать своего недоросля, как он называл доставлявшего ему немало огорчений младшего сына. Еще из Сямы посылали его в Череповецкое техническое училище, а из Вологды — в Тотму, в открывавшуюся школу лесных кондукторов. Отец на последние гроши нанимал какого-то спившегося чиновника из присутственных мест, чтобы подготовить сына к классному чину — «на барина», водил по различным губернским канцеляриям, чтобы, на худой конец, определить писарем, но нерадивое дитя словно бы нарочно не хотело выходить в люди — то не выдерживало испытаний, то не набирало нужных баллов, то обнаруживало крайне неразборчивый почерк.

И в отчаянии отец грозил сыну: «Не хочешь быть барином, оставайся мужиком», а потом стал брать в трактир, приобщать к торговле. Будущий писатель не обнаружил и к этому делу никакого радения. Удалось, наконец, устроить его учеником телеграфиста, а затем и телеграфистом на постройку железнодорожной линии Вологда—Петербург. Теперь рабочее окружение было со всех сторон: и на Кобылкинской улице у самых транспортных мастерских, и на службе.

Вскоре в этой среде у Ивана Евдокимова появились товарищи и друзья. Многие из них потом стали героями романа «Колокола». А друзья — телеграфисты, настав-

ники из ссыльных, под вымышленными именами, но в ситуациях близких к реальным, вошли в автобиографическое повествование «Портрет Василия Мещерина».

Среди молодых телеграфистов не без влияния ссыльных революционеров возник марксистский кружок. Вошел в него и Иван Евдокимов, который и до этого общался с ссыльными и вел пропагандистскую работу в крендельной и среди мойщиц винного склада. Теперь он посещал рабочие сходки, конспиративные квартиры, выступал перед рабочими фабрики «Сокол». Правда, выступал, по его словам, путанно, сбиваясь, краснея, едва связывая слова...

Это было время радостного революционного подъема, особого горения, осознания единения с народом, служения великому делу его освобождения, и время это навсегда осталось в памяти будущего писателя и в сильной мере определило его художественные симпатии и вкусы.

«На мое развитие политические ссыльные оказали большое влияние, — считал нужным сказать Иван Евдокимов в своей писательской автобиографии. — Когда наступил 1905 год, я был большевиком... Года три я состоял в Вологодской большевистской организации, был избираем членом районного комитета железнодорожных мастерских, числился организатором района, организовал десятки кружков в мастерских, на винном складе, на мыловаренном заводе, среди пекарей и булочников, хранил у себя оружие, пироксилиновые шашки, обучался за городом стрельбе из маузеров на случай вооруженного восстания, нес охранную службу дружинника по городу, в предотвращение черносотенных погромов, держал связь с казармами Моршанского полка, распространял и расклеивал прокламации... Долгое время не было никаких иных интересов. Со всей юношеской готовностью и самопожертвованием делали мы в то время рискованные и непродуманные поступки... В таком маленьком городе, как Вологда, моя юношеская революционная работа была; конечно, более страстной, чем значительной».

Молодежь в это время, по свидетельству Ивана Евдокимова, жадно тянулась к живому художественному слову, много читала, пробовала сочинять стихи. Создали и телеграфисты свой литературный кружок, даже начали выпускать на гектографе журнал, играли в лю-

бительских спектаклях, выезжали за город на Бесов ручей — жгли костры, пели революционные песни, читали стихи, а Иван Евдокимов так увлекся театром, что почти каждый вечер всеми правдами и неправдами прорывался на его галерку.

Много времени проводил он и в библиотеке Тарутиных на Кирилловской улице. Здесь ему впервые попались томики рассказов Максима Горького, поразивших юношу яркими и смелыми образами. «Я находился всецело под обаянием творчества Максима Горького, — вспоминает об этих днях Евдокимов, — старался ему подражать и буквально не расставался с зеленоватыми книжками издательства «Знание». Биография Максима Горького, пережитая как воображаемая личная жизнь, конечно, еще более усилила мечту о писательстве... Возникло сознание в необходимости стройного, систематического образования. Университет становился так же притягателен, как недавно притягателен был театр»¹.

Чтобы осуществить эту мечту, нужно было окончить гимназию или, по крайней мере, экстерном сдать на аттестат зрелости. Но к заветной цели пришлось идти долгой и трудной дорогой. Осенью 1905 года Евдокимов поступил на общеобразовательные курсы А. С. Черняева в Петербурге, но больше проводил времени на митингах, чем учился. Возвратившись в Вологду после закрытия черняевских курсов, он служил еще с год писцом в ломбарде, затем статистиком в земской управе, навещался и в заводскую чайную на Кобылку к рабочим мастерских и к старым знакомым — крендельщикам, булочникам. Но революция уже шла на убыль, реакция торжествовала, черносотенцы выходили на улицы с хоругвями, иконами и крестами, открывали свои огромные чайные...

Разбогател и завел свое дело отец будущего писателя. Перебрался в самую купеческую гнездовину на Золотуху у Каменного моста — тут и трактир, и портерная, а над нею — квартира. На черной половине трактира — мастеровщина, приехавшие из деревень мужики, золоторотцы, городские ломовики, ворье, пьяные проститутки... Двор загроможден лошадьми, повсюду толчея, гам, драки...

¹ Евдокимов И. Взамен воспоминаний о Максиме Горьком. — Прожектор, 1928, № 13, с. 18.

Иван тяжело переживал все это грязное окружение, особенно беспокоился за трех своих сестер, но и сам не имел возможности готовиться на аттестат зрелости: «Какое чтение, когда на дворе крик и брань пьяниц, заседающих на галерее нашего трактира. Хорошо заведение папаши, хороша наша квартира. Нечего сказать...»¹

И Евдокимов бежит из дома отца на реку, в лес, к своим новым друзьям — к земцам, студенческой молодежи. Двадцатилетний юноша мечтает о самостоятельной жизни. С трудом ему удается убедить отца в необходимости жить в Москве. Переехав туда осенью 1907 года, он бывает теперь в Вологде только наездами.

В Москве Иван Евдокимов посещает выставки живописи, слушает Шаляпина в «Борисе Годунове», а в консерватории — «Демона» Рубинштейна, не пропускает ни одного спектакля художественного театра. В его дневниках этого времени можно встретить такие записи: «был в Третьяковке», «читаю, читаю, читаю, по двенадцать, по пятнадцать часов в сутки», «я видел красоту, был на Айседоре Дункан», «присутствовал на открытии памятника Ивану Федорову», «всю ночь сегодня упивался «Евгением Онегиным»... Круг его чтения широк — перечитывается весь Пушкин, кумиром становится Чехов. Он восхищается блистательным критическим мастерством Белинского, увлекается новой поэзией... При этом лениво изучает курс бухгалтерии и стенографии на Никитской, а гимназию на Якиманке, куда записался на курсы по подготовке на аттестат зрелости, посещает совсем редко.

С трудом возвращает отец блудного сына в Вологду, усаживает за учебники, нанимает гимназиста-репетитора. Но было уже поздно: сопротивление воле отца и неграждение затянулись, и в апреле 1909 года наступил провал, а за ним и разочарование, неверие в свои силы, презрение к себе как «недоучке», «самовлюбленному лентяю», обостренные переживания, сменившиеся новой волной тоски по знаниям. Отцу удалось все же удержать сына при себе и вдохновить на новую попытку держать экзамены.

Теперь Иван Евдокимов много занимается и математикой, и естественными науками, и тяжело дававшимися

¹ Евдокимов И. Заметки о моей жизни. 1907—1908 годы. ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 112, с. 41.

ему языками, и, наконец, одолевает это труднейшее для него препятствие. На торжественном акте в гимназии 5 июня 1911 года его имя было названо среди немногих выдержавших испытания экстерном и получавших свидетельства о зрелости.

А в городе, как и по всей стране, торжествовала страшная и злая реакция, все живое задохнулось и гибло. Поддержанные в свое время вологодским губернатором Хвостовым — махровым реакционером, вновь поднимали головы черносотенцы, кадеты, заявлял о своих правах угрюмый и злорадный вологодский мещанин. Усилились репрессии к ссыльным революционерам, особенно к большевикам. Но находились смелые отчаянные люди и в это время: в городском театре какая-то молодая женщина шесть раз выстрелила в тюремного инспектора...¹

Летом местный обыватель дрожал в страхе перед костлявым лицом пришедшей в город холеры, а зимой — от лютых морозов, промораживавших даже опущенные пятистенки, доходные дома и старые барские особняки... Какие только напасти не обрушивались на город в это время! О некоторых из них не без юмора в письме к Ивану Евдокимову рассказывает его брат Александр: «В Вологде было страшное землетрясение», «у нас развалились две колокольни, прошел лед по реке и унес оба моста, вода вышла из берегов, по Кирилловской улице ездим на лодках. Десятый день идет проливной дождь»².

Не прошла реакция и мимо Ивана Евдокимова. Его нарочито подчеркнутые националистические убеждения обострились и как-то причудливо переплелись с аполитичностью. Поступление в университет совпало с прозвучавшими в Киеве выстрелами в тогдашнего премьера царского правительства П. А. Столыпина. Став студентом Петербургского университета, Иван Евдокимов как-то сразу отошел от общественной жизни, замкнулся в себе. Прокатилась волна арестов среди студентов. И студент Евдокимов спешит засвидетельствовать: «Я не бываю ни на каких собраниях, не интересуюсь никакой политикой, живу мирно, прямо по-обывательски»³.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 115, л. 36об.

² Там же, д. 223, л. 1, 4.

³ Там же, д. 117, л. 116об.

Поселившись недалеко от университета в семье наборщика, Евдокимов с головой окунается в столичную жизнь — посещает оперу и драму, симфонические концерты, осматривает парки и дворцы в окрестностях столицы, знакомится с литераторами — К. Бальмонтом, А. Толстым, С. Городецким, М. Кузьминым, художниками А. Бенуа, М. Добужинским, Г. Лукомским, завязывает дружеские отношения с Ю. Слезкиным. На встречу с вологодским землячеством студентов приходили и Игорь Северянин и Владимир Маяковский...

Особый интерес проявляет Евдокимов к живописному искусству. «Эрмитаж» посещается им много раз ради последовательного изучения итальянской, голландской, французской живописи. Студент-первокурсник становится завсегдаем выставок «Мира искусства», восхищается Н. Рерихом, знакомится с работами Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина.

Поначалу казалось — Иван Евдокимов избрал для себя академическую карьеру. Он не скрывает своей мечты о профессорской деятельности, стремления остаться на кафедре университета. Добросовестно посещает Евдокимов курс грамматики современного русского языка академика А. А. Шахматова. Его восхищают блестящие лекции профессора-историка С. Платонова. Он сдает экзамены И. Бодуэну-де-Куртене, Л. Щербе, Н. Державину¹. Записывается в семинарий С. Венгерова «Пушкин и его современники», но, посетив лекции маститого ученого, испытывает разочарование. Ему больше по душе приходится просеминарий профессора И. Шляпкина. Здесь он увлекается древней русской литературой, Иваном Федоровым, а затем и пушкинской эпохой, здесь пишет большое сочинение о Сергее Глинке и получает за него серебряную медаль.

Однако еще с детства в Евдокимове живет стремление быть художником. Но все попытки пробиться в печать со стихами и рассказами не удавались. Плохонькие вологодские газетенки редко и неохотно печатали лишь его фельетоны.

Когда в университете возник поэтический кружок, Иван Евдокимов вошел в него вместе с Вл. Нарбутом, В. Гиппиусом, Борисом Энгельгардтом, Осипом Ман-

¹ Зачетная книжка студента Петербургского университета историко-филологического факультета И. В. Евдокимова, 1911—1914. — ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 305.

дельштамом. Но «поэтические короли» вскоре отошли от этого кружка, и его коллективный сборник «Чемпионат поэтов» (1913) получился весьма тусклым.

Вскоре вышла в свет и первая книга Ивана Евдокимова. Это был сборник стихотворений «Городские смены» (1913). Издан он был на свой счет в крошечной типографии на Крюковом канале. Молодой поэт возлагал на книгу большие и слишком честолюбивые надежды, но книга не раскупалась, и обескураженный новой неудачей ее автор утопил в Неве значительную часть тиража¹.

«Всего вероятнее, я бездарность, — анализирует свои неудачи Иван Евдокимов. — У меня нет своего личного самобытного мира. Нет переживаний новых и небывалых еще в нашей литературе, какие есть у Брюсова, у Бальмонта, у Блока...»².

Оказалось, что стихи действительно — не его стихия. В них не было ни темперамента, ни общественного накала, и даже поэтическая техника трудно давалась молодому поэту. Отчаиваясь и ушибаясь, Евдокимов продолжает искать себя, мечется между университетскими занятиями и тягой к самостоятельному творчеству, разрывается между Петербургом и Вологдой, куда зовет его молодая семья. Он все больше тянется к изучению древнерусского искусства, вдохновляется русскими национальными традициями и многие их корни находит в Вологде.

В один из приездов домой Евдокимов знакомится с только что открытым скромным музеем Общества изучения Северного края, и в марте 1912 г. по предложению А. Тарутина вступает в это общество. А 12 декабря 1911 г. в его дневнике появляется важная запись: «Только на Севере еще можно заглянуть в глухую древность, услышать былины старые, видеть деревянные церкви XVI века, здесь народилась теория многих русских историков, и П. М. Строев понимал значение Севера в русской культуре и его значение для исторических изучений старины нашей. Быть может, и я принесу посильную помощь нашему краю»³.

¹ Евдокимов Иван. Книга живота. С 1914 года. — ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 1, д. 160, л. 9об.

² ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 117, л. 43об.

³ Там же, д. 116, л. 149.

Иван Евдокимов разворачивает довольно обширную деятельность: выступает в Вологодском обществе изучения Северного края с докладами о К. Н. Батюшкове, о краеведческом наследии П. А. Дилакторского, знакомится в Петербурге со знаменитым И. К. Степановским, а в Вологде с местными краеведами, увлекается собиранием старины, созданием краеведческой библиотеки, готовит к печати рукопись покойного Сергея Непейна «Наш край», изучает его архив, устанавливает связи с фольклорным кружком при семинарии... Однажды юный семинарист Алексей Непейн привел его домой к единственному, по словам А. Тарутина, бескорыстному ученому в городе И. Н. Суворову, и в дневнике Евдокимова 11 июня 1913 г. появляется запись: «Это горбатый седой старик, чрезвычайно живой. Единственный в городе археолог и любитель древностей... Вообще очень интересный старикан. Очень негодует, что Север не изучается, а расхищается... Встретил меня он полухолодно»¹.

Весной 1913 года Иван Евдокимов предпринял путешествие по Кубенскому озеру, по Вологде и Сухоне к Каменному монастырю. Его цель — узнать, что там осталось от работы Дионисия. По пути познакомился с Рабангой, с Устьем, с лесопильными заводами и шлюзом, любовался красотой церкви на Лысой горе, что у Устья. В самом же Каменном монастыре нашел ничем не прикрытую бедность и нищету, а в келье полубезумного старика иеромонаха Нестора — тяжкие вериги и маленький сборник рассказов Аркадия Аверченко.

Евдокимов загорается идеей изучения «древней нашей красоты», узнает, что в городе создан Северный кружок любителей изящных искусств, становится его членом. Кружок этот провел в Вологде четыре выставки «Мира искусства», открыл в доме Волковых картинную галерею, организовал приезд Г. Лукомского и чтение им лекций о древней архитектуре России. Тогда и возникла мысль издать описание местных памятников — «Вологда в ее старине». Иван Евдокимов подключился к этой работе и создал «Исторический очерк Вологды» и описание ряда памятников старины. В это же время он начал изучать вологодские фрески.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 118, л. 86.

Самое знаменательное событие этого времени — приезд в Вологду в середине августа 1913 года Игоря Грабаря, тогдашнего хранителя Третьяковской галереи, уже находившегося в зените славы и выпускавшего много томный труд «История русского искусства». «Беленький, шустренький, молодой (года 32), — записывает свои первые впечатления от встречи с Грабарем Иван Евдокимов. — Большой балагур, очень даже разговорчив. Приятный, какой-то веселый. Был у меня около часу. Алешка приехал с ним на извозчике, показал я ему мои фотографии фресок, понравились. Приехала Волкова, Коноплев — познакомились. Были в кружке, рассматривали фотографии, посетили Покров, Предтечу, осмотрели Ярмарочный дом (очень ему понравился), у Дмитрия в церковь не попали. Мои снимки фресок, по его словам, оказались лучшими кусками живописи»¹.

О чем бы ни говорил Грабарь, какие бы острые характеристики не давал, скажем, Г. Лукомскому или П. Муратову, как бы бегло ни оценивал увиденное в Вологде, Евдокимов прислушивался, сопоставлял, проверял себя: «И, оказалось, я проверял удачно... — отмечает он. — В разговорах с Грабарем я увидел, что вкус у меня есть»². И это было важнее всего для будущей деятельности Ивана Евдокимова как искусствоведа.

Интерес Ивана Евдокимова к университетским занятиям все больше гаснет. Зато статьи его об искусстве все чаще появляются в лучших столичных журналах — «Современник», «Старые годы», «Русский библиофил». Здесь публикуются и большие его работы — статьи «Церковная старина», «Древнерусская иконопись», «Вологодские росписи», «Старый быт» и многочисленные рецензии на книги его учителей И. Шляпкина, С. Венгерова, И. Грабаря, Г. Луковского. Вместе с молодыми пушкинистами, старшими своими товарищами по университету (Б. Модзалевский, Н. Лернер, М. Цявловский и др.), И. Евдокимов поддерживает открытый «культ Пушкина» и печатает большую свою работу «Современник» Александра Пушкина».

В Вологде одна за другой выходят его скромные небольшие книжки «Вологодский иконник Григорий Агеев», «Старинные красноборские печи». Во всех этих

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 118, л. 117об. — 118.

² Там же, л. 118об.

публикациях уже намечаются основные идеи, развитые впоследствии в вышедших в советское время книгах «Север в истории русского искусства», «Два памятника зодчества в Вологде», «Вологодские стенные росписи». Молодого искусствоведа интересует прежде всего «национальная особенность России», ее древних городов и памятников старины, рассадников и выразителей «нашей национальной красоты»¹. С особой настойчивостью он говорит «о великом стиле старины, всегда бесконечно-разнообразном творческими замыслами и достижениями» и приходит к выводу, что новгородское искусство на Севсере «являлось единственным источником национального творчества на Руси» и уже в конце XIV и начале XV века проявило «могучую творческую силу и покоряющую властность»².

Идея национальной самобытности русского искусства переплетается в работах Ивана Евдокимова с постоянно укрепляющейся мыслью о высокой талантливости русского народа. Как он утверждает, искусство вологодского иконописца Григория Агеева «было одним из маленьких ручейков, вливавшихся в светлый водоем нашей русской красоты». А когда в Вологду приехала знаменитая сказительница Мария Кривополенова с Пинеги, И. Евдокимов напечатал в «Вологодском листке» свои заметки, в которых писал о том, как очаровала вологжан «высоким драматизмом исполнения былин» умная, сметливая сказительница-актриса³. И в дневнике он высказывает свое восхищение от встречи с ней: «Слушал старушку Кривополенову. Плакал. Поразительно, какой погиб драматический талант в этой трехзубой сейчас старушке, обладающей феноменальным дыханием, прекрасной удивительной дикцией. Богатая очаровательная страна, которая может создавать в своих недрах такие ценности. Это — Шалапин, погибает Шалапин»⁴.

В это же время Иван Евдокимов активно борется с поповщиной, с невежеством духовенства, с разлагающей

¹ Евдокимов И. Русские города — рассадники искусства. Вологда, 1916, с. 1.

² Евдокимов И. Вологодский иконник Григорий Агеев. Вологда, 1916, с. 4.

³ И. Е. — ов. Бабушкины старины. — Вологодский листок, 1916, 1 июня, с. 3.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 123, л. 59.

силой его влияния на древнерусское искусство и стремится вырвать это искусство из власти церкви, очистить от невежественных наслоений. Исследователь упрекает духовенство в безвкусице и своеволии, удивляется тому, сколько на Руси нелепо расширенных алтарей, приделанных папертей, измазанных изразцов, утраченных цветковых гамм, записанных и истребленных окладами икон... «Никто в России столько не уничтожал старины и красоты, как духовенство... Можно возненавидеть эту жадную и глупую свору, этих фанатиков и истребителей нашей красоты!»¹

Молодой исследователь древнерусского искусства радуется подъему интереса к старине по всей России как самостоятельному проявлению русского национального гения и отгорчаётся неумением беречь и охранять наши памятники. На его взгляд, Вологда «не отстала от других городов России в вандализмах», а просвещенные «защитники старины» стали в ряд с такими ее «радителями», как церковные старосты².

Активизация деятельности Северного кружка любителей изящных искусств с приходом в него Ивана Евдокимова и Сергея Перова, и особенно с выходом в свет осенью 1916 года при их же активном участии журнала «Временник», вызвала новые конфликты с местными краеведами. «В. Трапезников, И. Суворов рвут и мечут против нового журнала... — отмечает в дневнике И. Евдокимов. — В среду появился в «Эхо» бранный фельетон В. Трапезникова по поводу «Временника». Ив. Суворов настрогал на своей гробовой доске в «Епархиальных ведомостях» еще забористее»³.

Вместо поддержки Евдокимов встретил «зависть народившемуся новому делу» со стороны «вологодских зоилов». В этой «мелкой бездарной борьбишке» видел он не без оснований руку тогдашнего редактора «Известий Общества изучения Северного края», поместившего вскоре тенденциозный анализ журнала «Временник» критиком из Тотьмы. Ожесточение и злоба раздраженных деятельности Евдокимова противников заставили его порвать с Обществом изучения Северного края и его изданиями.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 118, л. 99об.

² Евдокимов И. Вандализмы. — Эхо, Вологда, 1914, № 97, с. 3.

³ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 123, л. 79об., 80.

В это же время, с самого начала 1915 года, семью Евдокимовых преследовали несчастья — одно тяжелее другого. Сначала разорился отец — Василий Федорович. Его объявили несостоятельным должником, посадили в тюрьму, конфисковали и распродали с молотка имущество. И вернулся он на круги своя: устроился десятником на Мурманскую дорогу, а семья приютилась в тихом переулке у Власья. Но вскоре и туда пришло несчастье — Анну Васильевну разбил паралич, и в лютые февральские морозы 1917 года она скончалась.

Иван Евдокимов покидает близкий к окончанию университет и поступает табельщиком в контору по перестройке железнодорожной линии Вологда — Няндомы, переехав со своей семьей на станцию Шалакуша. Теперь ему с утра до ночи приходится вести нудные бухгалтерские журналы конного обоза и контрактовых рабочих.

III

Изнурительная служба не оставляла сил для литературной работы. Но тревожное время, время неожиданных и резких перемен, не спрашиваясь, врывается в тихие будни, не могло не волновать молодого литератора. Может быть, не все виделось в те дни крупно и воспринималось глубоко: как говорится, большое видится на расстоянии. Но многое из пережитого тогда и крепко запомнившегося уже вскоре было воплощено Евдокимовым в художественных образах.

В одном из самых первых послереволюционных рассказов «Пронькины проводы» писатель, опираясь на увиденное, вырванное из самой жизни, повествовал о «вьюжных февральских днях», о задувных «октябрьских ветрах», о таинствах незлобивой мужицкой души и разгулявшихся крестьянских вилах, о судьбе бывшего земца Проньки, а теперь деклассированного Авенира Петухова.

Революционные перемены запечатлены и в живом образе председателя Покровского волостного исполкома — героя рассказа «В метель». Они показаны здесь в прочной связи времен. Только что конфисковавший барское имение председатель уже мечтает о дне завтрашнем: «Снились ему огромные покровские поля, ходили по ним, попыхивая, машины, взрывали, как в по-

лую воду реки, разбухшую землю — и выростала из-под колес густой мохнатой зеленью озимь»¹.

И совсем уж примечательна судьба большевика Степана Матвеева, выросшего в рабочей слободке старинного города с его многими колокольнями и фабричными трубами («Зеленые Горы»), одного из тех, кто станет позже в центре романа «Колокола». Писатель связывает своего героя с революционными событиями в родном городе, который «горел митингами, собраниями, манифестациями»: «скакали озабоченные вестовые верхами, мчались, дребезжа и пыля, мотоциклы с красными флажками и солдатами в кожаных тужурках». А в городской думе при чистеньком, блиставшем плешью председателе «в манжетах и зеленом галстучке с бриллиантовой булавкой-козявкой» раздавались пустые крикливые речи присяжных поверенных, выборных гласных, завязтых спорщиков и говорунов...

В этом раннем рассказе Евдокимова волевой революционер сталкивается с белогвардейцем Владимиром Петушковым. «Закапанная, как дождем, кровью земля, не рожающая, вшивая, охолодевшая, гнилая, покачнувшаяся на ногах, дырявая, раздетая, необутая — встала она в глазах Матвеева и закрыла собой все»². Новь начиналась, по словам писателя, «ковыляя и часто становясь в тупик», но побеждали в ней большие человеческие чувства и «сияли нетленным огнем».

Застигнутый вихрем революционных событий и пораженный значительностью переживаемого времени, писатель записывает в дневнике в первую годовщину Октября: «Единственной движущей, энергичной, талантливой, подлинной стихией России был и есть большевизм. Это не случайно, что большевики оказались самыми способными, умными, талантливыми, дальновидными в революции»³.

Евдокимов осознает: «к прошлому нет возврата», «культура не может воротиться вспять к своему дооктябрьскому состоянию, общество должно быть переорганизовано... И большевики являются единственной силой. Зажмурь глаза — и посмотри — ведь то, что сделано в этот канувший год — чрезмерно»⁴.

¹ Евдокимов И. Собр. соч., т. 1, с. 314.

² Там же, с. 278.

³ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 124, л. 14об.

⁴ Там же, л. 8.

Старый друг Евдокимова еще по студенческим временам, молодой профессор Молочно-хозяйственного института Сергей Перов буквально вырвал товарища из «противной службы» и мещанского окружения, помог перебраться в Фоминское. Здесь он сначала является заведующим институтской библиотекой, секретарем совета института, но вскоре ему приходится принять на себя заведование Агафоновской школой первой и второй ступени при институте и преподавать в ней. Открылись также вечерние курсы для рабочих и служащих института, и Евдокимов начал читать на них историю литературы. Большая потребность в нем оказалась и в институте народного образования, и в Пролетарском университете, и в Союзе работников просвещения, и в губернском отделе народного образования, и на курсах подготовки преподавателей школ второй ступени... И Евдокимов включается в эту работу энергично, с вдохновением.

Молочный институт жил тогда бедно и трудно. Великолепные его здания почти не отапливались. Не хватало не только дров, но и воды. Летом работники института сами проложили водопровод из реки Вологды, сами выгружали из нее сырой лес и, по словам Евдокимова, «тут же сами пилили, кололи, укладывали в поленицы... Жали, косили, садили овощи, убирали хлеб, картофель, корнеплоды, копали гряды...». При этом сотрудники института проходили военное обучение. Маршировал по снежному полю и Евдокимов, не без юмора писавший о себе: «бегаю бегом марш», «рассыпаюсь в цепь», «сдваиваю ряды»...

«Три раза в неделю, — вспоминает писатель, — тащился я в Вологду на институтских клячах читать лекции, добывать продовольствие... Тяжело было. Изнурительное недоедание. Болела жена, ребенок, сам превратился в скелетообразное существо. Было немало и комизма сквозь слезы: лекции читал в шубе и шапке, так как в Институте народного образования и в Пролетарском университете не топили. Поглядишь на свои валенки, на дрожащие руки, на слушателей своих, прижавшихся от холода друг к другу стенкой — и расхохочешься. А то едешь по городу на жалких одрах, встретится знакомый и кричит: «Заезжайте! У нас сахар есть!» А у самого сияет лицо».

В это же время Евдокимов много писал, преимущест-

венно ночами, выкраивая дни для занятий в архивах и для поездок по губернии, чтобы подвести итоги изучению северного русского искусства.

Запомнилось, как в ненастный дождливый день летом 1921 года привез он группу студентов Вологодского пролетарского университета в ФерAPONTOB монастырь... Оказалось, что начатая в трудное время реставрация Рождественской церкви и фресок Дионисия прекращена, иконостас с уникальными иконами Дионисия вынесен в ризницу, в стенах — грубо заделанные цементом трещины и щели, на лесах — горшки засохшей краски, какие-то вещи, брошенные спешно бежавшими в 1918 году реставраторами, стены монастырской ограды разваливаются... Все это не могло не вызвать чувства шемящей грусти. Но восхищение гениальнейшей красотой диктует необходимость убедить творящих революцию современников в том, что «ферAPONTOBская роспись — гордость нашего искусства, изумительное творение, равное по своему величию и силе воздействия и изумительному мастерству лучшим произведениям итальянского Возрождения, знаменитой Сикстинской капелле»¹.

Две сквозные мысли проходят через своеобразную, по-писательски самобытную и публицистически острую монографию Ивана Евдокимова «Север в истории русского искусства» (1921). Ее автор, подводя итоги своим десятилетним изысканиям, с гневом отвергает взгляд на русское искусство как на искусство варваризированное, несамостоятельное, заимствованное... Исследователь выступает здесь как воинствующий защитник национальной самобытности русского искусства, особенно его вершины — деревянного зодчества. И при этом подчеркивает, что в древнерусской культуре очень ярко проявилось единство национального и народного. В этой самобытной культуре выразилась ее народная сущность, характер и быт народа, воплотились особенности «деятельности его духа, сердца и мысли».

Север для Евдокимова — «колыбель деревянного зодчества». Рассматривая величавые шатровые храмы как «высшее достижение и проявление самобытной северной культуры», как его лебединую песню, он славит великого зодчего — народ. По мнению исследователя,

¹ Евдокимов И. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921, с. 11.

«северное деревянное зодчество было той неослабевающей, неоскудевающей стихией, из которой черпали все века живой дух русской оригинальности и самостоятельности».

В связи с этим заслуживает поддержки еще одно смелое предположение Евдокимова, его мысль о храме Василия Блаженного как о воплощенном символе «нашей национальной души» и его связи «всем своим певучим чудотворным обликом с северным шатровым зодчеством», словно его создатели Барма и Посник подглядели это «всенародное чудо» на северных погостах среди шатровых великанов.

Мысль об изначальности деревянного зодчества предстает в книге Евдокимова в единстве с размышлениями о его цельности, органической связи с окружающим миром природы. Рассуждая об этом, автор вступает с читателем в задушевную беседу: «Вот вы едете по Вологде, Сухоне, Кубенскому озеру или по Северной Двине, Мезени, Онеге, или по олонекским озерам, по Кеми — перед вами встает дивный облик старой, изыяной, деревянной древней Руси... Посреди неоглядных лесов поднимаются, как огромные ели, церкви, колокольни или, как наши северные стога, стоят они по тихим полянам, таинственные и единственные во всем мире. И вы сразу чувствуете, что не случайно безымянные мастера так хорошо, так тонко расставили их по всему Северу, так удивительно выбрали места для них. Слить с окружающей местностью архитектурное сооружение, уловить как бы композицию местности, сотворенную великим художником-природой — высокая задача зодчего»¹.

Это же единство видит писатель и в городе, когда проходит из Дюдиковой пустыни знакомыми улицами и зелеными полянами Вологды и любит красота вписанных в них памятников, создающих «ансамбль векового искусства».

Восторженно пишет автор о сплошном дивном чуде от простой избы до величавых храмов в Олонии, на Мурмане и Кокшеньге, в Кеми и Кижях, на Онеге и в Вытегорском посаде, в Подпорожье и в Карпогорах, восхищается «нарядностью и редкой живописностью» Великого Устюга, гениальным «узорочьем» памятников Карпополя, замирает перед волшебным мастерством безы-

¹ Евдокимов И. Север в истории русского искусства, с. 20.

мянных мастеров Сольвычегодска... Со страниц книги «Север в истории русского искусства» встает величественный образ «рубленной избяной Руси» и перекликается он с тем образом, который создавали, каждый по своему, Александр Блок и Сергей Есенин. И образ этой Руси северной выражает сущность «народного духа и творчества».

В книге уделено немало страниц древнерусской живописи, строгановской школе иконописания, иконописцам ближнего севера — Вологды и Великого Устюга. Но самые заветные свои мысли Иван Евдокимов высказывает в книге «Вологодские стенные росписи» (1922), рассматривая росписи Софийского собора Дмитрием Плехановым, росписи безымянных местных мастеров — Дмитрия Прилуцкого на Наволоке (наволоцкая роспись), Покрова на Козлене (козленская роспись), Иоанна Предтечи в Рощенье (рощенская роспись). Евдокимов считает, что после разорения Вологды, ее соборов, церквей и монастырей, разграбления и уничтожения икон во время польского нашествия, после разрыва преемственности, так сказать, с культурой XVI столетия, в XVII веке «вспыхнула интенсивная художественная жизнь, и Вологда приняла последний вздох древнерусского искусства живописи»¹.

Если роспись Софийского собора рассматривается как, «может быть, последняя монументальная живописная декорация, по своему духу близкая половине XVII столетия» и вошедшая в историю древнерусской живописи как «красочно-грандиозный документ переломной эпохи», то все остальные вологодские росписи, близкие по духу второй половине XVII века, совпали с угасанием древнерусской живописи, поздним ее оживлением на Севере, последними страницами истории древнерусского искусства, написанными в Вологде.

Наволоцкая роспись представляет, по характеристике Евдокимова, «художественный лубок, в котором сказалось глубоко, чисто народное, мудрое по силам и средствам влечение к красоте, к украшению». Несмотря на «упоение повествованием», козленская роспись — «самая живописная» среди вологодских росписей, ясная по композиции и «староверческая» по сюжетам. Окидывая

¹ Евдокимов И. Вологодские стенные росписи. Вологда, 1922, с. 21.

взором всю эту незаурядную работу, выполненную порой с виртуозной силой и живописной мягкостью, автор книги восхищается высоким душевным строем вологодского изографа, его благородным умилением, и даже словно бы слышит тихую поступь его под сводами скромной маленькой церкви, притаившейся на окраине города. Рощенская роспись воспринимается как совершенно противоположная по духу и по стилю. Полемизируя с Игорем Грабарем, Евдокимов считает, что роспись эта «ярко повествует о даровитейшем мастере, в сильнейшей степени проявившем свою индивидуальность, свои вкусы, свою манеру, стиль, словом, все то, что организует своеобразную душу, что принято называть духовным миром художника».

«Необыкновенная смелость, дерзость, отвага, жизнерадостность, шумливость, говорливость, какое-то «язычество», «светскость» так и бьет струей из каждого кусочка рощенской росписи. Даже после смелости поздних ярославских росписей как-то все же непривычно видеть оглушительный гротеск, «курьез», «кощунство» рощенской росписи. В этом ее новое, нигде не встречавшееся до сих пор, в этом ее местный оттенок... Впервые, кажется, на стенах православного храма передано «мирское» с такой обнаженной дерзостью и смелостью»¹.

Особое внимание в алтарной фреске вологжане давно обратили на высокую фигуру в богатом одеянии и короне и увидели в ней сходство с императором Петром Первым. Евдокимов же отметил не только портретное сходство, но и необыкновенную динамику движения: «сам царь-антихрист в камзоле, с трубкой «с зелием» как будто носится по России, звонит в колокола, палит из пушек, сечет головы, воздвигает крепости, марширует с солдатами, вырывает бороды, женит, насилует, замахивается дубинкой... Все это лихорадочное биение жизни, пульсация ее графически изображаются на стенах Предтеченской церкви чутким и отзывчивым художником»².

Сама жизнь этого времени, по мнению Евдокимова, оспаривала свое право на первородство, а петровские преобразования утвердили и обусловили перемены в самой жизни и в искусстве живописи. «Рощенская роспись,

¹ Евдокимов И. Вологодские стенные росписи, с. 58—59.

² Там же, с. 61.

как связующая искусство древней и новой Руси, в этих условиях приобретает исключительное значение: ею надо начинать русское искусство XVIII столетия... Пришло новое время, новые вкусы — и рощенская роспись есть первый из первых радостный гимн новой смене, первые истоки светской живописи, зародившейся на ущербе старой красоты. Она — самая жизнерадостная роспись, которая когда-либо была создана русским искусством. Ее единственность в данном смысле, конечно, только увеличивает ее художественную ценность. Она чудеснейшая декорация, вся пропитанная солнцем, радостью, веселым благодушным миром, полнотой молодости и свежестью северных нагорных лесов. Рощенская роспись последняя в истории многовекового искусства и первая в ее измененном продолжении, она — звено, связывающее два периода единой художественной культуры России»¹.

В утверждениях Ивана Евдокимова, по всей вероятности, немало субъективного, характеристик с переклестами, буйной фантазии, недостаточно развернутых и убедительных доказательств. Автор этих книг — личность увлекающаяся. Он поражен небывалыми и неповторимыми взлетами искусства в древней Руси и ищет этому объяснения, прощупывает связь времен и удивляется, что после таких взлетов древнерусского искусства уже в XVIII веке «приглашенная пришелица» — заимствованная западная культура в так называемый «петербургский период» насаждается без помех, а Россия, сопротивляясь и запаздывая, «чаще всего ковыляет за своей самодержавной столицей».

Радуюсь революционному обновлению XX века, Евдокимов опять находит в глухой провинции перепевание столичных течений, скромную «отсебятину, свою маленькую провинциальную колокольню» — убогие выставки, феерические зрелища в театрах рядом с дореволюционной пьесой К. Потапенко «Ряса», старые, пошлые, равные фильмы «великого немого» в тусклых переполненных залах... «Север в настоящее время — грандиозный музей, — пишет Евдокимов о переживаемых днях, — над которым опрокинулось суровое северное небо, с полуживыми памятниками, музей-некрополь... Художествен-

¹ Евдокимов И. Вологодские стенные росписи, с. 62, 69.

ная культура Севера в прошлом внушает надежду на будущее. Да родится оно!»¹

Обратим еще внимание и на особую манеру письма в искусствоведческих книгах Ивана Евдокимова. В них он — воинствен и непримирим, его стиль публицистичен, когда автор отстаивает свои взгляды, когда борется с пошлостью, с мещанским пониманием искусства, искажающими смысл и уродующими красоту подновлениями бездарных богомазов, «местных невольных варваров», когда призывает взять памятник, скажем, — Софийский собор, в интересах художественной культуры «под охрану настоящую, без участия местных «знатоков», от которых никакого проку ожидать нельзя. Он в таких случаях не страшится резких оценок, даже перехлестов, и вызывает огонь на себя тех же «невольных варваров».

В книге «Север в истории русского искусства» есть такие слова: «Ничтожество, всегда удобное, никого не раздражающее, не поднимающееся из общего уровня, торжествует в жизни, глушит и давит все сильное и независимое, ставит ему на каждом шагу преграды, засыпает его сонмом мелочей и мелких уколов, стремясь вывести из равновесия, причинить страдания, заставить смутиться, спуститься с высоты, быть как все, покинуть гордое одиночество»².

Слова эти сказаны в связи с судьбой «самого величайшего ваятеля России» Федота Шубина, но в них звучит боль собственного сердца, пережившего не один упрек и оскорбление. И самым радостным было написать на книге «Север в истории русского искусства» слова благодарности тому, кто проложил ей дорогу в жизнь, кто настойчиво пробивал ее автору путь к свету, к знаниям. И автор с радостью и гордостью, я бы сказал, с вызовом, написал: «Посвящается эта книга моему отцу Василию Федоровичу Евдокимову».

В первые послереволюционные годы Иван Евдокимов особенно активно сотрудничал в местной прессе, переживавшей небывалое возрождение. Один только перечень всяких изданий, журналов и газет занял бы несколько страниц — и во многих из них статьи Евдокимова по литературе, театру, искусству, историко-краевед-

¹ Евдокимов И. Искусство на Севере. — Русское искусство, 1923, № 1, с. 108—109.

² Евдокимов И. Север в истории русского искусства, с. 138.

ческие публикации и даже информация об опыте вологодских маслоделов. Он вчитывается во всякое свежее слово молодой литературы, спешит откликнуться на ее начинания: пишет о поэме «Двенадцать» А. Блока, поэзии Демьяна Бедного, М. Герасимова, Ф. Шкулева...

Вслед за книгой «Север в истории русского искусства» Иван Евдокимов задумывает большое исследование «Вологодские усадьбы», но исследователь здесь уступает место рассказчику. Вот какой живописной картиной родного края открывается эта незавершенная работа:

«Перелески, холмы, рощи и горки, дремучие леса, бесконечные речки, ручьи, озера раскинулись по всем путям Севера. Горит летнее солнце — и все зелено, сине вокруг, и только озера лежат в зеленых рамах как огромные серебряные блюда, да вьются дороги, проселки желтыми извивающимися петлями.

Пришла зима, и на сотни верст намели, навывли, нашипели метели белых блистающих снегов. Пять месяцев Север — белый. Косые, серые, мельчайшие, ситяные зарядили дожди в октябре, и туман, густой, непроницаемый, не может целый день разорваться за пасмурным окном. Осенние клекота журавлей звенят уныло в унылой бездне тумана: не заблудились ли журавли на бездорожном туманном небе Севера?

На черных узких дорогах, на плетне у отдыхающей риги показался белоносый тощий грач, осматривается, задумывается, ждет... Ночью и днем хрустят снега, рассыпаются по берегам рек со звоном стекла льдины, шумят и бурлят воды, выкатились из зимнего ложа на поля, на леса, на мосты; кричат и не могут накричаться над ними чайки; а небо — далекое — голубое, розовое, палевое, золотисто-шафранное, оливковое, как на иконах новгородской школы живописи»¹.

Как видно, зоркий глаз художника да, пожалуй, и свой писательский почерк сказывались во всем. Сам же писатель считал, что в это время ему еще «не давалась чисто художественная работа». Да и жилось вдали от литературы, в разоренном и голодном Фоминском одиноко и тоскливо. Впрочем, и в самой Вологде настоящей литературной жизни не было. Из-под пера местных пролеткультовских поэтов рвались в лучшем случае вос-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 80, л. 2, 3.

торженные, радостные, но чаще всего шумные песнопения.

Осенью 1922 года, заскучав свыше сил, Иван Евдокимов предложил свои услуги О. Ю. Шмидту, тогдашнему руководителю Государственного издательства. К концу октября вся семья перебралась в Москву, и Евдокимов — теперь технический редактор издательства оказался в центре столичной литературной жизни и сопровождавшей ее острой и непримиримой борьбы. Одна за другой стали выходить его книги — «Борисов-Мусатов» (1924), «Русская игрушка» (1925), «М. А. Врубель» (1925), «Провинция» (1925). Никогда не засыпавшее, а только сладко дремавшее желание быть художником прорвалось со все возрастающей силой.

IV

Открывающийся мир новых отношений всегда воспринимается остро и надолго остается в памяти. Таким миром стала для писателя босоногая вологодская юность, совпавшая с началом нового века. К этому времени и обратился Иван Евдокимов в первой своей повести «Сиверко» (1925). В центре ее — становление молодого человека, судьба рабочего мальчика Акиндина Штукатурова, его дружба с сыном богача Игорем Чефрановым; их ссоры и расхождение жизненных путей. Молодой рабочий Кенка идет дорогой революции в первых рядах и слышит за собой тяжелые шаги товарищей, цоканье копыт, ляганье казацких шашек. «Вечером над тюрьмой было грозное облачное небо и часто разрывался весенний жадный гром. Зажигались малиновым светом решетки... За сырыми и темными стенами, может быть, надолго остался родной Волок с детством, отрочеством и юностью. Пришла новая, трудная и неизбежная жизнь»¹.

Яркая лазурь в грозовом облачном небе, свежее очистительное дыхание «сиверка» — ветра революции — вся эта характерная для литературы двадцатых годов символика заключала в себе веру в торжество нового. Повесть была встречена как безусловно крупное значительное достижение пролетарской литературы². Д. Фур-

¹ Евдокимов И. Собр. соч., т. 1, с. 127—128.

² Комсомолия, 1925, № 4—5, с. 122.

манов оставил о ней восторженные слова: «Я без отрыву прочитал «Сиверко» до конца: превосходная, увлекательная вещь» и советовал это прекрасное произведение, написанное «с большим мастерством, с подлинно художественной простотой», печатать непременно¹.

«Убедительными, реалистически-красочными мазками дана у Евдокимова семья водопроводчика Штукатурова, — отмечал журнал «Печать и революция», — с ее нищетой, но и трудовой честностью и трезвым рабочим отношением к жизни. Такой художественно-непредвзятый подход сейчас же отражается на художественных приемах, которые проводятся тут без всякой натяжки»².

При общей положительной оценке повести на страницах «Правды» были высказаны и некоторые замечания: «Евдокимов чрезвычайно резко подчеркнул классовый момент во взаимоотношениях детей, показав, как он проявляется в каждой мелочи, в разном отношении к каждому явлению. В этом подчеркивании он пошел, пожалуй, слишком далеко: Кенка — мальчик чересчур уж сознательно-революционен, независим...»³

Вскоре пришел развернутый отзыв М. Горького из далекого Сорренто. Он признавал, что в повести, начало которой сделано лучше, тщательней, а конец торопливо скомкан, все-таки «всюду чувствуется несомненная даровитость автора и его умение наблюдать»⁴. М. Горький считал, что «мотивы расхождения Кенки и Гоги лежат гораздо глубже: «И для вящей правды надо бы показать другую пару: мальчик интеллигентской семьи духовно изменяется под влиянием какого-то другого Кенки. Это очень характерно для русской социальной жизни: большинство интеллигентов-коммунистов явились в результате этого процесса. И Гога не так характерен, как они»⁵.

Как и многие другие произведения этих лет, опиравшиеся на опыт участия писателя в революции, повесть «Сиверко», несла в себе документально-автобиографическое начало. Евдокимов предстал здесь как реалист-

¹ Куприяновский П. Дм. Фурманов и Ив. Евдокимов: (Из новых материалов). — Север, Петрозаводск, 1971, № 7, с. 123.

² Печать и революция, 1926, кн. 1, с. 237—238.

³ Правда, 1925, 16 сент.

⁴ Горький М. Неопубликованные письма. — Октябрь, 1954, № 11, с. 126.

⁵ Там же, с. 125.

бытописатель. Особая его удача — изображение жизни и быта рабочей семьи, образное раскрытие ее психологии, настроений.

Коренной вологжанин непременно узнает в Волоке родной город с его Ильями в Камень, Стратилатами во Фрязинах, Владимирской звонницей, с его Заречьем, Соборной горкой, Турундаевским плесом, Бесовым ручьем, железнодорожными мастерскими, чугунолитейным заводом Парикова, березовыми бульварами и березнячком за Горбачевским кладбищем, где проходили первые маевки...

Сам автор видел и недостатки своей повести, ее эскизные финальные страницы и радовался тому, что удача так широко улыбнулась ему на этот раз, пробивая дорогу новым замыслам, в которых развертывались лишь намеченные в «Сиверко» ситуации.

6 апреля 1925 года появляется в дневнике первая запись о новом замысле, в котором угадываются будущие «Колокола»: «Весь вечер обдумывал повесть из эпохи 1905 года, из времен моей романтической эпохи, множество выплыло лиц, но сделалось страшно, потому что полотно сразу развернулось на много печатных листов и пришел герой — Егор Яблоков, который даст и название вещи»¹. Через месяц работы возникает новая запись: «Название «Егор Яблоков» уже узко. Что-то в этом есть суживающее. Дал название «Пятый год» — в этом чувствуется тенденция. И наконец остановился над названием «Колокола», от него не откажусь... Я хочу дать, по существу, огромную картину общества в 1905 году... Работать, работать! Голова моя целый день занята только «Колоколами», и сердце поет, торопится, грустит...»²

К лету складывается план каждой главы, на это время падает самая напряженная работа над романом. К осени написано уже тридцать глав, оставалась последняя треть повествования, непосредственно посвященная первой русской революции. «Или я лишен всякого умения давать оценку своему писанию, — рассуждает писатель в это время, — и тогда я буду раздавлен неуспехом, или я понимаю, что пишу, — и тогда я создал явно художественную вещь... В романе по крайней мере шесть-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 131, л. 19об.

² Там же, д. 132, л. 29.

десять действующих лиц, в нем переплелось реальное с легендарным, в романе любят, страдают, ревнуют, смеются, плачут, ведут революционную работу, делают сходки, кружки, демонстрации, подпольные типографии... В романе нет главного индивидуалистического героя, там коллектив, там герой — эпоха... Считаю, что я создаю даже новую форму»¹.

Роман, повествование в котором все расширялось и нарастало, создавался, по словам писателя, «с каким-то особым подъемом». В октябре 1925 года были положены, кажется, последние штрихи, но финальные страницы не складывались, пришлось искать их еще несколько лет.

Молодая советская литература начинала прокладывать в это время пути эпического изображения революции, показывала движение масс в ней, стремилась создать характер народного героя. Широко захватывая кануны первой русской революции, события ее непосредственного развертывания, искал новые повествовательные формы и Иван Евдокимов. Его роман открывается обобщенной картинной жизни рабочей окраины большого провинциального города, облик которого выписывается тщательно в противопоставлении социальных сил, в разделении на «черную рабочую сторону» и «чистую городскую половину» за березовыми бульварами. Писатель живописует быт рабочих слободок, где трудно и тесно жил люд рабочего званья: «Любили, плакали, смеялись на черной рабочей стороне... Рвали рассветный и вечерний воздух гудки, ныли над крышами рабочих домишек... Над жизнью, над горем, над радостью, никогда не уставая, валил густой дым красных фабричных труб. Будто стояли они дозорными, стерегли люд на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах, ходили за ним по пятам, загоняли в свои рыжие корпуса-корабли...».

Из улиц рабочих слободок писатель ведет на березовые бульвары, в барские особняки с мезонинами, показывая разоряющееся дворянство, в обывательские дома старых узких переулков Козлены, окраинной Желвунцовской улицы, во флигеля у Ильинской... Тщательно выписываются жизнь и быт профессионального революционера, явка у Никиты на погосте, собиравшиеся в сторожке заводские и фабричные кружки, подпольная типография в магазине «Венский шик», прокламации, сход-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 131, л. 45, 45об.

ки, аресты, суды, побеги... Действие переносится из города в усадьбу Орешек, в бунтующие деревни на Верейском тракте, на Чарыме за Николой Мокрым, у Шелина мыса...

«И медленно, не торопясь, переваливались зимы, лета. Генеральша Наседкина прибавляла в весе... Часовых и золотых дел мастер Буби-Козыри оказался фальшивомонетчиком. У губернатора жена сбежала с мороженым. Покривился новый дом на Прогонной: кирпич подрядчик поставил жульнический, непрокаленный. Умерла нищенка: в тряпье у нее нашли двадцать тысяч. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах рабочие разбойника убили: не давал никому житья. И опять все тихо. Дуют ветра, восходит и закатывает солнце, пожарные выезжают по фальшивой тревоге во время и опаздывают на настоящие пожары, осенью воры воруют в погребах... В среду и пятницу, по постным дням, нахлыывает на Толчок деревенщина с луком, картошкой, капустой, овсом и рожью. Изю дня в день со всех городских посадов и концов воют фабричные и заводские гудки да трезвонят колокола на островерхих колокольнях».

В этом едком описании нарочито застойной жизни, в цепи «знаменательных» событий преглядывает реальный быт захолустной Вологды. Правда, город, в котором происходит действие романа, не называется, не дается ему и вымышленного имени. Город этот, судя по всему, по разбросанным историческим деталям из времен Василия Тишайшего, Ивана Грозного, Бориса Годунова, — древний, старинный. Невдалеке от него большое многоверстное озеро Чарымское в зарослях осок и камышей. За Зеленым Лугом — выезд на Московский тракт, на пути к озеру — Прилуцкая слобода, в центре города — архиерейское подворье с плотиной на Пятницком пруду, Гостинодворская площадь у самой речки Золотухи, облепленной кабаками, магазинами и ларьками, над городом — величественные купола соборной Софии, за городом — бесконечные неоглядные Семигородние леса.

Многочисленные старинные церкви и колокольни в разных частях города — на Подоле и на Болоте, в Рошенье и на Наволоке — расставлены писателем произвольно. Даже в названиях улиц — «на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах», «на Кобылке, на Фро-

ловской, на Гремячей, на Бондарной», «по Прогонной, по Толчку, по Желвунцовской» — реальное переплелось с вымышленным.

Чтобы поднять значительность происходящих событий, укрупнить их, писатель раздвигает границы города, открывает в нем университет, пускает по его улицам конку, называет три железнодорожных вокзала. Ему мало мелких кожевенных, мыловаренных, кирпичных заводов и заводиков. И вот создается в городе громадная Свешниковская мануфактура и возрастает армия ткачей.

Подъем первой русской революции сам писатель встретил в столице на Петербургской стороне и бывал не только на университетских сходках, но и на рабочих собраниях, на митингах в больших заводских корпусах. Декабрьское московское восстание он не мог наблюдать непосредственно, но видел, как «шпаклевали и перетирали декабрьские раны тысяча девятьсот пятого года», жил со своим героем на Пресне, кружил с ним по булыжным мостовым, путанным московским улицам, тупикам и переулкам в Замоскворечье, в Лефортове, на Девичьем поле, на Таганке, на Арбате... И все это сказалось на изображении своего, евдокимовского города в «Колоколах», с его динамично и сочно изображенным бытом рабочих слобод и улиц, бурной перекличкой прошлого, седой древности и революционной современности.

Еще в повести «Сиверко», обращалось внимание на колокольный звон в Волоке, где «от звона будто медная обшивка была на небе, а звезды — гвозди», особенно на залиvistые малиновые звуки Владимирской звонницы, на густой голос «медного дядюшки» в три тысячи пудов на соборной колокольне, на то, как мелкота поддакивала из улочек, тупичков, переулочков, с площадей... И все это — «медная слава» прошлого. Но вот в отмеривающий уходящее время колокольный звон врываються от всех застав и путают ноты пронзительные заводские гудки и глушат благолепие...

«Да и нигде так не звучат таинственно и обольстительно, — писал Евдокимов еще в книге «Север в истории русского искусства», — так грустно, сосредоточенно важно и протяжно колокола, как в северной глуши. Звон несется по лесам, по рекам, манит, напевает печаль, всколыхивает душу непонятной скорбной музыкой и неж-

ной тревогой заброшенности человеческой в страшном и радостном и таком неисчислимо-необъятном мире»¹.

Образ — «колокола», — вынесенный в название романа — многофункционален. В колокольный звон, издавна сопровождавший родины, свадьбы, гостины, праздники, именины, похороны, врывается словно бы никогда не умолкающий, ноющий, рвущий воздух звук фабричных и заводских гудков. И эти тревожные, зовущие гудки, словно телеграфные провода от высоких фабричных и заводских труб, «шли по всей России»...

И вот уже новое время, новые песни, новые праздники... В первомайский шли длинными черными колоннами, разворачивались на бульварах и пели — ворочали «тяжелые колокола песни» «Вставай, подымайся, рабочий народ...». С тех же островерхих колоколен был слышен уже не далекий звон прошлого, а набатный зов к действию, к борьбе. В самый яркий день начала стачки, когда на улицы вышли праздничные толпы людей, сопровождаемые призывными заводскими гудками, в этот день — «над рабочей слободкой, над городом, над Чарымой, будто звон колокольной соборной Софии с концами и приходами, запела земля, облака, крыши...». После поражения восстания «колокола, как в дозорных лоцманских будках, звонили протяжно тревогу», и кладбищенский с прозвонью колокол узнавался среди забытых колоколов — звонил он «над сторожкой, над поклончивой ветлой в лугах над товарищами, уснувшими без крестов под жирной землей». Но и в эти горькие дни герои романа в чистом утреннем весеннем колокольном хоре, смешавшемся с нестройным крикливым пением заводов, слышат голоса будущей победы, и в сердцах арестованных рабочих, отбывающих в тюремных вагонах в Сибирь, рождается чувство единства со своими товарищами, с теми, кто с узелками, поодиночке, артелями шли теперь через пути к депо, «дружно снимали шапки, кепи, картузы, трясли ими высоко над головой и что-то кричали вслед».

Объясняя замысел одноименной, созданной по роману к тридцатилетию первой русской революции пьесы, автор указывал, что ему всегда хотелось бытописать, создавая жизнь рабочей слободки Ехаловы Кузнецы с ее фабриками и заводами, разными и по-разному на-

¹ Евдокимов И. Север в истории русского искусства, с. 39.

строенными группами рабочих. «Потоком событий, — писал Евдокимов, — рабочая слобода вовлекается в революционную борьбу. Вождем и организатором этой борьбы являются большевики-подпольщики... Готовится восстание. И оно приходит. Немногие уцелели в этой схватке. Но те, кто остался жить, уходят с баррикад, унося опыт борьбы и пламенную веру в то, что они еще придут со своими простреленными знаменами и уже для окончательной победы. Главные герои моей пьесы — рабочие-дружинники и вожди их, подпольщики-большевики. Пьесу мою пронизывает одна идея — героическое мужество старой большевистской гвардии, под руководством которой рабочий класс совершил революцию 1905 года и добился победы в октябре 1917 года»¹.

И это действительно так. Еще Д. Фурманов, которому Иван Евдокимов глава за главой читал роман «Колокола», не только встретил его восторженно, как «монументальный памятник 1905 году», но и оставил о романе ценные наброски, которые, по всей вероятности, предполагал развернуть в печатный отклик. В этих набросках отмечалось знание автором романа быта рабочих, актуальность жизненных проблем, широта замысла и его социальная заостренность, увлеченность разрыванием действия, тяга к эпическому повествованию, «обилие образов, сравнений, ароматичность, свежесть языка» и вообще — «любовь к простолюдину, к народной песне, к природе — хорошая, большая любовь». Вместе с тем Фурманов замечал: «Массы рабочих нет»; «Нет выдающихся типов, но каждый индивидуален: Яблоков, Сережка, провокатор Кленин, Олюнька, Аннушка»; «Революционеры даны правдиво»; «Побег Алешеньки романтичен и реален: так вот и надо!»².

И в «Правде» отмечалось, что автор «Колоколов» «пытается, и порой успешно, наметить такие органические фигуры рабочего и революционного движения, которые вышли на авансцену современной жизни как сознательные строители Советской России»³. «Евдокимову удалось сочетать стихийность нарастания революции с организующей волей партии, — писал А. Селиванов-

¹ Советское искусство, 1935, 23 дек.

² Куприяновский П. Дм. Фурманов и Ив. Евдокимов. (Из новых материалов). — Север, 1971, № 7, с. 124.

³ Правда, 1926, 21 дек.

ский. — Правильная общественная установка обусловила и художественную правду романа»¹.

В самом деле, Евдокимов только начал роман с бытописания рабочей слободки. Он ввел в повествование целую галерею рабочих персонажей и раскрыл их образы в реальных жизненных столкновениях своего времени, в самой динамике революционной борьбы. Сквозная фигура романа — Егор Яблоков, молодой, революционно настроенный рабочий, приехавший из Сормова, а вокруг него — обуховские и путиловские рабочие: латыш Анс Кенинь, местный выходец из крестьян Егор Тулинов, старый токарь Силантий Кубышкин, молодой парень Сережа Соболев, безымянный Мясников. Многие рабочие из кузнечного и слесарного цехов, из котельной транспортных мастерских раскрыты в массовых сценах. Кого-то из них писатель знал лично, с кем-то непосредственно участвовал в революционных событиях, когда под именем «товарища Ивана» создавал кружки среди железнодорожных рабочих. «В романе моем «Колокола» образы рабочих, — считал нужным сказать Иван Евдокимов, — мои старые товарищи, преображенные искусством и временем»².

В издании Вологодского истпарта «1905. Сборник статей» называются конкретные имена рабочих, каждый из которых мог стать прототипом того или иного из героев романа «Колокола». Упоминается здесь и рабочий Яблоков, на квартире которого по Петроградской улице железнодорожники создали подпольную типографию, а сам ее хозяин уже в годы реакции был убит хулиганом³.

Герой романа «Колокола» Егор Яблоков раскрывается как типический характер рабочего-революционера, показанного в столкновении с темной нераздумывающей силой буяна и громилы из кузнечного цеха Ивана Просвирнина, терроризировавшего со своей артелью (провокатор Кленин, заблудившийся рабочий Кукушкин, Сашка Кривой с гармоньей) всю округу — «пускали в ход

¹ Молодая гвардия, 1927, № 1, с. 207.

² Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под. ред. Вл. Лидина. М., Современные проблемы, 1926, с. 106.

³ 1905. Сборник статей о революционном движении 1905—1907 гг. в Вологодской губернии. Вологда: Издание Вологодского истпарта, 1925, с. 59—60.

ножи, трости, кастеты, проламывали головы, дробили ноги, укорачивали жизнь». Анархическому просвирнинскому своеволию противопоставляется разумная воля и коллективность действия. Все больше рабочих становится на сторону Егора Яблокова и сминают, убирают со своего пути темную, опасную стихию анархии.

Яблоков раскрывается в романе с разных сторон — и в заботе о рабочих своего цеха и всех мастерских, и в активной борьбе за их права, и в трогательных отношениях с рабочей-мойщицей винного завода Аннушкой. Он входит в заводской кружок и участвует в тайных сходках рабочих в сторожке у Никиты, в стачках и забастовках, в борьбе с провокатором.

Во время майской демонстрации Егор Яблоков четко выражает требования рабочей массы. И во время декабрьского выступления он не только в первых рядах на баррикадах, но и во главе рабочего Совета. Не теряет Егор веры в силу рабочего единства и после поражения революции, мечтая о новых близких сражениях со старым миром.

Индивидуальными штрихами и жизненными деталями наделяет автор «Колоколов» и профессиональных революционеров — Савву, товарища Ивана, выходца из купеческой семьи Алешу Уханова...

Евдокимов сознательно отказался назвать роман именем своего главного героя — рабочего Егора Яблокова, положив в основу своего повествования изображение большого коллектива рабочих. Выделенные поначалу индивидуальные, но не выросшие в «выдающиеся типы» персонажи, как заметил Д. Фурманов, по мере развертывания повествования все больше сливаются с массой, выражая ее сущность. Такой прием со времени появления первых советских романов («Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича) становится принципом, выражающим сущность революционного времени. Не случайно и сам И. Евдокимов видел своего основного героя в динамике движения истории, в единстве со своим временем, в романтическом пафосе изображаемой эпохи. В этом сказался истинный историзм романа «Колокола», его непреходящее значение как историко-революционного повествования.

Когда роман начинал свое триумфальное шествие к читателю, профессиональная критика не сумела определить его жанрового своеобразия: велись споры о том,

что это — то ли историческая хроника 900-х годов, то ли семь разрозненных и разностильных повестей с преобладанием в одной бытового начала, в другой — детективно-приключенческого, в третьей — хроникально-описательного... Обвиняли автора романа и в «бытописательском реализме», и даже в натуралистическом копировании провинциального быта.

Взволнованный вологодский обыватель особенно ревниво сверял страницы романа со знакомым ему бытом родного города кануна революции, выискивал известные ему детали, ситуации, узнавал известных ему городского Конева или старомодного зубного врача Шнейвиса, парходочика Варакина или черносотенку Караулову, шапошника Мошкова или жандармского ротмистра Пышкина, находил какие-то несоответствия в изображении хозяйки магазина «Венский шик» или сына городского головы Алеши Уханова, удивлялся, а не перепутал ли автор судьбы рабочих Кукушкина и Просвирнина, с изумлением разводил руками, находя рискованные, на его взгляд, и весьма причудливые переплетения реального с вымышленным, чуть ли не легендарным...

Между тем раскрытие подлинного духа времени, сущности эпохи кануна и первой русской революции проявилось в том, что было найдено И. Евдокимовым как художником — в широком эпическом развороте самих революционных событий, в раскрытии массовости и динамики участия больших людских потоков, наконец, в передаче пафоса этой борьбы, накала радостных чувств рабочих, захватывающего человеческого единения, торжества желанной свободы.

Жизнь и быт рабочего люда в романе «Колокола», пути от экономической к политической борьбе, роль профессиональных революционеров в росте пролетарского сознания, не просто хронологически предшествуют массовым сценам митингов, демонстраций, баррикадных боев в романе — в этом глубокий историзм развертываемого повествования. Вершина его — эпический разворот динамики революционной борьбы, массовых сцен стачки, начатой ткачами Свешниковской мануфактуры, декабрьского выступления, баррикадных боев в городе.

Писатель перечисляет в романе однородные явления, нагнетает их, наращивает, разворачивает, повторяет, создавая впечатление массовости: рабочие шли «из маломерных ворот, калиток, проходных будок»; «раскрылись

на Зеленом Лугу, на Числихе, на Ехаловых Кузницах окошки, распахнулись крылечки, дворы: то высыпали цветными ситцами бабы, ребята, девушки»; «Солнце скинуло с рабочих картузы, кепки, расстегнуло ворота блуз, рубах, раздвинуло полы пиджаков, опростоволосило баб и ершики ребятишек. Красными гнездами поднялись над головами маленькие платки, ленты и красный большой плат густел над передними людскими купами»; «И перекатилась, просыпалась медными гремящими листами железная марсельеза. На фашиннике загрохотали обозы, цокнули конские копыта, повезли лафеты с тяжелыми пушками, пошли дома, развалились фундаменты и тысячи каблуков нестройно, пыльно застучали по дереву»; «С бульваров подпирало, катилось овромное людское колесо»; «Отовсюду приставали дети, пешеходы, из извозничьих пролетов вылезали ездоки, бежали люди из ворот, из калиток, со дворов»; «Толпа охнула, закричала, заревела, забухала сапогами по булыжнику»; «Толпа загудела злым и нараставшим шумом, будто почуяла она необоримую силу в себе, будто шла от нее эта сила и раздвигала площадь, опрокидывала дома, сминала изготовлявшуюся конницу, солдатские цепи»...

Новой волной стачки охвачена Свешниковская ма-нуфактура, и возникают новые волны рабочих депута-ций и митингов. Вновь пробужденные Зеленый Луг, Чис-лиха, Ехаловы Кузницы выходят на улицы и площади и под красными знаменами, с пением марсельезы дви-жутся в город со своими рабочими требованиями, встре-ченными на этот раз градом пуль прибывших в город казачьих и драгунских сотен.

Пламя революции из города перекидывается в де-ревню, и вот уже «под набатный звон монастырей, по-гостов, приходов» пылают господские стога, горят бар-ские усадьбы, поднимаются Березники, Анфалово, Не-федово, Семигорье, Верея... Стихия крестьянского вос-стания уподобляется стихии природы, накал и размах народного гнева предстают в романе, как и выступ-ления рабочих в городе, в широком эпическом разво-роте.

И опять писатель возвращается в город, чтобы на фоне бурных общественных событий в стране показать возрастающее недовольство народа куцыми свободами царского манифеста. И, наконец, отображает декабрь-ское вооруженное восстание, освещенное на этот раз

опытом борьбы краснопресненских пролетариев. Имен-но так строится повествование, во всех деталях воспро-изводящее особенности баррикадных боев восставшего пролетариата: «вкопались на бульварах»; «повалили первую конку на рельсах»; «Баррикады выростали по улицам черными сугробами»; «В морозной темноте за-жигались на баррикадах красные фонари флагов»; «Ше-велилась всю ночь рабочая свобода, будто была она городским сердцем, сердце работало, билось, подымало грудь...»

Потом восстал Моршанский полк, дружинники вор-вались в город, на Прогонной, на Золотухе, на Толчке выросли баррикады, восставшие захватили типографию и печатали в ней «Известия Совета рабочих депутатов», и Зеленый Луг узнавал о боях на Пресне, брожении в войсках, восстании матросов в Петербурге, образовании Совета рабочих и солдатских депутатов в Златоусте... Потом сдали центр города регулярным войскам, отошли к бульварам. Один за другим погибают в этих боях Ту-линов, Кубышкин, Аннушка, Сережка Соболев...

Еще не была поставлена последняя точка в романе, еще правились и подчищались огрехи последних стра-ниц, а В. Лидин принес в издательство известие: дирек-тор какого-то русского театра навестил М. Горького в Неаполе, и великий пролетарский писатель очень хвалил опубликованные в «Красной нови» главы из хроники Ивана Евдокимова «Колокола»¹.

С тех пор роман выдерживал по два-три издания каждый год, а имя его автора называлось среди имен лучших советских писателей и не сходило со страниц газет и журналов. Нельзя сказать, что все отзывы о романе были восторженными, высказывались и крити-ческие замечания, но ни у кого не было сомнения — «Ко-локола» значительное явление молодой советской лите-ратуры, а грех бытописания и композиционные просче-ты, по мнению рецензента «Правды», с лихвой искупа-лись «общественной значительностью тех ярких частей книги, в которых автор осветил этапы революционного рабочего движения. Это создает книге заслуженный ус-пех»².

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 132, л. 154об.

² Правда, 1926, 21 дек.

Один из самых взыскательных критиков И. Евдокимова считал, что в «Колоколах» «рассыпано немало жемчужин художественности»¹. Всегда придирчивая, а нередко даже угрожавшая рапповская критика (от Евдокимова «можно ожидать всяких неожиданностей»²) на этот раз не скрывала своего восторга: «Несомненное мастерство автора — обилие ценных черт в обрисовке взятой им эпохи, правильная идеологическая установка, — все это дает право считать роман ценным вкладом в советскую литературу»³.

V

С выходом в свет романа «Колокола» активизируется и литературно-общественная деятельность писателя. Находясь до этого вне литературных группировок, Иван Евдокимов в конце 1926 года вступает в «Перевал» и взваливает на себя всю организационную работу, сочиняет декларацию и устав литературной группы, выступает на многочисленных литературных вечерах, полемизирует с рапповцами и особенно с их теоретиками — «напостовцами».

«Перевал» однако был уже на закате, многие писатели покидали эту среду, отходил от дел и глава группы А. Воронский. «Мне совершенно ясно, — пришел к выводу Евдокимов, — что художнику не надо участвовать ни в какой группировке. Ему надо быть одному. Можно бороться с вредным направлением в литературе (вапповским) и не состоя в группировках»⁴.

Вскоре — в октябре 1927 года — автор «Колоколов» порывает с «Перевалом», сохраняя добрые отношения разве что только с М. Пришвиным, который давно приглашал его в свое Берендеево, а Евдокимов открывал большому знатоку природы свои заповедные охотничьи раздолья на Сухоне и Леже. На этот раз охочий до рыбной ловли писатель уклоняется от всех соблазнов

¹ Смирнов Ник. В гостях у случайных соседей. — Новый мир, 1926, № 12, с. 145.

² Бек А. Иван Евдокимов (Беглые заметки). — На лит. посту, 1927, № 9.

³ Звезда, 1927, № 2, с. 158.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 133, л. 118.

и окунается в давний замысел — в роман «Засзерье». Один за другим пишутся и рассказы, выходят сборники «Проселки» (1926), «У Трифона-на-Корешках» (1927), «Овраги» (1927), «Зеленые горы» (1928), «Закоулки» (1932).

В это время Евдокимов обращается не столько к проблемам современности, сколько к власти старого быта, к изображению захлестывающей мещанской стихии. Действие его рассказов чаще всего происходит в глухих медвежьих углах, где-то на Леже, на Обноре, в уездных северных городках Борки да Овражки с их застойным бытом и мелкими чувствами обывателей («Борки и Овражки», «Камень», «Сундук», «Казнь», «Любовь», «Клад»). В атмосфере тусклого быта городских окраин, нередко в ситуациях диких и жестоких, вскрываются темные стороны души, грубые инстинкты несчастных, лишенных человеческой радости людей. Таковы жестокая мстительность овдовевшей Клавдии за поруганную любовь, любовь-страдание молодой красавицы Миры к растленному монаху-алкоголику, доведенная до самозабвения, до самоистязания. Судьба богача-мукомола, ставшего сожителем вдовы Мурки, рассказ о потерявшем человеческий облик стяжателе Крохоборове, о насильниках, грабителях, бандитах, разгулявшихся в стихии революционных перемен, также становятся динамической основой историй о теряющих человеческий облик людях.

В рассказе «За шкафом» быт нэповских дней предстает во всей неустроенности и дикости. В «Офицерских женах» в характерном для этого времени ключе рассказчик ведет повествование о себе, о бывшем барине — белом офицеришке, которого покинула жена: «Ушла от него совсем ко мне, развелась, расписались мы в загсе — зажили. Два года жили. Я осел в городишке. Выскочила еще раз из оглобель барская кровь, залез к нам на квартиру, меня проткнул пулей у дверей — отмыкал я ему, не знаючи, засов, — а ее, на сносях была, спала, пристрелил на постели. В чувство я не пришел три дня, без меня Ньюру и похоронили с музыкой и с красными флагами»¹.

¹ Евдокимов И. Собр. соч., т. 1, с. 227.

Обращается писатель и к изображению деревенской жизни, видя и здесь немало дикости, темноты и вражды («Кони», «Домовничанье», «Черная гряда», «Черт рогатый»), но вместе с тем и чистоту человеческих отношений, верность чувств, веру в торжество жизнетворящих начал. К числу лучших следует отнести рассказ «Кони», герой которого старик-коновал выращивает невиданной красоты коней и погибает, защищая своего любимца Ястреба.

Изображение традиционного быта деревни и разлома жизни под напором революционных перемен давно привлекали писателя и определили круг проблем его широко задуманного повествования «Заозерье». В 1924—1928 годах Евдокимов работал над первыми двумя книгами трилогии, романами «Гнездо» и «Грозовые облака», а в 1929—1930 годах — над завершающим ее романом «Победа». Трилогии этой было отдано много сил. В процессе работы повествование разрасталось, включая в себя изображение нравов приозерных деревень с рыбными промыслами крестьян, ярмарками, рекрутскими наборами, свадьбами, бытом соседнего монастыря, разорением дворянской усадьбы Шенных, обогащением купца и заводчика Никуличева, революционизированием сознания рабочих стекольного завода и бумажной фабрики в канун первой русской революции.

Во второй книге трилогии события разворачиваются в тех же приозерских деревнях в канун первой мировой войны и во время этой войны, вызвавшей крайнее разорение крестьянства. Краткость не оказалась родной сестрой таланта Евдокимова: повествованию его не свойственен характер цельного стремительного потока, он как бы разделяется на многие протоки. И снова, как и в романе «Колокола», в «Заозерье» большое место занимает изображение судеб угасающего дворянства. Но в новом романе писатель проявляет внимание и к монастырскому быту, к показу жизни растленных монахов, а также богатеющих купцов и фабрикантов с Уфтуги и Рабанги, мелких деревенских лавочников, кабатчиков, шинкарей, владельцев постоянных дворов...

В этом романе, как никогда раньше, Евдокимов предстает бытописателем жизни северного крестьянства. Галерея образов крестьян здесь особенно широка и представлена индивидуальностями разных поколений — дед

Кроха, Платон Кутьков, Степан Лепак, Павел Естигнеев, Иван Подувалов, Степан Еремин, Катерина Крохина и Енька Обухова. Евдокимов увлеченно изображает свое родовое гнездо, раскинувшиеся у озера кубенские деревни. Очень живописны в романе массовые сцены — молодежные гуляния на Маур-горе, пестрая ярмарка с деревенским представлением «Царя Максимилиана», рекрутские проводы, картины покоса, деревенской свадьбы, рыбной ловли, охоты на лося...

И все-таки каждая книга трилогии давалась писателю с большим трудом, особенно завершающие части романа «Победа». Вводя читателя в атмосферу тревожных дней ранней весны 1917 года, когда с разваливающимися фронтами мировой войны дезертировали и разбредались по родным заозерским избам солдаты, Иван Евдокимов тщательно прослеживает пробуждение активности северного крестьянства, бунтарскую стихию между февралем и октябрём, сложные взаимоотношения деревни с городом. Бушуют страсти и в Загорске — происходят митинги, собрания, столкновения партий, черносотенные выступления. Писателя интересуют приход революционного Октября в глухие северные углы, победа большевиков.

Обстоятельно выписаны в романе весна и лето девятнадцатого года, особенности зарождения гражданской войны на Севере — столкновения города и деревни в борьбе за хлеб, стихия крестьянских волнений, появление отрядов красных партизан, реакционная роль духовенства... Упоминаются в романе и «пришлые печальники» о Русском Севере — иностранные миссии, уступившие место войскам интервентов.

Непомерно распухшее повествование возвращали писателю, отказывались печатать. Правда, Вс. Иванов еще в начале 1930 года писал: «По-моему, роман удачный и вполне достойный (если сократить начало, главным образом) напечатания в «Красной нови»¹. Редакторы альманаха «Земля и фабрика» Ф. Гладков и С. Обрядович считали, что многие страницы в романе Евдокимова «написаны блестяще (особенно крестьянские): борьба в деревне изображена очень ярко. Изображение деревни в эпоху гражданской войны в романе наиболее полное и сочнее, чем в других однорядных произведе-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 2, д. 61, л. 10об.

ниях других авторов»¹. Но особую роль в судьбе завершающей трилогию Евдокимова книги суждено было сыграть А. Луначарскому, который не только высоко оценил произведение и отвел политические упреки в адрес автора, но и предложил свое понимание авторской позиции:

«Прочитанный мною роман Евдокимова, составляющий третью часть его трилогии, — писал А. Луначарский 16 апреля 1930 года, — доставил мне удовольствие при чтении. Он содержит в себе очень большой и сочный кусок революционной жизни. Насколько автору удалось, художественно обработав его, остаться объективным? Насколько Евдокимов является субъективно и объективно правдивым свидетелем? Как сказать это? Для ответа нужно самому знать тот край в ту эпоху. Во всяком случае, все очень правдоподобно и убедительно. Такими свидетельствами швыряться нельзя. Роман, по моему мнению, должен быть издан. Художественно он сделан крепко, с хорошей добротной простотой. Человек умеет видеть внешнее и внутреннее, умеет и показывать... Взгляд его на крестьянство — пессимистический. Можно горячо спорить с ним, а закрывать из-за этого путь его свидетельству — нельзя»².

После трудного завершения трилогии «Заозерье» и запоздалого прихода ее к читателю, неудачи преследовали Евдокимова.

Поначалу он еще пытался как-то опереться на свои прежние успехи. В романе «Зеленая роща» (1931), в повести «Дорога» (1932), в автобиографическом повествовании «Портрет Василия Мещерина» (1934) писатель почти буквально повторял ситуации ранних своих рассказов, а повесть «Сиверко» целиком включил в новое повествование, пытаясь продолжить судьбы ее героев. В романе «Архангельск» (1933) Евдокимов вновь искал пути изображения революции и гражданской войны на Севере, в романе «Жар-птица» (1936) возвратился к показу судеб рабочего класса уже в советское время, но добиться успеха ему не удавалось.

Критика не прощала писателю торопливости, неряшливости и небрежности письма, обрушивалась на него

¹ ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 2, д. 61, л. 14—14об.

² Там же, л. 14об.—15.

за поверхностное изображение действительности. Почти каждое произведение Евдокимова этих лет попадало под «критический обстрел»: на его романы тут же наклеивались ярлыки — «вульгаризаторский», «фальсификаторский», «мертворожденная книга»...

Один из романов в фельетонном раже обзывается «клубничка» из пролетарской жизни под названием «Жар-птица»¹.

Во второй половине тридцатых годов Евдокимов вновь возвращается к проблемам русского искусства, разрабатывая жанр историко-биографического повествования о великих русских художниках.

Прокладывание путей к биографической повести начато было им еще в середине двадцатых годов. Печать таланта безусловно лежала уже на первых его очерках о Борисове-Мусатове и Врубеле. Образное восприятие героя, стремление создать живой его портрет сказывались уже тогда. В этом же ключе создается и книга «В. И. Суриков» (1933), увидевшая свет в одном из первых выпусков серии «Жизнь замечательных людей». В процессе работы монографическое исследование все больше обретает облик художественного историко-биографического повествования. Эту новую работу, открывшую целый цикл его книг, Евдокимов назвал — «Повесть о великом художнике» (1938). Вслед за ней были созданы повести «Репин» (1940), «Левитан» (1940), «Крамской» (1941).

Создавая литературные портреты великих русских художников, писатель вскрывает народные корни их таланта, показывает своих героев в динамике развития характера, в тесной связи со временем, в окружении современников.

Евдокимов не просто следует за историческими фактами, а обобщает процессы и явления русской живописи. В своих книгах писатель отстаивает национальную самобытность русского искусства.

«Отличаясь огромным трудолюбием, большим жизненным опытом и настоящей, неподдельной любовью к искусству, — писали об Иване Евдокимове К. Тренев, В. Бахметьев, С. Сергеев-Ценский, А. Караваева, А. Пла-

¹ Лит. газета, 1936, 24 мая.

тонов, — Иван Васильевич стремился давать в своих книгах широкую обобщающую картину жизни нашего народа. Страстный патриот, Иван Васильевич не уставал доказывать в своих романах и повестях самобытность и неисчерпаемую мощь русского народа, народо-созидателя, народа-творца, беззаветно преданного Родине... Нет сомнения, читатель всегда будет с интересом читать романы Евдокимова о великих русских художниках, утвердивших в мире немеркнущую славу русского национального самобытного искусства»¹.

Не суждено было Ивану Евдокимову прочитать эти слова, узнать такую высокую оценку своего труда последних лет. Уже шла война — великая, отечественная, народная. И 28 августа 1941 года писатель, имея намерение вступить в народное ополчение, выехал из-под дачной Истры в Москву, но в дороге скончался.

Еще совсем недавно Евдокимов уверенной рукой мастера дописывал последние страницы книги о Лермонтове, дописывал с убеждением, что знать великие образы своего прошлого необходимо новому поколению советских людей. Принимаясь за эту работу, Иван Васильевич говорил: «Лермонтова люблю и напишу с восхищением, которое к нему ношу в своем сердце»².

Но вот давно больное, надорванное изнурительным трудом сердце писателя остановилось. Близкие и друзья, остававшиеся в столице, похоронили Ивана Васильевича Евдокимова на Новодевичьем кладбище...

С тех пор минуло более четырех десятилетий и шесть десятилетий прошло с того времени, когда писатель покинул родные края, продолжавшие питать его творчество живительными соками и добрыми традициями исконной древней Руси. Связь времен в его книгах не рвется, а утверждается днем сегодняшним.

Из моего окна видны живописные поля, близкие перелески и дальние леса до самого теряющегося меж ними Куркина, а за полями в туманной дымке — извивающаяся лента реки Вологды, на которой не одну раннюю зорю встретил автор повести «Сиверко». За рекой — Молочное, где столько было пережито писателем, где

¹ Лит. газета, 1941, 3 сент.

² ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, д. 132, л. 76об.

рождались замыслы его первых книг, а рядом истоженные им места — Ильинское, Марфино, Прибыtkово, Агафоново... Широкая полоса современного шоссе, теснимого лесами, вырывается к озеру Кубенскому, к деревням родового гнезда Ивана Евдокимова. Здесь еще в детстве встретил он не одно зеленое лето с ярким солнцем в синеве бездонного неба, слышал, как и я теперь, осенний клекот журавлей и думал, не заблудились ли они в бездорожном туманном небосводе... Верится, что творчество Ивана Евдокимова, не устававшего радоваться извечному весеннему обновлению жизни, будучи возвращенным читателю, не оставит его равнодушным.

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

I

Художники знают—писать портрет трудно. Даже тогда, когда это человек приметной, яркой, броской внешности— все равно его писать трудно. Надо уметь как-то проникнуть через эту внешность в своеобразный внутренний мир человека, чтобы увидеть и выразить в портрете сущность личности во многих ее гранях.

Совсем трудно писать портрет литератора словесными средствами. Писатель никогда не бывает одинаковым. В разные периоды жизни и творчества он предстает то в ярком цветении, то в мучительных исканиях и даже неудачах, то в обретенном зрелом опыте, несущем многие оттенки. Есть и еще немало особенностей его облика.

Писать портрет Коничева трудно во всех отношениях. Его поиски самого себя, своего необщего выражения писательского лица слишком, быть может, затянулись, путь его к лучшим произведениям был совсем нелегким и, когда он, кажется, начал выходить на свою, пробитую немалым трудом дорогу, она оказалась совсем короткой, исходом жизни.

Друзья дяди Кости — так любовно величали Константина Ивановича Коничева уже в послевоенные годы — воспринимали его как самую жизнь во всей ее не такой уж бесхитростной непосредственности и неподдельности, со всеми ее противоречиями и острыми углами. Дядя Костя был с нами в повседневности быта и, казалось, — так будет всегда. Даже самые близкие друзья воспринимали его с тех сторон, которыми он сам поворачивался к людям. Нередко виделось в нем то, что хотелось видеть. И теперь трудно извлечь дядю Костю, созданного нами и им самим, из той же повседневности и, поднявшись над всем этим, объективно оценить его как *народный* характер, как личность, выбившуюся из недр народных и стремившуюся выразить и в чем-то безусловно выразившую существенные стороны народной жизни на ее крутом революционном повороте.

С этим бывалым, житейским мудрым человеком пережито немало ярких событий нашего времени с его стремительными переменами и социальными обновлениями. Наши встречи были в суете будней, может быть, не та-

кими частыми, но всегда сопричастными времени и памятными размышлениями, возникавшими в динамике жизни. Только теперь начинаешь видеть, что время это отразилось и в книгах Константина Коничева, пусть и не так ярко, как ему самому хотелось, но правдиво и художественно убедительно.

Сам писатель радовался, когда правда жизни вливалась в его книги: «Однако *всю* правду, в ее обнаженном, непричесанном виде, кто из авторов втискивал в книжные рамки? Приходилось отбирать зерно и выбрасывать мякину. Если же вместе с мякиной отвеивались в сторону чистые зерна правды, в этом бывал повинен не только автор... Жизнь предельно коротка, поспешна, с преткновениями и оврагами, о которых мы нередко забываем и ходим, спотыкаясь и падая, и снова подымаясь, и снова вперед. Но и то надо сказать, что легче подниматься на ноги упавши с малой высоты... Знаю, что каждому, кто называется писателем, полагается иметь талант или хотя бы творческое дарование. И горько сознавать, когда этих необходимых качеств мало... В утешение себе и в назидание другим могу сказать, что и таланта будет недостаточно, если нет к нему приправы из умения, знания жизни, книжного знания и *трудолюбия*»¹.

Имя автора этих суровых по отношению к себе и во многом справедливых строк, написанных уже на исходе жизни и в чем-то определявших его писательский облик, впервые услышал я вскоре после войны, когда знакомился с молодыми вологодскими литераторами. Константин Иванович жил и работал тогда в Архангельске, но частенько наведывался в родные края. Литературная молодежь Вологды говорила о нем с уважением и любовью:

— Уж он-то знает наш Север. Дядя Костя расскажет тебе обо всем да еще с шуткой-прибауткой. И в самые заповедные места свезет, и за рыжиками, и на рыбалку, и знающих людей укажет!

И вот он стоит передо мною, жмет руку, задерживает ее и откровенно рассматривает меня озорными, с хитринкой, глазами, расспрашивает, выпытывает то, что не сразу и не всякому поведаешь, и радуется, когда узнает, что пути наши почти пересекались в дни тяжких

¹ Коничев К. Кое-что о себе. 14 октября 1968. Неопубликованная автобиография из собрания В. В. Гуры.

военных испытаний. И сам он «раскрывался» не сразу, хотя с людьми разной среды сходилась легко и просто, но свое сокровенное прятал глубоко и заветными думами делился не со всяким встречным-поперечным.

В неописуемых выдумках, в почти детских проказах этот человек оказывался воистину неистощимым. Прибаутками, шутками, бывальщинами и небылями был он начинен до отказа. Они сыпались из него и к случаю, и просто так — одна за другой. Иные из них, кажется, он только что сочинил, но выдает за давнишние и убеждает, что здесь — правда чистейшей пробы.

Густо окая, нараспев, рассказывал он о своей «вотчине-Вологодчине»: то лирически мягко, с роздумью, вспоминал о батрацкой жизни на Устье-Кубенье, о друзьях-писателях двадцатых годов, то сыпал частушками, рифмованными присказками, которых у него в запасе «под завязку два мешка», то хитроумно, с перчинкой плел бухтину о похождениях в коллективизацию какого-нибудь вологодского деда Щукаря.

А вот как рисует облик своего давнего знакомца и товарища поэт Леонид Мартынов:

«Умно-внимательный ко всему происходящему, остроумный, чуждый каких-либо сентиментов, добродушно насмешливый вспоминается мне мой друг Костя Коничев. Он, прошедший нелегкий путь жизни от своего кубенно-озерского крестьянского очага до чертога муз, он, побывавший во многих житейских переплетах, был оптимистом, любил пошутить и не отказывал себе в праве осмеять те или иные прискорбные заблуждения человеческие, будь то, скажем, нигилистическое отношение к памятникам былого, или, наоборот, чрезмерное пристрастие к старинным предметам культа, истинную ценность которых он, конечно, понимал и глубже и органичней, чем их поклонники-фетишисты. И вообще, что касается его юмора, то было в нем, я бы сказал, нечто глубинно-фольклорное, что-то от доброго молодца новгородских времен»¹.

Подвижный и энергичный, как говорят, легкий на подъем, полный жажды все знать, особенно о родном Севере — таким входил дядя Костя в жизнь тех, с кем потом общался и был связан узами дружбы многие го-

¹ Мартынов Л. Хороший литератор и человек. — Красный Север, 1974, 26 февр.

ды. Совершенно неожиданно он мог появиться в вологодских краях только потому, что кто-то из друзей сообщал: в глухой лесной деревушке у какой-то ветхой старухи видели старинную рукописную книгу или где-то откопали горшок каких-то допотопных монет. И вот дядя Костя позвякивает старинной медью, разворачивает свитки, восхищается древнерусскими лубками, увлеченно рассказывает, делится новыми замыслами.

Совсем недавно, кажется, была от него весточка из Ленинграда, а через несколько дней является и сам он, полный впечатлений от встречи с череповецкими металлургами. «По пути», оказывается, заворачивал еще и в Ферапонтово, чтобы поглядеть на фрески Дионисия. Назавтра уже беседует с вологжанами, читает землякам свои новые страницы, советуется, выпытывает что-то...

Через некоторое время идут от него пестрые открытки откуда-нибудь из Египта или Сирии, из Ливана или из Греции, из Парижа или Праги, а в шутейном послании сообщается, скажем, так: «Был в Афинах, Дельфах, Коринфе, Спарте, остальное покажу на карте. Поездой предоволен, но рад, что плетусь в Ленинград». А потом приходит книга «По дорогам Эллады» с этой самой обещанной картой поездок по Греции и с напоминанием о том, что ее автор смолоду не боялся шататься по чужим деревням...

Самым, пожалуй, впечатляющим оказалось путешествие в экваториальную Африку — в Нигер, Того, Верхнюю Вольту, Дагомею, Гобон. В книге «Там, где рвут оковы рабства» писатель особенно тепло рассказывал о встрече с Альбертом Швейцером. Не забыл своего русского гостя и сам знаменитый доктор и ученый, писавший в марте 1962 года в Россию: «Передайте господину Коничеву, что я тронут приветствием, которое он мне прислал и на которое я отвечаю искренним приветствием. Мы сохранили добрые воспоминания о нем»¹.

И вновь собирается Константин Иванович в дорогу, и опять ждет своего хозяина тихая квартирка на Дворцовой набережной в Ленинграде...

На столе писателя — величественная фигура Петра Первого работы Павла Антокольского, кабинетная модель памятника в Архангельске, кипы писем от друзей,

¹ Альберт Швейцер — великий гуманист XX века. М.: Наука, 1970, с. 231.

читателей, собратьев по перу; над столом — вологодские пейзажи; в шкафах — книги редкие, рукописные сборники, собрания фольклористов и этнографов. И все это о Севере, о прошлом и настоящем родного писателя края, с которым связана вся жизнь, почти каждая строка в его писаниях. А писал дядя Костя много, иногда даже спешил, но всегда оставался верен жизни, неизменно обращаясь в своей работе к судьбе родной ему северной деревни. Именно это отмечал прежде всего Михаил Дудин в творчестве Константина Коничева: «Он оставил добрые книги о добрых людях своей Вологодчины, своего Севера, они будут жить долго, пока живет его народ, пытливый и талантливый, в который он верил, которому служил всей своей жизнью»¹.

II

Дом за домом таяла и еще при жизни писателя исчезла деревушка Поповская, что стояла когда-то недалеко от Устья-Кубенского. В этой деревне 25 февраля 1904 года родился Константин Иванович Коничев. Здесь промелькнуло его невеселое детство, отсюда черпались первые представления о жизни, о человеческих отношениях. Родная Попиха прошла через его грустные воспоминания, через рассказы о молодости, через биографические повествования.

Семья Коничевых жила бедно, перебиваясь с хлеба на воду. Впрочем, дадим слово самому писателю. В той же автобиографии он достаточно ярко и правдиво рассказывает кое-что о себе:

«Фамилия наша не знатная. Предки были бедны, но жизнеспособны. Прадед мой Кондратий, по-уличному — Коняха, продержался на земле около ста лет. Дед мой Александр Коняхин жил не менее. Его сыновья стали называться «Коняхины дети», затем писались Конинными. Щедрая плодовитостью моя бабка Александра Конина рожала детей погодков девятнадцать раз. Не могу знать, сколько лет прожил бы мой батько — тятя Иван Александрович, если бы осенью 1910 года он не поспешил умереть после сильной смертельной драки. Моя мать Мария Петровна умерла годом раньше отца, а мачеха,

¹ Дудин М. Служа всей жизнью. — Красный Север, 1974, 26 февр.

овдовев, сбежала замуж, оставив меня на попечение общества и опекуна...

Помню себя пятилетним на похоронах матери. Отец утирает слезы, причитает тетка Клавдия. Я не плачу. У меня полные карманы пряников; кто-то дал, жалеючи сироту. Чтобы вызвать и у меня слезы, тетка проревела:

Ой ты, Марьюшка, горемычная,
Закатилась ты, ясно солнышко,
Да возьми-ка с собой сиротинушку...
Не оставь его злой мачехе,
Чужим людям неласковым...

При этих словах Клавдия столкнула меня в наполовину засыпанную могилу. Тогда заревел и я. Как не зареветь. Такого испуга ни разу, никогда в жизни мне переживать не приходилось. Кто-то спрыгнул в могилу, взял меня, выставил на край. И тут я скоро успокоился, ибо мой отец, по достоинству, железной лопатой плашмя лупил по спине кривую тетку.

С похорон отец вернулся пьяный, но невеселый. Я щедро угощал пряниками ребятишек. Колька Травничек благодарно мне сказал:

— Приходи, Костюха, и мою маму тятя уколотит, я тебе тоже пряников дам...

Таково мое не очень-то радостное детство. Потом не стало у меня ни отца, ни даже мачехи... Впрочем, в «Деревенской повести» все то, что касается Терешки Чеботарева, имеет прямое отношение к моей биографии...

Хмурой ненастной осенью 1911 года скряга-опекун, к которому сельский сход определил осиротевшего мальчика «вплоть до возрастных лет», скрепя сердце, отвел нахлебника в Коровинскую церковноприходскую школу, а вскоре и за верстак посадил, стал учить сапожному ремеслу. После окончания школы Костя батрачил на полях, на пустошах, на гумнах, в пожнях на покосах, рыбачил в Пучкасах, драл корье для кожевников, рубил лес, молотил, косил, навоз возил, сапоги шил, изгороди ставил, — одним словом, испробовал всякие дела крестьянские. Смысленый, быстро взрослевший юноша рано столкнулся с жестокостью, с безрадостным, исковерканным нищетой деревенским бытом и, можно сказать, на себе познал жалкое существование совсем обнищавшего вологодского мужика. Может быть, поэтому он никогда не идеализировал крестьянскую жизнь...

Весть о великих событиях в Петрограде докатилась глубокой осенью 1917 года и до деревеньки Поповской. Знаменитые ленинские декреты о земле, о мире взволновали крестьян. «Имя Ленина прогремело, в самых отдаленных глухих углах. Оно появилось, как яркий луч надежды, как знамя победное всколыхнулось над массами народными»¹.

Солдаты возвращались с фронтов мировой войны в родные вологодские деревни, устанавливали свою Советскую власть. Но вскоре снова наступили тревожные события. Эсеры подняли восстание в Ярославле. Банды зеленых появились в грязовецких и шекснинских лесах. В Архангельске высадились английские и американские войска и двинулись на Вологду.

Коничев в эти годы борется с кулаками, выявляет у них для нужд фронта излишки хлеба, работает в комбедо, тачает сапоги для бойцов Северного фронта. Зимой 1920 года он добровольцем уходит в Красную Армию, служит в 34-й кадриковской роте.

После того как красные войска сбросили в море англо-американских захватчиков, Коничев возвращается в Устье-Кубенское и снова садится за сапожный верстак. Сняв по вечерам пропитанный дегтем фартук, он пробует писать стихи — лирические и пафосные, частушки и раешники, но обличительные заметки получались лучше всего. В это время и началась его селькоровская работа на страницах губернской газеты «Красный Север», во главе которой стояли коммунисты Н. В. Елизаров и А. А. Субботин.

Молодой селькор обличал кулаков, спекулянтов, саmogонщиков, бичевал бюрократов и взяточников, вел антирелигиозную пропаганду. Он писал и об устройстве дорог, и об организации пожарных дружин в деревне, о пользе машин в сельском хозяйстве и о сапожных промыслах в Устьянской волости.

Все чаще заглядывали к селькору крестьяне из соседних деревень, засиживались у него за полночь, делились своими горестями и неполадками, просили помощи. А через несколько дней в губернской газете появлялась заметка усть-кубенского селькора и была она — прямо в цель.

¹ Коничев К. Деревенская повесть. Вологда: Облиздат, 1950, с. 194.

Вскоре селькор вступил в комсомол (1923), стал избачом в Устье-Кубенском, перед ним открылись двери губернской совпартшколы. В двадцатые годы коммунист Коничев отдавал все свои силы строительству новой жизни на Севере. В кабинете писателя долгие годы висела карта Вологодской области, испещренная красными кружочками. Ими отмечались места, где побывал он в то горячее время. Водоливом на баржах прошел он всю Мариинскую систему до Вытегры, агитировал крестьян вологодских деревень, забирался в глухие домшинские и чебсарские леса. Судьба бросала его из Вологды в Сыктывкар, из Сыктывкара в Архангельск...

Бурные события тех лет, яркие судьбы людей, с которыми шел будущий писатель по целине новой жизни, провели глубокую борозду и в его сердце. Это было время рождения Константина Коничева как писателя, время появления первых его очерков и рассказов, возникновения больших повествовательных замыслов. И на всем этом лежала отчетливая печать автобиографизма, обращения к реальным ситуациям и конфликтам, к лично пережитым событиям, к судьбам близких людей.

Однажды, в сентябре 1925 года, как вспоминал вологодский поэт Борис Непейн, в гостинице «Золотой якорь» на заседании группы пролетарских писателей «Борьба» впервые появился деревенского вида паренек. В журналистских кругах его уже знали как селькора из Устья. Вскоре он принес на обсуждение свою бывальщину «Дунькина расправа», а затем и рассказ «Комбед Турка».

«Героем рассказа был реально существовавший человек Алексей Паничев, по прозвищу Турка. Его избрали председателем деревенского комитета бедноты. А так как в грамоте он не был искушен, то определили секретарем к нему бойкого паренька Костюньку Цыганкова. (Так автор назвал себя!). Рассказ этот, написанный правдиво, живым народным языком, с острыми словцами и меткими выражениями, оказался большой удачей»¹.

И в самом деле, образ бывалого человека, крестьянина и солдата Алексея Паничева, стоявшего у самых истоков борьбы за новую жизнь, не раз с тех пор появлялся в окружении таких же вологодских мужиков, как

¹ Непейн Б. От деревенских троп. — Красный Север, 1974, 26 февр.

герой рассказов-былей и бывальщин Коничева. Он прошел через всю первую книгу «Деревенской повести», не был забыт и в «Повести о Верещагине», не однажды упоминается он и в новеллах последней книги писателя «Из моей копилки».

Рассказом «Комбед Турка» открыл Коничев свою первую, вышедшую в Вологде совсем тоненькую книжицу литературно бесхитростных рассказов, в сущности, тех же бывальщин — «Тропы деревенские» (1929). Поначалу молодой литератор радовался выходу в свет этой книжки, но вскоре осудил ее слишком строго; «Троп» в ней никаких не было. А были задворки — теневые стороны деревни... Старшие товарищи заставили от нее «отмежеваться» или же скупить в киосках все экземпляры и сжечь. Во избежание недоразумений, я сделал и то и другое¹.

И все-таки книжица эта была замечена на литературном небосклоне конца двадцатых годов, кануна бурных событий коллективизации в деревне. В очень еще несовершенных рассказах Коничева уже проглядывало то, что становилось характерной особенностью его как писателя — большая любовь к родному краю, к быту северян, к их острому живому слову. Любовь эту писатель пронес через личное участие в социалистическом строительстве северной деревни, через трудные свои искания как литератора в тридцатые годы.

Время это оказалось так стремительно, так насыщено переменами, участием в повседневных делах Северного края, что возможности полностью отдаться творческой работе, возникавшим творческим замыслам, просто не было. Даже в Литературном институте пришлось учиться только заочно. Правда, именно в эти годы Коничеву довелось познакомиться с крупнейшими писателями — А. Серафимовичем, В. Вересаевым, А. Толстым, М. Пришвиным, Л. Леоновым, слушать их выступления, постигать художественный опыт, а с некоторыми из них завязывались и дружеские отношения.

В середине тридцатых годов выходят в свет отдельными изданиями повести Константина Коничева «Лесная быль» (1934), «По следам молодости» (1936), очерки «Боевые дни» (1938), «За Родину» (1939). Многим из них не суждено было жить долгой самостоятельной

¹ Коничев К. Кое-что о себе.

жизнью — сказывалась газетная поспешность, селькоровская «скоропись». Но книги эти стали основой будущих работ писателя. Из них выростали и «Деревенская повесть» и «К северу от Вологды». В предвоенные годы начата была и «Повесть о Федоте Шубине», открывшая цикл историко-биографических повестований Коничева о талантливых людях Севера.

Отечественная война оборвала творческие искания писателя: Коничев ушел защищать Родину. Случилось так, что его фронтовая жизнь началась в войсках, оборонявших Вологодскую область. Здесь произошло и первое боевое крещение. С ротой дивизионных разведчиков капитан Коничев ходил в тыл врага, а потом участвовал в боях почти на всех направлениях Карельского фронта.

После разгрома белофиннов и немецких фашистов Коничев оказался на Дальнем Востоке и воевал еще против японских милитаристов в Маньчжурии и Корее. События этих лет отражены в его книге «От Карелии до Кореи» (1948). Записки офицера Коничева занимают особое место среди книг об Отечественной войне, в них бережно сохранены солдатские были, живое народное слово.

Вернувшись после войны к литературному труду, писатель много сил отдал возрождению в Архангельске едва ли не единственной тогда на Севере писательской организации. Он встал во главе альманаха «Север», был главным редактором книжного издательства в Архангельске, а затем и главным редактором Лениздата. Приходом в литературу ему обязаны многие архангелогородские литераторы. Частым и желанным гостем был Коничев в эти годы и у вологжан — вел семинары молодых писателей, поддерживал их добрым словом, помогал рождению новых книг, был их первым критиком.

Напряженно работал Константин Иванович и над своими рукописями, вовремя завершить которые помешала война. Как-то еще перед войной прочитал он А. С. Серафимовичу несколько глав «Деревенской повести». Большой художник одобрительно отозвался о начатой работе, отметил сочность написанных страниц, знание сельской жизни. «Пиши, — напутствовал Коничева старейший писатель, — получится хорошая документальная повесть. Это же история вологодской деревни. Люди прочтут с интересом».

«Деревенская повесть» со временем выросла в двухтомный бытовой роман о нищенской доле крестьянина, жившего к северу от Вологды. Книга написана в духе лучших реалистических традиций русской литературы с ее острым интересом к судьбам крестьянства. Писатель страстен, публицистичен там, где он четко раскрывает классовое размежевание сил в деревне, социальные противоречия, рост революционных настроений.

Судьбы северного села предстают в конкретных человеческих судьбах. Герои Коничева, сталкиваясь со старым миром, тянутся к правде, ищут ее. Это — пастух Николай Копытин, сапожник Алексей Турка, забитый крестьянин Василий Рассоха, зимогор Додон.

Живой, психологически убеждающий образ Алексея Турки особенно ярко передает рост сознания бедноты в условиях острой классовой борьбы в деревне. Протест против кулацкой кабалы, тяга к знаниям, к правде ведут этого незаурядного человека верной дорогой. После революции он осознает свою силу, становится во главе комбеда. С жадностью слушает ленинскую речь на съезде бедноты в Москве, несет его мысли в глухую северную деревню, весь отдаваясь ее переустройству.

Лучшие страницы «Деревенской повести» посвящены горькому детству сироты Терентия Чеботарева, формированию его личности, рождению у юноши-батрака осознанного протеста против старого мира. Автор сумел нарисовать не только образ батрацкого мальчика, но и полнокровный характер сельского коммуниста, выросшего из него. В судьбе бедняцкого сына Терентия Чеботарева — много от биографии самого автора. К. Коничев, ничего нарочито не выдумывая, рассказывает о себе, не скрывая этого, хотя он и не склонен отождествлять Терентия Чеботарева с собой. Нелегкой жизненной дорогой шел писатель, преодолевая на своем пути все то, что пришлось преодолеть и его героям.

«Терентий Чеботарев — отчасти мой двойник, — объяснял Коничев особенности своего повествования. — Но только отчасти. Темы вологодские мне очень близки, вжился я в них. До того вжился, что, например, в той же «Деревенской повести» мало чего пришлось домысливать. Даже имена и фамилии моих персонажей остались без изменений».

В «Деревенской повести» Константин Коничев впервые предстал как талантливый бытописатель северной

деревни. Взятые из жизни бытовые сцены и картины этнографически точны и одновременно самобытны. Труднее давалось мастерство художественного синтеза. Писатель не всегда поднимался над фактами личной жизни, нередко излишне увлекался случайными бытовыми деталями. Краски его блекли там, где он отходил от биографической канвы и делал попытку нарисовать широкие картины борьбы за Советскую власть на Севере. Художественная фантазия особенно часто отказывала автору во второй книге «Деревенской повести».

Еще до войны Константин Коницев выпустил сборник песен, пословиц и загадок Севера, обнаружив большое знание народной мудрости и поэзии. Автор «Деревенской повести» не только знаток и исследователь устной поэзии Севера, но и ее активный носитель. Он рос в самой гуще народной словесности. Отсюда — и неповторимая народная основа, и живые северные краски его «Деревенской повести». Песенные страницы в ней, местные народные реченья, остроумные присловья, прибаутки, до слез смешные сцены в соседстве с горестно драматическими ситуациями — не искусственно привнесены в повествование, а органически присущи ему. Автор вырос на этом материале, выстрадал его ценой своего жизненного опыта.

Народные предания и поверья служили «ценной питательной подкормкой» и для других книг Коницева. Любовь к Северу, знание его истории, тяга к бытописанию сказались и в повестях-былях «В местах отдаленных» (1954), «К северу от Вологды» (1954), которые вместе с «Деревенской повестью» составляют своеобразный цикл книг о прошлом близкого сердцу писателя родного края и его людей.

Не один заход к изображению судеб северного крестьянства в советское время делал писатель, протягивая незримые повествовательные нити от «Деревенской повести» к повести «В году тридцатом», посвященной изображению коллективизации деревни. Развернутая здесь идея «от земли взятые» как бы предваряла повествование о рождении нового рабочего города — «На берегу небывалого моря». Работе над этой рукописью писатель отдал много сил в конце своей жизни, но удача на этот раз не во всем сопутствовала ему...

Константину Ивановичу всегда были по душе характеры пытливых, выносливых, не склоняющихся ни перед

какими невзгодами северян, людей доброй души и больших дел. Еще в очерковой книге «Люди больших дел» (1949) он создал портреты выдающихся деятелей Севера — мореходов, кораблестроителей, покорителей Арктики, людей науки и искусства. Русский национальный гений Михаил Ломоносов и его земляк, скульптор-академик Федот Шубин, знаменитые землепроходцы Семен Дежнев, Владимир Атласов, Ерофей Хабаров и Александр Баранов, капитан ледохода «Седов» Владимир Воронин — все это «люди больших дел», сыны сурового и прекрасного Русского Севера.

От очерков «Люди больших дел» К. Коничев шел к историко-биографическим повестям о судьбах выдающихся русских людей, связанных с Севером. Одна за другой выходят из-под его пера «Повесть о Федоте Шубине» (1951), «Повесть о Верещагине» (1956), «Повесть о Воронихине» (1959), «Русский самородок. Повесть о Сытине» (1966).

И в этих книгах К. Коничев с присущей ему настойчивостью и постоянством стремится проникнуть в глубины характера русского человека-северянина, пытливого, гордого, настойчивого в утверждении своего права обогатить русскую нацию.

Скульптор Шубин, зодчий Воронихин, художник Верещагин, издатель Сытин стали главными героями биографических повестей не случайно. Им, ярким выразителям исконной талантливости людей Севера, мастерам искусства, писатель отдал всю любовь, весь жар своего сердца. Он и родился на Севере, и служил ему своим пером честно, до конца дней своих.

Даровитый холмогорский косторез, беглый беспаспортный крестьянин Федот Шубин, пользуясь покровительством великого земляка Ломоносова, получил образование в Академии художеств, учился у лучших мастеров ваяния в Париже и Риме. Пока нерасторопная архангельская губернская канцелярия разыскивала «беглого» черносошного крестьянина, талантливый помор стал знаменитым скульптором, членом Петербургской и Болонской академий. Работы первого российского ваятеля, выходца из народных низов, и теперь украшают наши отечественные хранилища русского искусства.

Другой герой Коничева — крепостной Андрей Воронихин. Писатель показывает, как бывший иконописец вырастает в прославленного зодчего, построившего зна-

менитый Казанский собор в Петербурге. Истоки мастерства сынов Севера — в связях с русским народным искусством, богатые реалистические традиции которого придавали их творчеству неповторимую национальную самобытность.

Счастье художника — в служении своему народу, и Коничев чутко, с большим тактом прослеживает этапы становления Шубина и Воронихина как выдающихся сынов своего времени и своего народа, как талантливых выразителей его чаяний в искусстве. Писатель не обходит сложные жизненные противоречия на пути своих героев к вершинам искусства, не идеализирует их биографии, а прослеживает трагические судьбы народных самородков в чуждой им обстановке придворного недоброжелательства и интриг.

Наиболее яркие страницы историко-биографических повестей Коничева о людях больших дел, людях русского искусства связаны с Севером, с его простыми тружениками и суровой неброской природой, которую писатель любит той же сыновней любовью, как и его герои. Завидное знание быта и нравов северяян, бережное отношение к их слову, понимание «крыльев души» народной, его чуткого сердца, тянувшегося ко всему прекрасному и рождавшего десятки великих мастеров, придает книгам Коничева неповторимое своеобразие.

В «Повести о Верещагине» писатель остается верен своим неизменным симпатиям и привязанностям к людям русского искусства. На этот раз он рисует колоритную фигуру еще одного северянина, выходца из Череповца, знаменитого русского художника, отважного солдата и путешественника В. В. Верещагина. Писатель тщательно выписывает сложный противоречивый характер художника-реалиста, большого патриота великой Отчизны, талантливого сына своего народа.

Глубокая сердечная признательность и любовь Коничева к замечательным деятелям Русского Севера, вышедшим из народа и служившим ему своим искусством, опирается на большое знание подлинных фактов, документальных материалов. Писатель проделал громадную работу исследователя, требовавшую длительных, терпеливых поисков. Он совершил не одно путешествие по следам своих героев, перевернул груды архивных материалов, свидетельств современников, исследований искусствоведов и историков. Но и этого было мало. Пи-

сатель должен был сердцем почувствовать, умом понять своего героя, пройти вместе с ним через все невзгоды жизни, чтобы отлить его образ в биографически цельной повести о нем и о его времени.

В историко-биографических повестях Константина Коничева о людях больших дел творческая фантазия художника несколько скована, историк иногда побеждает беллетриста. Писатель не дает простора авторскому домыслу, нередко перегружает повествование историческими и бытовыми описаниями. На первый план выходит познавательная ценность его книг, их патриотическое звучание.

Интерес к прошлому Русского Севера, к судьбам его выдающихся деятелей — это не только дань уважения талантливым народным самородкам, людям русского искусства, через века проложившим дорогу ко всему прекрасному в мире. В книгах Коничева вскрываются истоки нравственной силы, душевной красоты и жизнестойкости русского характера.

От повествования о выдающихся деятелях прошлого писатель свободно переходил к рассказам о прославленных людях наших дней и так же живо рисовал знатного мастера торпедного удара онежанина Александра Шабалина, героя гражданской войны Хаджи Мурата Дзарахова, пограничника-вологжанина Андрея Коробицына, героически погибшего при защите рубежей Родины, вологодскую свиначку Александру Люскову, ненца-художника Тыко Вылку. Писатель не проходил мимо тех, кто сегодня славился делом своим.

Нет, не иссякла красота души северян! Она и поныне жива в славных делах современников. Большие преобразования на Севере вдохновляли Коничева на новые книги.

В Череповце возводилась первая домна, и писатель нашел время оторваться от других своих дел, чтобы присутствовать при рождении металлургического гиганта. С тех пор он часто гостил у череповецких металлургов, месяцами жил среди них, писал повесть о современниках, о людях, преобразующих лик когда-то глухого края.

Когда мощные экскаваторы вгрызались в земли древнего Белозерья, чтобы проложить новый водный путь на месте отжившей Мариинской системы, Коничев не усидел за письменным столом. Не терпелось ему своими глазами увидеть тех людей, что несли новь его родным

краям, тех кто своими делами заслужил право стать героями очерков и повестей.

Как давний друг приходил писатель в избу колхозника, на квартиру рабочего, задушевно беседовал со своими героями где-нибудь под Тотьмой на Сухоне или у рыбацкого костра на родной Кубене. В этих душевных встречах он не только утолял свою любознательность, но и поддерживал людей добрым словом, уместной шуткой-прибауткой, веселым рассказом:

В творческой работе писателя никогда не было барьера между днем нынешним и днем вчерашним, не было и каких-то трудных переходов от прошлого, к современности. Он всегда остро чувствовал связь времен. Недаром эпитафией к своей книге «Люди больших дел» он поставил мудрые слова М. Горького, сказанные при завершении работы Первого съезда советских писателей: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего»¹.

В справедливости этих слов не раз убеждал читателя и Константин Коницев, остававшийся всегда верным изображению народной жизни, судеб северного крестьянства, его путей в революции и в строительстве социализма. Этим проблемам он подчинял и познание исторического прошлого своей Родины.

III

Вскоре после войны, занимаясь как депутат городского Совета делами краеведческого музея в Архангельске, Константин Коницев обнаружил хранившуюся в сырости, позеленевшую скульптуру Петра Первого работы Павла Антокольского. Пришлось немало сил потратить, чтобы памятник этот занял свое место на берегу Северной Двины. Кто знает, быть может, в это время и возник замысел большого повествования о роли Петра Первого в преобразовании Русского Севера.

В книге «Люди больших дел» (1949) юный Петр впервые стал героем Коницева. Приводятся здесь и знаменательные слова молодого царя из «Морского регламента» о трудных и для него поисках путей к морю: «Несколько лет исполнял я свою охоту на озере Пере-

¹ Горький М., т. 27, с. 342.

яславском, наконец оно стало для меня тесно; ездил я на Кубенское озеро: оно было слышком мелко. Тогда я решил видеть прямо море и просить позволения у матери съездить к Архангельску; многократно возбранила она мне столь опасный путь, но видя великое желание мое и неотменную охоту, нехотя согласилась, взяв с меня обещание в море не ходить, а посмотреть на него только с берега»¹.

В очерках Коничева о потомственных корабельщиках братьях Бажениных, о герое борьбы со шведами Иване Рябове, о сержанте Преображенского полка Михаиле Щепотеве Петр Первый еще не самый главный герой, но он уже начинает раскрываться во взаимоотношениях с людьми, сыгравшими важную роль в реализации его планов.

Во всяком случае в конце 1950 года Константин Иванович писал из Архангельска: «Тщательно изучается материал для исторической повести «Петр Первый на Севере». Для этой цели собрана большая документальная литература». Константин Иванович разыскивал петровские грамоты, собирал народные предания, а в частых поездках по Северу стремился своими глазами увидеть места, связанные с деятельностью Петра Первого.

В начале шестидесятых годов Коничев зачастил в Ялту. Очень уж нравилось ему работать там в Доме творчества. Не без ехидной по отношению к самому себе усмешки говаривал он, что чуть ли не в каждый заезд исписывал по две амбарные книги. Поначалу шли от него известия о работе над повестью «От земли взятые», там же завершал черновой вариант «Повести о Сытине», восхищаясь талантливостью издателя-самородка, полвека трудившегося на благо народного просвещения. Из той же Ялты Константин Иванович запрашивал в апреле 1964 года, где выбрали место для новой гостиницы в Вологде, быстро и хорошо ли строят ее: «Не стану ездить в Дома творчества, а в новую вологодскую гостиницу — писать «Петр Первый на Севере».

Однако не суждено было Константину Ивановичу дописывать в родной Вологде эту самую близкую и самую трудную для него книгу. Поначалу работа никак

¹ Коничев К. Люди больших дел. Архангельск: Облиздат, 1949, с. 26.

не налаживалась, шла рывками, писалась отдельными кусками, а потом целое пятилетие писатель трудился сверх всяких сил, не давая себе отдыха. По коротким восточкам от него, по отдельным фразам в письмах можно было судить о высоком напряжении в его работе: «Готовлюсь шибко к «Петру Первому на Севере», «Сижу в Комарове с вечера и до утра и днем без передышки строчу про «Первого Петра» куски для новой книжки», «Сижу и «активно дую» «Петра на Севере», «Мало поделано, но «Петра» закругляю!» и т. п. И только в марте 1968 года «Петр Первый на Севере» был в основном завершен.

В традиционном, казалось бы, для себя жанре Кониичев создавал нетрадиционное «повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере», писанное «по документам и преданиям». Его повесть своеобразна не только интонацией достоверного авторского рассказа, хронологически последовательным изображением важнейших, связанных с биографией Петра судеб близких ему людей из народа и сподвижников на Севере. Повествование открывается вольготно и широкоохватно выписанными бытовыми сценами приезда молодого царя в Вологду, на Кубенское озеро. Писатель исподволь вводит читателя в атмосферу начала Северной войны, поисков путей к морскому могуществу России.

Повествование вместе с тем дробится на эпизоды-фрагменты, состоит как бы из отдельных рассказов. Мало того, писатель нарочито подчеркивал чуть ли не краеведческий характер своих фрагментов и эпизодов («Первый приезд Петра в Вологду и на Кубенское озеро», «Через Вологду к морю Белому», «Второй приезд Петра в Архангельск», «Забытый приезд Петра Первого в Вологду», «Кто был Непея?»).

Отдав немало сил уже сложившемуся в его творческой практике жанру историко-биографической повести, Кониичев и теперь занимается привычным бытописанием, поисками свежих деталей, ярких красок, связей между характером героя и конкретными временными обстоятельствами.

Художественная фантазия Кониичева и на этот раз опирается на живой исторический материал, но теперь, можно сказать, буйствует; повествование то обретает лирический характер и окрашивается проникновенной любовью автора к родному Северу, к близким его сердцу

людям, то оборачивается родственной народной легенде шуткой, проникается юмористическими интонациями, то достигает публицистического накала, складывается в страстный, полемический авторский монолог. Все эти разнородные повествовательные пласты пронизываются идеей исторических судеб России, убежденностью автора в громадной роли Русского Севера в этих судьбах. Кони-чев еще и еще раз заставляет своего героя возвращаться на Север и осознать, что «именно здесь бьется морское сердце России, что отсюда надо начинать великую бата-лию со шведами за выход к Балтийскому морю»¹.

Писатель снова и настойчиво утверждает свои взгля-ды на историческое прошлое, свои уже сложившиеся принципы его изображения. Недаром еще до войны он вслушивался в рассказы большого мастера историческо-го романа Алексея Толстого и добром вспоминал потом его наставления: «Содержание исторического романа включает в себя не только голые события и факты, но и опыт автора, его умение с современных позиций подсту-пить к созданию произведения»².

Еще в очерках о людях больших дел, в биографи-ческих повестях о деятелях русского искусства Кони-чев в осмыслении исторических событий, в обрисовке геро-ев добивался сочетания реальной достоверности с ак-тивно выраженной авторской позицией как позицией на-шего современника. Писателю важнее всего было пока-зать широкие, необъятные, вольные пространства помор-ского Севера, его талантливых, бывалых, мужественных людей — ремесленников, мореходов, кораблестроителей, на которых и опирался Петр в своих помыслах и делах.

Однако такой взгляд писателя подвергается сомне-нию, как это ни странно, тут же, в предисловии к его книге. «Петр Первый на Севере»... Заслуживает ли вни-мания эта тема? В какой мере Север связан с именем и деятельностью преобразователя России — Петра I?.. — с явной неуверенностью в закономерности постановки этих вопросов спрашивает проф. В. В. Мавродин и тут же опять-таки как-то неуверенно отвечает. — Ведь, каза-лось бы, все помыслы Петра, все его действия были

¹ Костылев В. К. Кони-чев. Петр Первый на Севере. — Ок-тябрь, 1973, № 11, с. 223.

² Кони-чев К. Из беседы Алексея Толстого. — Литературная: Вологда, 1958, кн. 4, с. 302.

направлены на борьбу за утверждение на берегах Балтийского моря, чего Россия и добилаь в итоге победоносного завершения Северной войны...»¹

После этого историк начинает зачем-то убеждать читателя, что автор «повествования» будто бы ослеплен большой любовью к родному Северу, а потому и не увидел, что Петр Первый «нанес удар Северу», подорвал его значение. Причем возражение далее строится на сомнительной игре слов, нелепом «образном соотношении» — «окна в Европу» на берегах Балтики и «форточки» на берегах Белого моря...

Коничева интересуется не столько Белое море как первые по-настоящему широкие ворота в Европу, сколько всеобъемлющая преобразовательская деятельность его героя на Севере — строительство «государевой дороги» от пустынных берегов Беломорья до Повенца, освоение Онежского и Ладожского озер, Свирь-реки, возвращение России крепости Орешек, освобождение Прибалтики и закладка новой столицы, сооружение верфей в Лодейном Поле, канатных фабрик в Вологде, Петровского завода на Онежском озере, олонецких и повенецких горных заводов, первые попытки соединить Волгу с Балтикой и сооружение Ладожского канала, интерес к богатствам недр северных, и, наконец, развитие торговли и культуры всего необъятного края.

Как и Алексей Толстой, автор книги «Петр Первый на Севере» опирается на пушкинскую концепцию изображения своего героя — «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник». Писатель изображает своего героя в разных жизненных ситуациях, в общении с разными людьми, в активной деятельности, в гневе и радости, в мудром познании и постоянном труде. Наконец, Коничев впервые так широко и целеустремленно опирается на оценки своего героя, заложенные в устной народной поэзии, в сказках и преданиях, сказаниях и песнях, в которых Петр при всей заметной идеализации предстает как сын своего времени в противоречиях, в одновременном осознании его исторической значимости и суровой доли народа.

¹ Мавродин В. В. «Повествование» К. Коничева. — В кн.: Коничев К. Петр Первый на Севере. Л.: Лениздат, 1973, с. 3.

В повествовании К. Коничева Петр Первый не одинок. Чаще всего он изображен в окружении сподвижников и единомышленников, сановитых лиц и простых людей из народа. Живописна, например, картина приезда в Вологду летом 1702 года великого государя и его юного наследника с громадной свитой в более чем сто знатных персон, с большой охраной и многочисленными слугами. Кого только не называет писатель в этой свите Петра, задумавшего большое дело на Севере. Здесь и Андрей Голицын, и Михайло Ромодановский, и Федор и Гавриил Головины, и Никита Зотов, и Юрий Трубецкой, и Кирилл Нарышкин, и Юрий Шаховской... К царевичу Алексею, кроме ближнего человека Александра Меншикова, приставлено более десятка одних князей: Жировой-Засекин, Кольцов-Массальский, Долгорукий, Троекуров, Урусов, Дашков, Барятинский, Чаадаев да еще лекари, учителя, толмачи, карлики для утех...

Широко отпраздновал Петр свои именины в архиерейских палатах. На виду у вологодского люда разъезжал потом с юным, всеми обласканным наследником по тихой и полноводной в тот год реке Вологде. Такого еще никогда не было видано на ее берегах. «Вологжанам, и солдатам-преображенцам, и свите царской, — пишет Коничев, — казалось дивом дивным, как под колокольный звон и пушечный рев вниз по течению реки выстроилась от Соборной горки до самого села Турундаева флотилия более трехсот судов и под крики «ура», при дружном взмахе гребных весел тронулась в дальний путь».

Среди героев повествования — вологодские и архангелогородские воеводы, архиепископы, архимандриты, стольники, купцы, думные дьяки... Более тщательно выписываются те, кто поддерживал Петра и активно участвовал в его преобразованиях — архиепископ холмогорский Афанасий, воевода архангельский Федор Апраксин, кораблестроители братья Баженины, великоустюгский торговый гость Саватеев, проложивший торговый путь в Китай, вологодский епископ Павел, приближенный к царскому дому, а позже — глава Александро-Невской лавры, архангелогородский стольник Сильвестр Иевлев, сольвычегодский живописец Степан Нарыков, вологодский бургомистр Сидор Овсянников, архангельский мещанин Михайло Аврамов, знаменитый впоследствии книжник-издатель...

С особым старанием и тщательностью выписал Кони́чев образы северных крестьян, кубенских рыбаков и архангельских поморов, мореходов, мастеровых людей, ремесленников, плотников, кузнецов. Истинными героями книги становятся лоцман Антипа Тимофеев, мореход Иван Рябов, совершивший сусанинский подвиг в борьбе со шведами, крестьянин Степан Юринский, строитель «государевой дороги» сержант Михайло Щепотев, смысленный вологодский паренек, писец вологодской канцелярии Алексей Макаров, ставший «кабинет-секретарем его величества», ближайшим советником и историком Петра...

Говоря о значении книги Кони́чева, совсем не нужно ее переоценивать, проходить мимо фрагментарности повествования и перенасыщенности его фактами и деталями. Писатель не удержался от соблазна хотя бы только перечислить важнейшие, на его взгляд, события, хотя бы только назвать чем-то значительных людей, связанных с преобразованиями петровского времени. Этот пафос перечисления, описания подменяет порой образное воссоздание изображаемого времени и его героев. Зараженный этим пафосом писатель нагнетает события, а порой и трактует их как-то односторонне.

«Есть в повествовании, — отмечалось в одной из рецензий на книгу К. Кони́чева, — и субъективное толкование некоторых легенд и событий. Так, например, в новелле «Кижы» весьма произвольно трактуется вопрос о строительстве Преображенского собора в Кижях. Автор упоминает в повествовании о Покровской церкви на реке Вытегре, построенной в 1704—1708 годах крестьянами Вытегорского погоста, и о том, что Петр I был восхищен этой постройкой. Но главным строителем собора в Кижях автор, следуя легенде, все же называет заонежца Нестора. На самом деле именно плотники Вытегорского погоста, под руководством двух старых мастеров, талантливых архитекторов Невзорова и Буняка, поставили не только «Анхимовское чудо» — Покровскую, но и Преображенскую церковь в Заонежье. Об этом было известно давно и по документам архива Покровской церкви и по рассказам потомков строителей этой церкви»¹.

¹ Костылев В. К. Кони́чев. Петр Первый на Севере. — Октябрь, 1973, № 11, с. 224.

Повествование «Петр Первый на Севере» (1973) стало, можно сказать, заветной книгой писателя, но выхода ее в свет он не дождался, слишком долго его детище преодолевало издательские барьеры.

Не довелось писателю подержать в руках и последнюю свою книгу «Из моей копилки» (1971). Она создавалась уже в дни его болезни, писалась залпами и, несмотря на недуги, с азартом и удовольствием. Все уже было давно выношено, каждый рассказ ложился на бумагу почти без поправок. Писатель с великой радостью сообщал друзьям о хорошо начатой весной 1969 года работе по сооружению книги-копилки коротких записей, этюдов, воспоминаний и раздумий о своем прошлом. К концу года был завершен и один из последних рассказов книги — «В солдатах». Так случилось, что с изображения героя этого рассказа писатель и начинал свой путь в литературу и завершал его... На этот раз он написал «вечерний рассказ бывшего нижнего воинского чина» Алексея Турки, и возможность высказаться ему была предоставлена безраздельная.

В другом финальном этюде книги — «Все течет, все меняется» писатель размышляет о своей жизни: «На старости лет мне (да и не только мне) вспоминается давнее прошлое. Это прошлое навязчиво встает даже в сновидениях. Я часто вижу во сне Попиху, себя — юношей; живыми — всех давно умерших. Вижу село, ярмарки, крестные ходы, рыбную ловлю. Часто, особенно часто снились два речных омута на приозерной речке Каржице, там, где полвека назад всегда на мою долю выпадал удачный лов окуней, щук и ершей. Как хотелось, чтобы это повторилось еще хоть раз наяву...»

Преодолевая недуги и не чувствуя в себе прилива новых сил, писатель торопился закончить книгу. Задумал и даже начал писать повесть о Дионисии, но отложил ее. «А я еле-еле попыхиваю в Комарове, — писал он 15 октября 1969 года. — Чую, не те силы. В полтрети, не более. И, кажется, не разработаюсь. Темпы унылые, а темы захватывающие». В это время он с особой остротой скучал по родине, очень мечтал хотя бы еще раз увидеть ледоход на Кубене да посидеть на лужайке у Каржицы, чтобы она не снилась больше...

Память писателя в такие дни чаще всего обращалась к прошлому, к тем же родным полям, лесам и рекам. А память у дяди Кости была завидная и — все больше

убеждаюсь в этом — добрая память. Убеждался и тогда, когда читал присланную издательством рукопись «Из моей копилки», убеждаюсь и теперь, когда пишу эти строки с грустью и тоской по живому справедливому и щедрому в народной своей доброте человеку.

Многое из того, что вошло в книгу-копилку дяди Кости мне не раз доводилось слышать из уст самого автора. Он часами, ни разу не сбившись, мог читать разухабистые рифмованные притчи Демьяна Бедного, которые знал наизусть с дней гражданской войны и не раз пересказывал своим землякам, устьянским крестьянам. Как живописец, сочными резкими мазками, рисовал он картину выступления в Вологде Э. Багрицкого с чтением «Думы про Опанаса», рисовал так, что эта картина и сейчас стоит перед глазами, словно я присутствовал на чтении поэмы ее автором, видел синий рубец от шашки, пересекавший открытый лоб поэта, слышал те строки из «Думы», которых теперь не нахожу в ней.

Чаще всего добрая память писателя возвращалась ко времени его детства и юности. Об этом времени и тосковалось пуше всего да и перемены сегодняшние с высот молодости виделись острее. Тогда в детстве и юности все было первое и все заново — первая колыбельная песня про утку лесовую, первые лепестки-лепесточки, цветики-цветочки, сорванные материнской рукой, первый страх от церковно-сатанинского «страшного суда», первые радости узнавания жизни и первые сиротские слезы...

На всю жизнь нет ничего роднее деревеньки-родины, окруженной такими же, как она, близкими деревеньками Боровиково, Задорово, Шилово, Никола-Корень, Полустрово, Копылово, Беркаево, Тепловское, Кокоурово... Почти в каждой из них люди одной судьбы, а в своей деревеньке почти каждый — сосед, и его облик навечно врезался в память — старик Додыря, бобыль Пашка Петрушин, забитый крестьянин Василий Рассохин, пастух Николаха Копыто, совсем обнищавшие мужики Мишка Петух и Иван Гоголек, побирушка Маша Тропина и повитуха Марья Кулева, зимогоры Фанушко Бородатый, Шабрун, Егорко... Многие из них, названные здесь по-уличному, известны еще с «Деревенской повести».

Писатель всегда вспоминал времена своей молодости с какой-то тихой грустью, даже тогда, когда рассказы-

вал о людях доброй души — Хлавьяныче, Афоне-Голубые кони, Митрии Трунове, Иване Герасимове, Антошке Печенике... Вот и теперь они — в копилке его памяти как живые свидетели неиссякаемой народной мудрости, ничем не замутненной народной доброты. Здесь и озорной смешиленный соседский мальчик Колька Травничек, с которым пережито столько нехитрых мальчишеских радостей и таких значительных открытий в окружающем мире и в человеческих отношениях. Писатель вспоминает, как они вместе совершали первое путешествие в Вологду, как приютила их на ночь открытая паперть Афанасьевской церкви, как поразила детское воображение гостиница «Золотой якорь» с ее тремя сотнями окон.

А разве мог забыть дядя Костя о великом труженике, изувеченном воине Хлавьяныче, под началом которого заработал нелегким трудом землепашца свой первый гривенник? Мог ли он не узнать много лет спустя героя рассказа «Добрая душа», мастера на все руки, бессребреника, всю жизнь отдавшего людям?

А безответный конь-труженик Воронко? С какой любовью изображается он, верный помощник крестьянина, всегда оставався в доброй памяти благодарного земледельца. Живым укором стоял он перед глазами писателя и как бы говорил: «На живом ездил до изнеможения, с мертвого кожу сняли, на сапоги перешиваете. Эх вы, люди!...» С детства не мог забыть писатель Воронка: «А он не только вспоминается, но и часто появляется во сне. Иногда даже разговаривает со мной в сновидениях человеческим голосом. И странно, что во сне я не удивляюсь этому. Будто так и надо».

Прошлое навязчиво тревожило память писателя. Он все чаще обращался к тому миру, который впервые открылся ему в детстве через окно родной безвестной, а теперь и вовсе исчезнувшей с лица земли деревушки. Стояла она на взгорье, окнами на большое торговое село Устье. За сосняком уходило в туманный горизонт на многие версты раздольно вытянувшееся знаменитое Кубенское озеро. Шли по нему пароходы и барки, отражались в его глади кирпичные стены древнейшего Спасо-Каменного монастыря. Ватагой бегали на Устье деревенские малыши, провожали с пристани пароходы на Вологду, казавшуюся им призраком за тридевять земель в тридевятиом царстве.

Из окна деревенской избы всматривался в окружающий мир будущий писатель, и он открывался ему с каждым днем все шире и значительней...

На исходе жизни у выходящего на Дворцовую набережную окна своего рабочего кабинета не раз вспоминал слова друзей: «Вишь, куда занесло вологодского мужика» и не без справедливой и законной гордости рассуждал вместе с ними:

«А почему бы и не «занести». Разве не мои предки, уроженцы вологодские, вместе с другими россиянами отвоевали под командой Петра Великого эти, когда-то шведами захваченные у нас места? Разве не мои предки, крепостные мужики, строили крепость? Разве не они начинали возводить «назло надменному соседу» город — красу и гордость державы Российской? Разве не здесь от тяжких работ они сложили свои кости в неизвестных могилах?..»

И снова с законной гордостью писатель думает о своем времени, когда ему, потомуку многострадальных предков, суждено было поведать о русских умельцах, деятелях искусства — Федоте Шубине и Андрее Воронишине, что своим разумом и золотыми руками украшали этот город.

Отсюда с Дворцовой набережной писатель не раз вслушивался в бой курантов на Петропавловке, отсчитывавших безвозвратно ушедшее время, радовался пароходным гудкам на труженице Неве. А под окнами, на набережной, по каменным плитам которой когда-то хаживал сам Пушкин, раздавались в белые ночи голоса и песни школьников-выпускников и студентов — людей будущего, которым так завидовал не осуществивший многих своих замыслов писатель.

Кто из нас не думал тревожно, а иной раз горячо и бесплодно не спорил на извечно живучую тему отцов и детей? Немало мыслей вокруг нее высказано и автором книжки-копилки. Бывая на родине, он всякий раз за долг свой почитал заглянуть на могилы своих предков и родителей. Не раз видели его земляки с обнаженной головой у стены общественной бани, у бывшего кладбища. И только ли сыновняя вина в том, что над прахом его отичей и дедичей — пленница дров?

Последние месяцы жизни писатель провел в Свердловской больнице. Шли от него и тревожные письма и обнадеживающие вести. Он гнал прочь мысли о смерти,

мечтал вернуться на Дворцовую набережную к своему, может быть, последнему окну. Думал и на родине побывать и очень тосковал о родной земле. Прикоснись он к ней, казалось, и снова вернутся силы. «Я со своей болезнью, — писал в Вологду Константин Иванович, — разменял второй год лежания. Думаю о своей былой лени, о малости общения с природой, о многом невысказанном и недосказанном... С больничной койки никак не могу три месяца уже сорваться... Очень хочу побывать в Вологде и о́коло. Два месяца бы!»

Мечте этой не суждено было сбыться: 2 мая 1971 года К. И. Коничева не стало. В могилу писателя легла и горсть родной вологодской земли. Ее привезли из Устья-Кубенского земляки.

У дяди Кости была завидная и — это уж точно — добрая память. Пусть и о нем, умевшем любить и ценить людей, живет память добрая и светлая.

СОДЕРЖАНИЕ

Сквозь века	5
От Ломоносова к Карамзину	51
Три этюда	60
1. Общества, кружки, усадебная жизнь	—
2. В годину войны Отечественной	67
3. Провинция, на службе и проездом	75
Сильный и самобытный талант	84
На смене эпох	121
1. «Сие море великое и пространное»	—
2. Нити и цепи	137
3. «С Пушкиным на дружеской ноге»	147
Поэзия мечты и чувства	160
Народный печальник	198
О времени и о себе	227
Времен соединенье	260
Добрая память	308

Виктор Васильевич Гура

ВРЕМЕН СОЕДИНЕНИЕ

Очерки. Портреты. Этюды. Обзоры

Рецензент И. Д. Полуянов

Редактор В. К. Лиханова

Художник Р. С. Климов

Художественный редактор А. С. Мазурин

Технический редактор Н. Б. Буйновская

Корректор В. А. Фокина

ИБ № 589

Сдано в набор 12.06.84 г. Подписано в печать 05.03.85 г. ГЕ04405.
Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 3). Гарнитура литературная.
Высокая печать. Усл. п. л. 17,64. Усл. кр.-отг. 17,64. Уч.-изд. л. 18,566.
Тираж 5000. Заказ № 7728. Цена 1 руб.

Северо-Западное книжное издательство, -
Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.